

Р2  
Ш 638

134643

к

ИВАН  
ШУХОВ

родина  
и  
чужбина

2  
511 5 08

**ИВАН  
ШУХОВ**

**родина  
и  
чужбина**



134643



ИЗДАТЕЛЬСТВО  
„ЖАЗУШЫ“  
АЛМА-АТА  
1968



*В книгу известного советского писателя Ивана Шухова вошли повести, рассказы и очерки разных лет. Значительная их часть посвящена целинному краю, истории степи, ее людям.*

*Впервые в этой книге автор выступает как поэт. Гражданственность — отличительная черта лирики Шухова.*

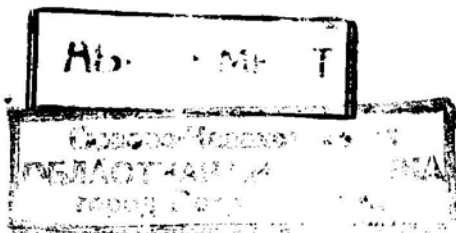
*Он один из многих советских писателей, на творчество которого оказал большое влияние А. М. Горький. О встречах с ним и его женой Е. П. Пешковой автор рассказывает в «Воспоминаниях».*

*Все это составляет первую часть книги под названием «Родина».*

*«Чужбина». Так называется вторая часть. Это очерки о поездке в Америку.*

7—3—2  
253—68 г

ТК



Я НЕ ПРОМЕНЯЮ СРЕДНЮЮ РОС-  
СИЮ НА САМЫЕ ПРОСЛАВЛЕННЫЕ  
И ПОТРЯСАЮЩИЕ КРАСОТЫ ЗЕМ-  
НОГО ШАРА. ВСЮ НАРЯДНОСТЬ  
НЕАПОЛИТАНСКОГО ЗАЛИВА С ЕГО  
ПИРШЕСТВОМ КРАСОК Я ОТДАМ ЗА  
МОКРЫИ ОТ ДОЖДЯ ИВОВЫИ КУСТ  
НА ПЕСЧАНОМ БЕРЕГУ ОКИ.

**КОНСТАНТИН ПАУСТОВСКИЙ**

**родина**

## НОЧНАЯ ВЬЮГА

Было уже около двух часов пополуночи, когда Алексей Кузьмич Стрепетов, покинув здание областного комитета партии, в нерешительности остановился на одной из последних ступеней широкого обкомовского крыльца — парадного подъезда с внушительными колоннами.

На миг ослепленный брызгами сухого, жесткого, как песок, снега, с яростью ударявшего ему в лицо, Стрепетов с таким тревожным недоумением огляделся вокруг, точно врасплах застигнутый этой непогодью, вдруг потерял дорогу и не знал, в какую сторону ему теперь повернуть...

Мело.

Пустынная городская площадь тонула в зыбкой, глухо и грозно рокочущей мгле.

Была пора новолуния. Стояли такие светлые, пронизанные сквозным жемчужным сиянием зимние ночи, что даже летучие низовые вьюги иль навесные тихие снегопады не в силах были затмить их призрачного света.

Вот и теперь мятежные пряди разыгравшейся в полночь пурги, озаренные дымчатым светом месяца, то трепетали, подобно крыльям объятых смятением птиц, то с бешеной скоростью пролетали мимо, как упруго надутые ревущие паруса, бесследно пропадая в штормующем снежном море.

Прислонясь к колонне подъезда, Стрепетов замер, невольно залюбовавшись вьюгой. Над спящим, не ахти каким многолюдным и днем-то, а в такой глухой час будто совсем

вымершим степным городком, плыл такой перекатный рокот и шум, словно то были отзвуки ревушего вдали морского прибоя или занявшейся на подступах к городу битвы.

Все тут могло померещиться. И сирены терпящих бедствие кораблей. И беглый огонь оружейной пальбы. И скрип корабельных снастей. И свист обнаженных сабель бросившейся в атаку конницы...

Завороженный разгулом выюги, прислушиваясь к разноголосому реву ее, Алексей Кузьмич угадывал в хаосе будораживших воображение и душу его звуков и нечто очень реальное. То до него доносилось гроыхание полусорванного выюгой листа кровельного железа. То он улавливал угрожающе-мрачное завывание незримой водосточной трубы. То бередило его душу надрывный утробный гул телеграфных проводов, напоминавший о дальних дорогах, о глухой степной стороне.

И жутко было думать сейчас о том, что творилось в такую пору там — за городом, в открытой ветрам степи! Грозная в снежные ураганы среди зимы, короткая с неяркой ее красотой в погожие вешние дни, присмиревше-печальная и безмолвная поздней осенью, дикая и пустынная, простиралась она на сотни, на тысячи верст вокруг этого старого городка, знаменитого в прошлом бахчами и салотопнями, ярмарочными харчевнями и отважными конокрадами.

Вдосталь наслышавшись с детства немало небылиц и былей о погибших в этих степях караванах и табунах, о врасплах накрытых снежной бурей кочевниках, о без вести пропавших в пургу гуртоправах и замерзавших на облучках лихих степных ямщиках, Стрепетов теперь зримо представлял и почти физически ощущал отчаяние путников, застигнутых такой сатанинской выюгой в дороге.

Он хорошо знал и помнил эти здешние зимние дороги! Ни вех по обочинам, ни приметной березки, ни ракитового куста среди мертвой зыби снегов. Ни далекого дымка, ни огня, ни собачьего лая.

Скрип полозьев.

Косые версты.

Плоское, свинцово-мутное небо — предвестник снегопада, крылатых поземок, угрюмых бурь. И мерцанье зеленых зрачков ввечеру вышедшей на разбой волчьей стаи...

Все любил с малых лет Стрепетов в этих древних окрестных равнинах. Бражни-медовый аромат летнего их разнотравья и парчовое серебро дремлющих в зной ковылей.

Огненные валы пожиравших сухие прошлогодние травы степных весенних палов — пожаров и изумрудную поросль дружно брызнувшей из-под пепла отавы. Томительно-нежный печальный запах голубой мелколистной полынки — красы азиатских степей и междуусобные орлиные битвы под облаками. Блистанье по-зимнему ярких звезд с трепетным их отражением в алмазных гранях сугробов и трубный рев, бросающий в оторопь, ночной февральской пурги...

Наконец, очнувшись от короткого забытья, он, рывком надвинув поглубже на лоб ушанку, решительно двинулся вперед, нырнув в кипящую вьюжную заваруху.

Вперекор сбивавшему с ног встречному шквальному ветру, вслепую, почти наугад пересек он просторную площадь, пробившись сквозь снежный поток на главную городскую улицу. Полузатемненные вьюгой редкие ее фонари едва различались в грохочущей мгле. И только три матовых шара в бронзовых канделябрах, укрепленных над мало-заманчивым входом в подвальчик старинного купеческого особняка, бросали на дымящийся от пурги тротуар необычно яркие снопы пшеничного света.

Поравнявшись с подвальчиком, Стрепетов вспомнил, что остался в ночь без курева, и воспрял духом, найдя заведение открытым.

То была популярная не только среди горожан, но и во всей громадной по территории здешней области пельменная — отрадное пристанище городских полуночников, запоздалых в пути, до костей промерзших районщиков, то и дело таскавшихся в неблизкий областной центр, невзирая на стужу и непогоду, — каждый по государственной надобности, по важному партийному или безотложному хозяйственному делу.

В наклонных простенках, круто переходящих в невысокий сводчатый потолок, узкого зальца пылали в затейливых абажурчиках электрические лампочки, напоминающие допотопные газовые рожки.

За буфетной стойкой дремала буфетчица, подперев белокурую голову рукой. И совсем почти пустой, скупо освещенный мягким рассеянным светом подвальчик с тусклым блеском потертых клеенок на столиках и старомодными венскими стульями вокруг них показался сейчас Алексею Кузьмичу куда более опрятным, заманчивым и уютным, чем он отчего-то представлял себе.

Еще минуту назад, совсем не рассчитывая здесь задерживаться и тотчас же забыв о том, ради чего он сюда за-

брел в столь неурочное время, Стрепетов с развязностью завсегда присел за первый подвернувшийся столик и шумно вздохнул.

Ему было жарко. В ушах продолжал еще глухо рокотать гул вьюги. Хотелось чаю. Сорвав с головы ушанку, он неторопливо распахнул полы посеребренной снежной вылью бобриковой куртки, а чуть помешкав, и совсем сбросил ее с плеч, накинув на спинку стула. И не успел он еще отдышаться и толком осмотреться вокруг, как пожилой, близоруко-подслеповатый татарин-официант, расторопно шаркая растоптанными чувяками на босу ногу, молча поставил перед ним на стол невзрачный старомодный лафитничек с водкой — граммов на двести.

Вместе с лафитничком была подана и закуска: два залежавшихся бутербродика. Один — с неопределенной вяленой рыбкой, другой — с копченой колбаской.

Изумясь услужливости официанта, Стрепетов так ничего и не понял. То ли тот спросонок или сослепу принял его за кого-то другого, кому не со вчерашнего, видать, дня был приучен подавать подобное угощение. То ли уж заведено было здесь потчевать для начала из такого лафитничка каждого запоздалого гостя... Однако, не осмелев ни спросить об этом угрюмого татарина, ни отказать от поданной водки, смущенный Стрепетов спросил его с улыбкой:

— А чаю, голубчик, нельзя? Покрепче. По-казахски — со сливками...

— Чай — не водка. Много не выпьешь... Пожалуйста. Можно, — сказал сквозь сладостный затаенный зевок, почесывая поясницу, официант и поплелся на кухню.

Выпивать сейчас да еще в одиночку у Алексея Кузьмича, говоря по правде, не было никакой душевной охоты. Но, не сумев сразу вернуть непрощенный лафитничек с водкой, он посчитал теперь за большую неловкость не выпить ни рюмки, боясь обидеть этого далеко уже не молодого человека.

Стрепетов, глубоко вздохнув, не спеша наполнил дешевую граненую рюмку. Наполнил, но пить не стал, бережно оставив ее чуть в сторонку.

И тут он, подняв глаза, впервые внимательно присмотрелся к посетителям заведения.

Их было немного — четверо, не считая музыканта, дремавшего в баяном на коленях в дальнем, слабо освещенном углу. Трое мужчин — за одним столиком. И молодая женщина, сидевшая поодаль за другим.

Мужчины — толстяк в полувоенном защитном кителе, двое других пособранней и помоложе — в выцветших от стирки армейских гимнастерках, схваченных в щегольские офицерские ремни, — выпивали, закусывая пельменями.

Впрочем, они не пили, а только беспрестанно чокались переполненными до краев рюмками и, ни разу не пригубив их, ставили, не выпуская из рук, перед собой на стол, продолжая похожую на запальчивый спор беседу.

Было видно, что разговор тут шел доверительный — по душам. Чуть ли не вплотную соприкасаясь над круглым столом здоровыми, побагровевшими с морозу ли, с водки ли лицами, они возбужденно болтали, перебивая друг друга, заговорщически приглушенными, то и дело переходящими в шепот голосами.

Стрепетов, пока не очень прислушиваясь к ним, улавливал лишь иные слова и отрывочные фразы. И по этим словам и фразам, а скорее всего — по внешнему облику этих людей Алексей Кузьмич определил про себя, что народ этот не из городских, нездешний — явные районщики и, быть может, даже из какой-нибудь самой далекой, малообжитой степной глубинки.

Трудно было объяснить присутствие здесь в столь неподходящее время молодой одинокой женщины и определить — кто она и откуда.

Что-то кроткое, до робости застенчивое, будничное угадывалось с первого взгляда в хрупкой, малоприметной ее фигуре и неярком облике. Искося взглянув на нее и сию же секунду опустив глаза, Стрепетов, однако, успел заметить и темную на ней шерстяную кофточку с белоснежным батистовым воротничком, приметно оттенявшим азиатски-смуглый цвет ее кожи, и небрежно накинутый на плечи дымчатый пуховый платок, и женственную прическу постаромодному собранных на затылке в узел пепельно-русых волос.

Вяло помешивая ложечкой недопитый чай в стакане, она, подперев кулачком подбородок, читала какую-то пухлую, изрядно потрепанную книжку. Читала, видимо, не очень внимательно, потому что чаще всего, полузакрыв глаза, не то что-то припоминала, не то прислушивалась к почной вьюге за окнами.

Между тем гармонист, точно сквозь сон чуть дотронувшись дрогнувшими пальцами до отзывчивых клавиш баяна, сразу же задел за душу Стрепетова робкой переключкой светлых, как пролетные бубенчики, звуков.

А когда в сумрачном зальце под сводами полилась, поплыла с переливами под вздох басов и шорохи метели полная горьких раздумий и тревожных порывов мелодия до боли знакомого с юности вальса «Березка», Алексей Кузьмич потянулся со вздохом к рюмке. И вдруг он смутился, поймав на себе мимолетный взгляд женских глаз, на миг блеснувших, как бесконечно далекие ночные зарницы...

Стрепетов не посмел посмотреть в ответ в глаза этой женщины и потупясь пригубил рюмку.

Как всегда, так и на этот раз, пил он трудно и неумело — с усилием, страдальчески морщась, прикрыв со лба левой ладонью лицо, будто искаженное зубной болью.

И пока он пил эту рюмку, женщина теперь уже неотрывно смотрела на него пристально прищуренными насмешливыми глазами. Стрепетов чувствовал это.

В это время старый официант подав с мельхиорового подноса два фарфоровых чайника. Один с густой, как смола, заваркой, другой — с кипятком. Не забыт был и молочник со сливками.

И Алексей Кузьмич, ничем не закусив выпитой рюмки, поднял глаза на незнакомку, готовый встретиться с ее взглядом. Но она уже не смотрела на него — продолжала читать свою книжку.

Гармонист умолк, незаметно сведя на нет словно заглушенную свистом вьюги мелодию старого вальса.

И Стрепетов, вдруг вспомнив про затянувшийся нелегкий сегодняшней разговор в обкоме, подумал, что самый трудный разговор ждал его впереди.

То был разговор с Фаиной. С женой. И к нему он сейчас не годился. Для этого не было пока ни должной душевной собранности, ни устойчивого сердечного спокойствия, ни самого главного — прочной внутренней убежденности в закономерности того крутого поворота его судьбы, который свершился какой-нибудь час назад. И произошло это не без его желания и воли...

Так думал Алексей Кузьмич, неторопливо прихлебывая из пиалы крепкий чай, сдобренный сливками. И хорошо, что он не отложил своего решения на завтрашний день под предлогом предварительного совета с женой. Он знал, в том не могло быть никакого проку. И хорошо, что, завернув нанароком в этот попутный подвальчик, задержался здесь, вопреки всяким намерениям.

А в этом случайном приюте под низкими сводами веяло в непогожую зимнюю ночь тем покоем, которого не обрел

бы в такую пору дома, заведя неизбежный разговор о своем решении с женой...

И только смутное непривычное волнение от присутствия молчаливой, как степная птица, чужой, незнакомой женщины не только не покидало все это время Стрепетова, а наоборот, без всякой к тому прямой причины все больше и больше возрастало в нем.

Бросая изредка короткие косые взгляды на незнакомку, не обращавшую, однако, на него теперь никакого внимания, Алексей Кузьмич стал приглядываться к трем подвыпившим слегка собеседникам, сидевшим напротив.

Не сводя с них глаз и прислушиваясь к ни на минуту не умолкавшему, более чем оживленному их разговору, он светлел душой от внезапно возникшего в нем непроизвольного ощущения близости к этим людям, которых видел в первый и, быть может, в последний раз. И его потянуло к ним.

Меж тем они, лихо чокнувшись сполна налитыми рюмками, на этот раз выпили. Толстяк — залпом, кудряш — цыганского кроя парень — вразяжку. Белобрысый крепыш, с ухарским чубом светлых, как мятый лен, волос — после небольшой заминки, предварительно поглядев с веселым отчаянием на поднятую рюмку.

Продолжая прерванный разговор, белобрысый крепыш сказал, жуя сочень:

— Лично я на своем ЗИСе — это было на той неделе — из рейса со станции Бостандык воротился. Туда — с порожней бочкотарой. Оттуда — с шифером. Так? А погодка, помните, в те дни тоже удалась аховой. В степи — ни зги. Черт-те что. Вроде нынешней... Врезался я на обратном пути с лету в один переметный сугроб и проплясал почти всю ночь напролет вокруг своей пятитонки вприсядку. Как уж выдюжил — сам не пойму. Ну, не во мне, понимаешь, суть. Техники по железной дороге из России к нам в степи прет — это страсть выразить! Там трактора — я те дам — с иголки. Дизеля — сила! Любо глядеть. Что твои танки кавэ, на которых, бывало, давали мы жизни на Курской дуге и под Белгородом и рваным и драным фрицам...

— Как и мы под Берлином! — ввернул, потрянув кудрями, парень цыганского склада и засмеялся, обнажая жемчужные зубы.

— Слушайте дальше. Тракторов — тыщи. А платформ с пятикорпусными плугами и разными там агрегатами — не сочтешь. Одним словом, механизация повалила на це-

лину — на все сто, высшего класса. При такой технике самоучкой в инженера выйдешь!

— Не в инженерá, а в инженеры, Сеня! Ох, мне эта наша сельская техническая интеллигенция — беда, — не поднимая от книжки глаз, сказала с кротким вздохом вполголоса женщина.

— Виноват. Исправлюсь, Варвара Митревна! — галантно кивнув в ее сторону, скороговоркой выпалил крепыш и приосанился, одернув под ремнем гимнастерку.

И Стрепетов понял, что незнакомка была этим людям своим человеком. Учительница? Сельский врач? Пропагандист райкома? Агроном? — подумал о ней, гадая, Алексей Кузьмич.

Ему было приятно услышать наконец имя ее, и вдвойне было приятнее ласково в мыслях назвать ее просто Варей. К хрупкой, гибкой ее фигуре, к молодому, почти юному еще ее облику, к некрикливой ее красоте и кротости — тайше женского обаяния — ко всему внешнему ее достоинству удивительно шло это простое русское имя!

На мгновенье отвлекшись от разговора трех районщиков, Стрепетов вновь наострил ухо, когда заговорил, грузно заерзав на шатком стареньком стуле, толстяк в модном у руководящих работников кителе.

— Техника теперь — это да. Не возразишь. Не то, что в тридцатых годах, когда мы первые эмтеэсы в степной стороне нашей создавали... Что и говорить, механизацию на целину бросили богатырскую — цены ей нет. Это — факт. А кадры? Богатыри — где? Я вас спрашиваю! — пророкотал он простуженным басом почти угрожающе.

— Хо, нашли о чем горевать, Никодим Фомич! Да таких богатырей нагрянет в наши края — тысячи. Мильен — хотите?! Армию?! В одной Москве от добровольцев отбоя нету. А что творится на Украине и так далее по всей России — ребята же вал за валом, стеной в целинные степи под штурмовое ура идут! И радио говорит. И газеты пишут, — пылко возразил толстяку крепыш, возбужденно теребя льняной чубик.

— Гладко пишут на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить! — ворчливо пророкотал толстяк, еще ожесточеннее заерзав на стуле. — Нет, братцы, я — стреляный воробей. Старый степной волк. Эмтеэсом не со вчерашнего дня руковожу. И в механизаторском деле — собаку съел. И землю-матушку под стать Терентию Мальцеву понимаю. И, к вашему сведению, голубчики, второй год — без глав-

ного инженера и толкового агронома в хозяйстве. За инженера свирепствует у нас один доморощенный техник из местных механизаторов. Тертый, правда, калач. Не без царя в голове... Но все же, это как — порядок?! А у меня парк тракторов — на сегодняшний день за сотню перевалило. Плюс комбайнов по пятку в среднем на каждый колхоз в радиусе. Затем — автопарк и прочие агрегаты. Это — раз. Во-вторых, с кадровыми механизаторами тоже зарез. Старожилы наш район, сами знаете, не ахти богат. А на за-летных трактористов со школьной скамейки надежи мало. Это ухари — оторви да брось! За такими пахарями — придет весна — только и дела, что смотри в оба! А вы мне — про армию, про штурм, про ура! Хорошо на печи пахать, да заворачивать круто!

При этих словах толстяка светловолосый крепыш рас-смеялся во всю широту своего добродушного, доверительно открытого лица. А его сосед, накручивая на палец кольца черных как смоль кудрей, угрюмо проговорил, потупясь:

— Не совсем кстати присловье про печь, Фомич. Цели-на — не шибко теплое место.

— Приехали! А я что говорю! — выкрикнул толстяк не-ожиданно высоким, почти бабьим голосом, резко отпрянув при этом, как от прямого удара в грудь, на хрустнувшую спинку стула.

— Я тоже не вчера родился. Догадываюсь — про что... Похоже, саму идею об освоении целинных земель под воп-рос ставите, товарищ директор? Тогда — озадачил. Тут остается одно: руки врозь да пожать плечами! А откуда это в тебе? Стареешь ты у нас, Фомич, что ли? — запросто спросил кудряш толстяка, заглядывая ему в лицо больши-ми ореховыми глазами.

— Не старею. А — устарел. Ты уж крой — напрямки договаривай.

— Такого пока сказать не могу.

— Тогда и судить обо мне с райкомовской колокольни помешкай!

— Это еще что за колокольня?

— Та самая, с которой звонить во все колокола вы во главе с Долгушиным наторели. Ум за разум другой раз заходит: то ли мне, как директору машинно-тракторной станции, самому котелком варить, то ли к вашим руководя-ще-разносным звонкам бесперечь прислушиваться?... А ты поди спроси у н'ших ремонтников — кто-нибудь из них ви-дел за всю зиму-зимскую хоть раз у нас в мастерских того

же Долгушина — секретаря районного комитета партии? Это что — тоже порядок?!

— Непорядок. Но к тебе вопрос. А ты делегатом нашей тринадцатой райпартконференции был? В президиуме сидел? Речь держал по отчетному докладу райкома? — пристрасно спросил кудряш с худо скрытой усмешкой.

— И делегатом был. И в президиуме за спиной Долгушина сживал. И по отчетному докладу выступал, как положено! — с вызовом проговорил толстяк, молотя, как кувалдой, своим кулачищем по столу, словно ставя точку в конце каждой фразы.

— Как по-ло-же-но? — переспросил по слогам опять с ехидней кудряш.

— Именно. Как положено. Не оговорился... А ты что, критики в адрес Долгушина ждал от меня с трибуны районной партконференции? Силен! Нет уж, шабаш, Паша, самому на рожон с бухты-барахты переть. Знаю я, как ловко у нас в районе подводят под монастырь за ретивую — не по чину — критику!

— Например? — строго спросил кудряш.

— За примером далеко ходить не приходится. Изволь. Вот он — рядом красавец! — кивнул толстяк в сторону беспечно улыбавшегося крепыша с заносчивым чубиком. — Расхрабился раз сдуру-смолоду этот Аника наш рубануть сплеча правду-матку, невзирая, как говорится, на лица, и сыграл вместо орла в решку. Из райкомовского инструктора по зоне нашей эмтеэс в... лихие шофера прямым маршем с ходу выдвинулся. Вот и крутит теперь — завей горе веревочкой — на грузовичке баранку. Туда — с порожней бочкотарой. Оттуда — с шифером. Так, что ли, орел?!

— Коли ехать, катать — головы не жалко, — с непритворным ухарством отозвался крепыш, молодцевато поведя лытыми плечами.

— Правильно. И мне в твои годы было без света светло, без дороги гладко!.. А теперь — пришел срок, и про личную голову на плечах не приходится забывать, и по встречным стежкам-дорожкам ступать не так резво — с оглядкой. Я ведь к выдвижению в отпетые шоферы уже не гожусь! Габариты не те. И вообще, что иному молодцу, может, и впрок, мне — в прямой укор и в явный убыток... Ребятишки мои еще не все на ногах. А их у меня — семеро по лавкам. Я и про них и про знаменитую Сенькину речь на нашем райпартактиве всегда помню, когда с товарищем Долгушиным говорю!

— На мозоль, видать, Долгушин тебе наступил? — спросил кудряш с той же полускрытой улыбкой.

— Рот разинешь — наступит. Не стушуетея. Не из таких. Только вряд ли я когда-нибудь оплошаю — под ноги ему подвернусь. И я не таковский — зевака не к месту давать. Тут я поопытней и поувертливей Сеньки!

— Да что ты вцепился в Сеньку, Фомич? — заговорил, не сдержав раздражения, кудряш, рывком переставляя, как шахматную туру, с места на место пустую граненую рюмку. — Сенька тоже парень — в сучках. К нему другой раз ни с какой стороны приступу нет — знаем!... Ну, не поладили они в чем-то с Долгушиным. Не сошлись характерами. Не сработались. Что тут такого? Бывает.

— Зато ты, видать, пришелся там ко двору!

— Где это — там?

— Обратно же — у Долгушина.

— Я — работник оргинструкторского отдела районного комитета партии, а не Долгушина. Прошу не путать, Фомич!

— А это не бара-берь, спросить тебя по-казахски?

— Нет. Это не все равно, отвечу тебе по-русски.

— Допустим... Однако скоровато, смотрю, вышколил он тебя, Павел, навтыяжку по одной плашке ходить!

— И опять — мимо! Не его школа. Армия отучила от походки вразвалку. Вот кто, спасибо, вышколил. Потому и в гражданке не отвык держать фронт, твердо знать свое место в строю. Особенно — перед старшими. А Архип Василич Долгушин и по годам мне не ровня. И потом — это первый секретарь. Депутат Верховного Совета республики!

— Да ну его к богу, Долгушина. Давайте-ка лучше — по посошку, товарищи. Закруглим это дело. Так? — примирительно проговорил крепыш, бережно разливая из графина по рюмкам остатки недопитой водки.

— И верно, ребята. А то начали со здравия, а кончаем за упокой! — пророкотал с добродушной усмешкой вдруг смягчившимся голосом толстяк, принимая из рук крепыша налитую вровень с краями рюмку. — Закругляемся, братья. Согласен. Только под посошок — последнее возражение. Я — про идею, Павел. Можно?

— Валяй, валяй. Я тут не председатель, — сказал кудряш и тут же поглядел на свои ручные часы для вищего проку.

— Тогда — слушай... Тебе сказывать нечего, сам знаешь, я в идейных морях не глубоко плаваю. Грамотешка моя известная — аз, буки да веди. А на политучебе в кружке — греха не таю — меня только сон морит. Пропагандист другой раз даже рта не успеет раскрыть, как дьяк для акафиста, а у меня уже глаза слипаются. Недаром почти на всех пленумах и райпартактивах секретари кроют меня за нерадение к идейному росту. Не возражаю. Критика — натуральная.

— Похоже, что ты даже гордишься своей идейной отсталостью? — заметил кудряш с иронически-горькой усмешкой и, тяжело вздохнув, рывком отставил прочь невыпитую свою рюмку.

— Не гордость, Паша, во мне говорит — обида!

— Это опять на кого же, Фомич?

— А на всяких там ваших штатных начетчиков. Они — как худые пономари: по бумажкам разные проповеди скороговоркой читают. А потом еще за нерадение к политучебе некоторых корят!.. А того никому из них невдомек, что я, например, всю эту идейную науку жизни с малых лет постигал не по книжкам — на практике. Сопляком — в батрачатах у былых степных королей. Повзрослей — в гуртоправах у здешних же скотопромышленников. Потом — в добровольцах Железной дивизии Стеньки Разина — грозы Колчака. А там — в бойцах продотрядчиков — карателей; кулачья... В трех щелочах кипятила, на семи кострах жгла нашего брата лихая в ту пору жизнь. И это, заметьте, с гражданской войны по тридцатые годы! Тут мы снова прошли сквозь огонь, воду и медные трубы, пока с кулаками вчистую квит не свели, и сызнова жить — как могли и умели тогда — при колхозах начали...

— Что ж, за все это — честь и почет вашему поколению! — живо отозвался, перебив толстяка, кудряш. — Но ты — член партии. Руководитель большого государственного хозяйства. С набитой рукой. Со сноровкой. Не без живинки, как говорится, в деле. И как практик — не на худом счету в районе.

— Не обижай, дружба, старика. Так? Ему знают цену и в области! — заступился за толстяка крепыш.

— Не отрицаю. Точно. И в области. Все это — факт... А вот городишь ты черт знает что. И про критику снизу. И про идейное воспитание. И про целину. Это уже — ни в какие ворота не лезет! — проговорил с непритворным возмущением кудряш, демонстративно отвернувшись от тол-

стыка и заглядевшись возбужденно вспыхнувшими ореховыми глазами куда-то в сторону.

И тут толстяк загремел уже не на шутку своим рокошущим басом. Опершись на стол пудовыми кулаками, он надел на кудряша, гудя тому почти в самое ухо:

— Ты тут это самое, товарищ инструктор... Божий дар с яишницей мне не мешай. А то я — про Фому, а ты — про Ерему! Ишь ведь изловчился на чем опять меня подкусить — на целине. Не выйдет, Павел Иванович!.. Ты еще пешком без штанов под столом ходил, а у меня уже и в то время душа за наше степное приволье болела. Понял? Потому что я — мужик. Хлебороб — по крови. Пахарь по природе. Мне разливные моря хлебов в здешних степях смолоду снились. И не одному мне — всему нашеньскому степному народу!

— Сны — в руку. Не моря — пшеничные океаны увидит теперь в ковыльном краю народ! — убежденно сказал кудряш, не меняя ершистой позы.

— Ну, и дай бог!.. Только предупреждаю. И прошу вас, понимаешь, не воображать, что это дело — тят да ляп да и клетка! Распахать вековые степи от края до края — это еще полподвига при нынешней технике. Поняли? Нет, ты научись, товарищ, ежегодно снимать потом вкруговую с каждого га стойкие урожаи на все сто с довеском, вот это да! Это я признаю за подвиг. Только это куда потруднее, братья, первого штурмового наскока на целину под ура. Тут — как в бою на военном театре. Мало крепость с ходу приступом взять, надо суметь еще в ней закрепиться! А для этого дела бывалые солдаты нужны, а не полуоперившиеся добровольцы-молокососы!

— Не стриги всех наголо — под одну гребенку. Будут полуоперившиеся. Будут среди них и орлы — на крыле! — веско заметил кудряш под одобрительные кивки крепыша.

— Хоть не орлы уж пока, орлята, скажи. Прыткие при взлете. Жидковатые на кругу супротив матерых степных коршунов — самострелов!.. Знаю, будет еще тут с этой бедовой, лихой на рывки и броски оравой суеты-маяты, куда приучишь и вышколишь их в хлеборобов. А школить кому?

— Хо, а специалисты высокого класса на что?! Министерские агрономы нагрянут. По технике — заводские инженера. Дело дошло до того, что даже вон некоторые знаменитые академики из Москвы на целину рвутся! Так? Радио позавчера говорило. Не я выдумал.

— Столичные академики. Министерские агрономы. Заводские инженеры. Это, братцы, богато! — не поймешь как — с серьезным ли одобрением или с ловко скрытой иронией отозвался на реплику крепыша толстяк и, крикнув, сказал уже веселей и добродушней: — Ну, что же, ребята, тогда — поехали. Выпьем за то, чтобы всем новоселам пришлось по душе целинные наши степи. Плюс — за то, чтобы и все новоселы были тут ко двору!

— Вот это другой разговор. За такое дело — с моим почтением! — живо откликнулся на тост толстяка кудряш, и смуглое строго очерченное лицо его вмиг просветлело от доверительно открытой улыбки.

Неотрывно наблюдая все это время за развязавшимися под легкий хмель языки районщиками и за молчаливой, укромно сидевшей в сторонке их спутницей, Стрепетов, так и не притронувшись больше ни к водке, ни к остывшему чаю, все поджидал теперь момента незаметно подключить-ся к острому разговору этих людей и таким образом поближе сойтись с ними, пусть даже и не на долгое время.

Но этого так и не произошло. Как только те, дружески чокнувшись полновесными рюмками, пригубили снова каждый по-своему посочки, тотчас же женщина сказала, захлопнув пухлую книжку:

— Ну, отогрели, скитальцы, душу? Три часа. Я спать хочу.

Простодушно улыбнувшись при этих словах дремотной, виноватой улыбкой, она подняла на спутников серые, чуть-чуть раскосые глаза, мельком, вскользь взглянув и на Стрепетова.

И, опять смутясь, оробел душой от этого мимолетного случайного ее взгляда Алексей Кузьмич.

Тем временем все трое, будто разом заметно протрезвевшие мужчины, стремглав покинув свой стол, бестолково засуетились вокруг поднявшейся с места спутницы, наперебой норовя услужить ей в эту минуту — чем и как кто сумел.

Порывистый в движениях кудряш, ловко опередив вертокого, как волчок, крепыша, помогал ей надеть потертую колонковую шубку.

Толстяк, кротко покрякивая, бестолку, по-медвежьи переминался с ноги на ногу с пухлой книжкой в руках. А крепыш изловчился в свою очередь лихо перехватить на лету пуховую шаль, небрежным движением сброшенную с плеч

женщиной, и, сияя, держал теперь этот невесомый груз на простертых руках перед спутницей.

— Замололись без ветру, заболтались мы тут за графинчиком — это фактически. Просим прощения, Варенька... А все потому, что едва не пропали мы нынче всей артелью в чертовой этой дороге. Вы — двужилная — на чайке отыгравались. А нас, дураков, после бесовской пурги за рюмкой в тепле разморило, — рокотал перекатным баском толстяк, вперевалку потаптываясь перед сонно улыбавшейся молодой женщиной.

— Да ну, разморило там — по четку с толикой на брата!.. Мы же все-таки, Варвара Митревна, поглядите на нас — в форме. Не до потери культуры! Так? — бойко оправдывался крепыш.

И пока эти люди, кряхтя, натягивали на себя затрапезные стеганки и ширпотребовские пальтишки на вате, а поверх всего — трехпудовые, на богатырей, дубленые тулупы с раструбами огромных полуметровых воротников — надежных защитников от снежных степных ураганов, и пока, толпясь вокруг маленькой женщины, несли они всякий непринужденный веселый вздор, Стрепетов успел расплатиться со старым официантом за недопитую водку с остывшим чаем и поспешил покинуть подвальчик.

Метель шла на убыль.

Вызвездивало.

Весомый, литой из чистого золота месяц красовался над потонувшим в снегах городком.

Глаза ломило от мерцания звезд, от переливчатого блистанья алмазов в сугробах, от мороза, ударившего после пурги.

На гребнях сугробов угасали последние слабые вспышки присмирившей поземки. Пахло горьким печным дымком, березовыми дровами и льдом. И спрессованный лютой предутренней стужей снег аппетитно похрустывал под ногами. Так хрустит пропахшее вялыми ветрами степей, перебродившее в потоках июльского тепла и света сено на зубах дремотно жующих в зимнюю ночь лошадей.

Снегу на главной улице городка намело по колено, и спутники перебирались по ней гуськом.

Впереди шел, прокладывая дорогу, крепыш. За ним проворно ступала след в след женщина.

Рослый кудряш заслонял спутницу со спины. А толстяк плелся, распустив полы настезь распахнутого тулупа, в хвосте, замыкая колонну.

Алексей Кузьмич шагал поодаль районщиков своей неторной дорогой. Но выяснилось, что ему было с ними по пути.

Крепыш, пересекая дорогу Стрепетову, подвел своих людей к подъезду Дома колхозников. А это было на квартал ближе квартиры Алексея Кузьмича в старинном доме с мезонином, какими украшали в начале нашего века главную улицу городка владельцы здешних боен и салотопен да знаменитые на всю степную округу прасолы и барышники — тайные и явные перекупщики лошадей, краденных у кочевников барымтачами.

И вот случилось, что Стрепетов вновь на прощанье столкнулся лицом к лицу с замешкавшимися у ворот заезжего дома случайными своими спутниками.

Все они, завидев его, слегка посторонились, давая ему дорогу. И все — один с живым бесхитростным любопытством, другой — испытующе-строговато, третий — с придиричивой подозрительностью — в упор присмотрелись к нему, едва он поравнялся с ними.

Но Алексей Кузьмич уловил в эту минуту только один, опять мимолетный, лукавый, полунасмешливый взгляд серых глаз. И при встрече с этим взглядом он, приподняв над головой ушанку, сказал:

— Спокойной ночи, друзья!

— Расприятного сна, дружба! — весело откликнулся крепыш, козырнув Стрепетову с подчеркнутой резвостью.

— Спокойной ночи, товарищ! — запросто прозвучал затем вслед Алексею Кузьмичу негромкий, грудной голос женщины.

И с этой минуты, так ни разу больше и не оглянувшись, как ему ни хотелось, Стрепетов добрел в одиночку до дому. Поднявшись на заметенное сыпучим снегом старенькое парадное крылечко с резными перильцами, он остановился, перевел дух и, прикрыв глаза, как бы прислушался к чему-то.

Стояла мертвая тишина.

Только откуда-то издали — это, должно быть, с противоположной стороны улицы — плыл и плыл зыбкий печальный звук, напоминавший вкрадчивый звон гитарной струны, в раздумье тронутой в неурочный час глухой зимней ночи...

То гудел телеграфный столб от упругой вибрации проводов, седых от ночной пурги и лютой предутренней стужи.

Прислушавшись к этому беревившему душу звуку, Стре-

петов в то же время уловил краем уха слабый, настороженно робкий, похожий на затаенные вздохи шорох и, подняв глаза, увидел примелькавшееся за годы старое дерево в завьюженном палисаднике.

Это был полувековой сверстник дома — богатырский тополь, росший под его окнами в одиночестве. Могучий — в полтора обхвата — грубокорый ствол его, покрытый застарелыми шрамами от пережитых бурь и почерневшими от времени наплывными наростами на коре, устремясь корабельной мачтой к небу, нес на себе размашисто распростертые жилистые сучья с упрямыми отростками и озорными побегами совсем еще юных хрупких ветвей.

Высоко вознесясь непокорной ветрам и бурям вершиной над приземистой крышей старого дома, хмуρο маячил он под звездным небом, зябко поскрипывая тяжкими узловатыми сучьями и поблескивая пылающими под луной подвесками сквозь накидное — тонкой работы — кружево запырошенных снежной бурей ветвей...

«Угрюм ты сегодня при всей своей зимней красе, старик!» — подумал, поглядывая на этот тополь, Стрепетов и тут же поймал себя на мысли о том, что, несмотря на поздний час и на стужу, его не тянуло в дом. Он сам не знал, отчего хотелось ему побыть одному.

А спустя полчаса, уже лежа в постели, Алексей Кузьмич мысленно рассудил, что от поспешного входа в дом удерживало его то смутное душевное волнение, какое испытывал он все время вблизи случайно встреченных им людей, а еще больше — вблизи молчаливой их спутницы с насмешливыми глазами. Он не знал и не мог объяснить, чем она тронула его. То ли — кротостью. То ли — доверительно открытым русским обликом. То ли, может быть, тем обоюдным душевным соседством их, которое почувствовал Стрепетов и после первого и после последнего прощального ее взгляда...

В жарко натопленной комнате с наглухо закрытыми ставнями было темно и тихо. В доме царствовала могильная тишина. Не слышно было даже привычного пощелкивания старомодных стенных часов с кукушкой — они, видимо, стояли. Только где-то на кухне изредка возникал звук падавшей водяной капли, и когда этот звук замирал, еще тише и печальнее становилось в доме.

Тихо было и на душе у Алексея Кузьмича, как бывает тихо в степи после присмирившей метели.

Пора было засыпать. Но как только он закрывал глаза,

перед ним возникали образы четырех с виду мало чем приметных простых людей, напоминавших собой о той, иной, несправедливой, крутой на руку школе жизни, какую предстояло теперь пройти и ему где-то, может быть, бок о бок с ними, в далекой, малообжитой глухой степной стороне, отрешаясь от многого, что до сего было дорого или просто привычно.

И не только было тихо, но все теплее и светлее становилось на душе Алексея Кузьмича, когда он видел перед собой доверительную широкую улыбку светлочубого крепыша и взгляд женщины.

Так под этот беспрестанно мерцающий перед ним издалека, словно из сумерек теплого летнего вечера, взгляд насмешливых женских глаз и заснул незаметно под утро Стрепетов.

Ему приснилась залитая волнами яркого света ковыльная степь с одиноким угрюмым курганом,



## ЗОЛОТОЕ ДНО

Не до всех двадцати пяти районов было рукой подать из города в этой громадной по территории — под стать иному немалому государству в Европе — Степной области. А Светозаровский район слыл здесь за самый малообжитый, глухой и далекий.

До районного центра, старинной казачьей станицы Светозаровской, напрямую от города набиралось до пятисот километров. А по косым малоторным проселочным дорогам между редким на пути жильем — и того больше.

Это летом.

Колесной колеей.

Зимние же дороги не в счет. На «ура» пробитые при нужде в целинных снегах отважными трактористами или гужевыми обозами, они держались порою какой-нибудь день или два, до первой пурги.

Затевая мятежную пляску, она выла, трубя в ледяные рога, и била в тугие азиатские бубны. И тогда все меркло вокруг на тысячу верст. И недолгий зимний день, потонувший в кипящей пепельной полумгле, нельзя было отличить от затяжной декабрьской ночи. Ходуном ходила безлюдная

степь, погребая в пучине ревущих снегов все мертвое и живое. Почуяв приближение такой пурги, укрывались в угрюмых логовах волки. Сбиваясь в плотные косяки, хоронились в дебрях займищных камышей неуловимые, как призраки, сайгаки.

Ни конца ни краю не было этим степям, подвижным сыпучим снегам. И чем глуше, безлюднее вглубь становились тоскующие под сырыми ветрами равнины, тем прохладнее и прозрачнее были родниковые ручьи, тем светлей и задумчивей скитальческие речушки, тем безмятежней сверкали зеркальной лазурью тихие озерки. И чем пустынное было вокруг под высоким, дышащим вечным покоем небом, тем суровее и угрюмей взирали на мир в одиночестве дремавшие по курганам столетние беркуты. Тем таинственнее и печальнее пересвистывались сурчиные орды. Тем глуше и горше по-бабьи рыдали над аспидно-черной от грозовых туч озерной водой дурным голосом выпы. Здесь слышнее был шорох ястребиных крыл над разомлевшей в жару травой, дурманнее пахли перебушевавшие на штормовом ветру полыни, яростней и самозабвеннее били во все колокола незримые в травах перепела, прославляя рассветы и благословляя закаты...

И тем больше дичали от орлиного клекота, от чумного волчьего воя повитые угарным маревом степи, тем ароматнее, тем хмельнее был в гостеприимных аулах недавних кочевников перебродивший в кожаных бурдюках кумыс — брага степей, настоенная на медовых запахах пастбищных трав, на парном весеннем ветру, на расплавленном золоте утренних майских зорь, на вечерней свежести и ночной прохладе.

Малолюден был край.

Но не скуден, не беден: ни целинной землей — чернозему под ковыльным настилом полтора аршина, ни привольным подножным кормом для скота, ни тучами дичи, ни златоперыми карасями в камышных озерах, ни пудовыми щуками, синеглазыми подъязками и язями в заводах медлительных, застенчиво прикрывшихся пушистым ракитником, по-девичьи раздумчивых рек...

Край был древен.

Под небом этих равнин шумели обгоревшие в битвах знамена ратных русских людей — грозы стремянной орды. В землю этих степей, взрыхленную острым булатным мечом, приказал однажды Ермак атаману Ивану Кольцо бросить горсть немолотого зерна, взятого у кашеваров дружи-

ны. И на месте покинутого казаками короткого боевого привала вскоре дружно взошли и заколосились среди ковыля и татарника густые пряди светлоусой пшеницы — предвестницы будущих мирных пашен и нив на целинных просторах.

Край был издревле хлебен.

И ладно жилось иным его старожилам в линейных казачьих станицах бывшего Сибирского войска, прошивших кандалной, намертво спаянной в звеньях цепью эти древние степи — от реки Урала до Иртыша. Не чураясь греха, сумасбродного риска, нахрапа, в ладу с прибыльным круглым рублем, с достатком в доме жилали в допрежние времена господ станичники неробкого круга.

Походка у этого косяка станичников была опасная — вперед плечом. Перед такими — загодя расступайся, давай без греха пошире в торговых делах дорогу. А разинул рот, не смекнул, замешкавшись, какая сила напролом вразвалку идет, долго потом станичную ярмарку помнить будешь!

Миром ладили верховодные атаманы только с равными им по именитости, по достатку аульными тамырами — степными дружками родовой байской крови. Тут за круговой чашей кумыса под пышным куполом белокошомной юрты рука руку мыла.

У таких хозяев не дворы — гуляй-поле в круглую десятину. Бревенчатые заборы под стать неприступным стенам грозных сибирских острогов. Замки на завознях и амбарных дверях — каждый весом в полпуда. У заросших огненной шерстью цепных кобелей львиные гривы и пасти. Одномастные — чубарые, саврасые, карие — тройки в запряжках, на гривах попутных вьюг не догонишь. Сбруя в махровых турецких кистях, в серебряных звездах на шлеях, цены ей в городе Кустанае нету! Дуги в сусальном базарном золоте — радуг в небе не надо. А валдайские колокольчики и вырезные бубенцы пролетных троек могли смутить в метельную ночь не одну робкую девичью душу!..

День настал, и с одними из них — с размаху, с другими — сплеча, расквитался вчистую оседлый и кочевой народ за все пережитые лишения, обиды и беды.

Так ничто и не спасло в ту, теперь уже от нас не близкую, грозную пору от разгрома, крушения и краха былых запевал станичного войска. Ненадежным подспорьем оказалась на этот раз их испытанная в трудный час круговая порука. Не укрыли от возмездия крепостные домашние стены с наглухо затворенными на железные болты и засовы

ставнями. Не оградили от кары мертвые, заговоренные в древности колдунами и не раз с молитвой крапленные святой крещенской водой запоры дворовых ворот и дубовых дверей в домах, не доступных прежде для незваных гостей. Не выручили ни прадедовские кистени и кастеты, ни винтовочные обрезы, сбереженные в потайных местах.

А меж тем в станицах, в присмиривших после бурь переселенческих хуторах и в притихших казахских аулах, разогнавших на все четыре стороны прежних своих управителей и владык,— и тут и там, одинаково нелегко, вперевалку, со скрипом на первых порах налаживались иные порядки при непривычных обычаях и началах.

И влекла, соблазняла, заманивала взбудораженно растерянных хлеборобов своей диковинной новизною эта другая, полуясная и тревожная, как недоснившийся заревой сон, новая жизнь. И многим припугивала.

Одни осторожно, с оглядками, приноравливаясь к иному укладу, мало-помалу втянулись в гуртовую работу на общих покосах и пашнях. Свыклись спустя'какое-то время, с не своими и вроде как бы и не чужими при новых порядках быками и лошаденками, с общей упряжью, с худым и добрым инвентарем, собранным теперь в одну кучу, с перебранками на собраниях, с ворчливыми бригадирами, с артельным варевом в поле в страдную пору — свыклись и зажили, хоть и не враз на широкую ногу, но побойчей и повеселее, чем в доколхозные времена.

Но как бы там трудно ни складывалась эта новая для потомственных хлеборобов и скотоводов артельная жизнь, а все ж торжество ее в здешних краях с годами угадывалось во многом.

Неторопливое время неприметно листало страницы суровых будней, и годы шли за годами. Реки текли и текли. Струились прозрачные родники. Журчали светлые степные ключи. Ревели в оврагах бурные полые воды. Ветры скитались. Шли облака. Лили веселые летние ливни. Молодое племя упругой и гибкой березовой поросли шумело в сени светловолосых тенистых рощ. Наливались хмельными соками дикие вишни. Черно-желтые осы и золотые шмели собирали медовые взятки с пылающих в травах цветов. Ковыли бушевали. Колосились хлеба. Дети мужали. Красовались на выданье невесты.

Хлеб водился в амбарах. Не скудели добром иные дворы. Семьи множились. Незаметно, один подгоняя другого, поднимались на ноги внуки. А то и, глядишь, у иных уж

орали в зыбках во всю ивановскую горластые — в прадедовскую породу — беспокойные правнуки! И даже отмерцавшие, незоркие глаза старых людей различали из вьюжной заметы прошлого, как менялась крутая на поворотах жизнь — к зримой выгоде молодого, ныне царствующего в ней поколения!

Все менялось.

Не менялись только одни целинные степи. По-прежнему на сотни, на тысячи долгих верст бежали они от обновленных старинных станиц, от осевших казахских аулов и переселенческих сел в настужь распахнутый, беспредельный, овейанный ветрами простор. Над ними летали лебяжьими стаями облака. Кружились в подоблачной высоте, зорко высматривая в дремучих травах добычу, ржавокрылые коршуны. Пылали огненные копыя гроз. Мерцали кроткие ночные зарницы. Стремительно падали, на лету стора я в зеленой полумгле, августовские звезды.

И теплой хлебной опарой, парными дрожжами пахла на вешних утренних зорях непаханая земля. Разбухая от поллой весенней воды, от светлых майских дождей, от бродивших в прогретом солнцем дерне животворных жизненных сил, степь тонула в такую пору в быстротекущем, серебристо мерцающем мареве испарений. Издревле безбрежная и безлюдная, разомлев по весне, томилась она нерастраченным плодородием и, не скупясь, щедро одаривала и конных и пеших путников своими застенчивыми, покоряюще-бесхитростными, нежно пахнущими перед грозой и под вечер полевыми цветами.

Но озорные весенние ливни с веселой майской грозой и чарующее мерцание марев над изумрудным степным покровом нередко сменялись тут в иные годы к разгару лета мертвой зыбью бесшумных волн мутного зноя, угарным пыльным чадом, печным удушливым пылом сварливо-жарких ветров — суховеев.

Степь темнела — как ропщущее море в преддверии бури. И рано, без времени, блекли в такую пору синеглазые царевны ее цветочного царства, непритворные скромницы — незабудки. Обреченно роняли перед огненным валом зноя свои опальные головы отзвеневшие на утренних зорях в росистой траве кроткие колокольчики. Все тревожней, печальней и горше перешептывались, шурша парчовым своим оперением, засыхавшие на корню ковыли. Ревниво оберегая в гнездах полуоперившиеся выводки, умолкали, хоронясь от зорких коршунов в мелкорослых пепельных полы-

нях, жаворонки. И утомленные затыжными поисками добычи беркуты лениво кружились над вымершей степью, под остекленело-бесцветным, покинутым облаками небом.<sup>228</sup>

Все тише, все глуше и глуше становилось под осень в пустынных равнинах. И с покорным смирением принимали они теперь и зябкую изморозь хмурых предзимних рассветов, и обложные, студеные, сеянные сквозь частое сито дожди, и прощально-горькую переключку незримых в заоблачной выси диких гусей, покидавших по властному зову своих вожakov обжитые камышные займища и озера, и весомую седину ранних утренних инеев в прядях скорбно поникшей травы.

Такой была эта степь. Такой пришла она и к своему преображению в канун ураганной зимы тысяча девятьсот пятьдесят четвертого года!

\* \* \*

Богатейшее зерновое хозяйство Казахской республики, и в частности, основной житницы ее — целины, имеет свою давнюю, поучительную и увлекательную историю.

До конца XVIII столетия этот издревле обжитой кочевыми народами бывший Киргиз-Кайсацкий край земледельческой культуры не знал. Кочевники не занимались хлебопашеством. Они довольствовались теми благами, которые давало животноводство. История земледелия на этих бескрайних просторах прочно связана с историей России.

По горячим следам Ермака в 80-х годах XVI века пошли по диким степям те боевые дружины служилых русских людей, коим доверено было, согласно царевой грамоте, окончательно «подвести новые земли под высокую царскую руку». В решающей битве на Иртыше Ермак разгромил Кучума, но не добил его. Как свидетельствует знаменитый сибирский летописец Михаил Ремезов, некогда грозный хан с остатками потрепанного своего войска «утече на калмыцкий рубеж Ишима». Этим рубежом и явились плодороднейшие пространства нынешних Северо-Казахстанской, Костановской, Акмолинской и частично Кустанайской областей. В тысяча пятьсот девяносто восьмом году боевые дружины русских воевод окончательно разгромили кучумские орды и земли эти присоединили к России. Сам Кучум, бежав на юг ногайских степей, погиб.

Но кровопролитные битвы продолжались тут и позже — на протяжении почти двух столетий. Вскоре после бесслав-

ной гибели Кучума русским войнам пришлось сражаться с ногайцами, у которых нашли себе приют сыновья грозного татарского властителя. Затем на степные рубежи хлынули с юга несметные полчища джунгар. Они стали грабить местное население и опустошать воеводские остроги, охранявшие завоеванные владения. Но полудикие племена джунгар, конечно, не могли противостоять России, тем более, что их ненавидело и местное население. Когда же в долинах Иртыша и Ишима был открыт алебастр (ошибочно принятый за слюду), Петр Первый повелел воздвигнуть в присоединенном крае несколько новых военных укреплений и откомандировал сюда три тысячи конного и пешего войска. Прибыв на место, эти люди заложили сначала Омскую, а затем Семипалатинскую и Усть-Каменогорскую крепости.

В тысяча семьсот пятьдесят втором году на правом берегу Ишима построена крепость Петра и Павла—нынешний Петропавловск — и воздвигнута цепь укреплений, земляных городищ, маяков и редутов, что пролегли близ горько-соленых озер от Яика до Иртыша. От обилия горько-соленых вод линия эта и была названа Горькой. В тысяча восемьсот восьмом году на этой линии было образовано линейное Сибирское казачье войско. Правительство наделило казаков землей, жалованием, а на первое время — фуражом и продовольствием. Спустя лет пятнадцать линейные казаки были уже хозяевами всех окрестных степей от Петропавловска до Кокшетау, от Акмолинска до Каркаралов.

Так завершился первый этап освоения Россией Северного Казахстана.

Но землю возделывать тут начали значительно раньше, чем появились казаки. Первые военные были и первыми земледельцами.

В тысяча семьсот сорок пятом году командир всех сибирских пограничных линий генерал Киндерман, желая удешевить продовольствование подчиненных войск, приказал ввести казенное хлебопашество, а через год после этого приказа на Горькой линии были уже организованы так называемые казенные пашни. Из шестисот линейных солдат, снабженных земледельческими орудиями и волами, каждый обязан был засеять по три десятины ржи и по три ярицы.

Однако «казенное», или, как его называли позднее, «палочное», хлебопашество большой пользы не принесло. От

посеянной казаками в тысяча семьсот сорок седьмом году тысячи семисот пятидесяти девяти четвертей ржи и ярицы получили только чуть больше шести тысяч четвертей, то есть урожай был менее, чем сам-пятьый. Следующей осенью собрали зерна еще меньше. Почти ежегодно командиры линейных крепостей доносили, что «во многих местах был великий недород за жарами и морозами, а в некоторых крепостях и семена едва возвратились». Таким образом, казенный хлеб обходился значительно дороже привозного. В тысяча семьсот семидесятом году «палочное» хлебопашество было отменено сенатом как не оправдавшее себя.

Пятьдесят лет спустя на Горькую Линию прибыл генерал Капцевич и узнал, что казаки довольно успешно занимаются земледелием.

Боевая жизнь линейных казаков, разумеется, затрудняла земледелие. Своими силами казаки не могли освоить значительных площадей, но они доказали выгодность земледелия в этом необъятном крае.

Восемьдесят лет назад акмолинский почтмейстер заштемпелевал в присутствии губернаторского письмоводителя и отправил в далекий Петербург особо важное, за сургучной печатью, строго секретное письмо. Это был увесистый, казенного образца пакет, адресованный лично императору. Вот что писал тогда степной генерал-губернатор Кознаков царю:

«Положение степных областей требует особого внимания. Со времени принятия киргизами русского подданства успехи, сделанные оными в гражданственности, весьма ничтожны. Попытки же перехода сих инородцев к земледелию также не заслуживают внимания. Между тем, доколе киргизы будут одиноко совершать в пустынных пространствах степей огромные орбиты своих кочевок, вдали от русского населения, они останутся верноподданными лишь по названию и будут числиться русскими только по переписям. Сопредельные с ними по Линии казаки, по малочисленности своей, не могут принести оному делу большей пользы, но сами поголовно обучались киргизскому наречию и переняли некоторые, впрочем, безвредные привычки кочевых народов...»

Генерал Кознаков поднял перед императором вопрос об отмене запрета на доступ к казахским землям для крестьян из центральных губерний России. Получив донесение, император размышлял четырнадцать лет и лишь в

июле тысяча восемьсот восемьдесят девятого года обнаружил «высочайшее уведомление о том, что отныне акмолинские и все западносибирские степи объявляются открытыми для вольного крестьянского переселения».

Подходил к концу девятнадцатый век. На неполное столетие Россия уже успела насчитать сорок голодных лет. Со страшной закономерностью каждые два-три года страна терпела неурожай, за которым следовал голод. Если в начале столетия в центральной полосе одновременно голодали по шесть и по восемь губерний, то в сороковых годах их число достигало уже восемнадцати, а в девяностых — шестидесяти. Однако эти страшные цифры не очень тревожили романовскую династию. Императоры, ревностно поддерживаемые помещиками, боролись не с голодом, а с... голодающими. Так, например, когда в тысяча восемьсот сороковым году голод одолел около двух десятков губерний, Николай I, образовав секретный комитет, соблаговолил дать ему для руководства следующую директиву: «Надлежит помнить, что от достаточной помощи в крестьянах возбуждается леность и тунеядство, ограждение народа от физического бедствия может сделаться невольной причиной распространения нравственных недугов, в существе своем несравненно вреднейших и опаснейших».

Естественно, что, когда был открыт доступ в доселе наглухо замкнутые на двенадцать засовов ворота в далекую хлебобобную степь, десятки тысяч отчаявшихся мужиков тотчас снялись с насиженных мест и, не раздумывая, тронулись в неведомые акмолинские места.

По терновому, каторжному пути шли в те годы переселенцы. История дореволюционного переселения российских крестьян на пустынные восточные земли — это целая эпопея страшных, почти неправдоподобных бедствий, чудовищных лишений и горя. Перенести все это способен был только русский мужик.

Писатель Н. Д. Телешов рассказывает в своих воспоминаниях, как однажды в пору своей литературной юности он случайно встретился в вагоне пригородного подмосковного поезда с А. П. Чеховым. Телешов ехал на одну из станций снять там дачу на лето. Разговорившись с Чеховым, молодой писатель пожаловался ему на отсутствие тем для творчества. Внимательно выслушав юного литератора, Антон Павлович, мягко улыбнувшись, сказал ему:

— Послушайте, а зачем вам эта самая дача? Знаете, что я вам посоветую? Если хотите стать серьезным писате-

лем, плюньте-ка, батенька, на все эти дачные затеи. Я бы на вашем месте сию же секунду вернулся в Москву, купил билет и завтра же выехал третьим классом куда-нибудь подальше, ну, скажем, на Урал. Уверю вас, там вы встретите немало интересного, и вам будет потом о чем рассказать.

Телешов так и сделал. Распрощавшись на первой же остановке с Чеховым и горячо поблагодарив его за полезный совет, он вернулся в Москву, немедленно выправил билет и на другой день уехал в вагоне третьего класса в далекую зауральскую степь. А через два года в Петербурге вышла в свет книга, сразу же обратившая на себя внимание критики и доставившая автору ее широкую популярность в читательских и литературных кругах. Это были телешовские «Переселенцы» — правдивая, глубоко волнующая повесть о русском мужике, рискнувшем попытать счастья в пустынных акмолинских степях. Именно Телешов первым из писателей рассказал горькую правду об этой переселенческой голгофе, где столько было страданий, гнева и слез, что далеко не у каждого из читателей хватало тогда мужества и решимости дочитать эту книгу до конца.

Как Н. Д. Телешов в литературе, так С. В. Иванов в живописи оставил нам яркий, свидетельствующий о трагической судьбе дореволюционного русского переселенца документ. Все мы помним и по Третьяковской галерее и по многочисленным репродукциям его широко известную картину «В дороге. Смерть переселенца». И кто хотя бы раз в жизни видел это полотно, никогда не забудет ни жалкой одинокой повозки среди дороги в глухой степи, ни страшного в своей неподвижности, прикрытого грубой холстиной трупа кормильца осиротевшей семьи, ни этих обреченно опущенных под тяжестью невыплаканного горя, страдальчески-выразительных женских плеч.

И книга Н. Д. Телешова, и картина С. В. Иванова, и превосходный, как всегда, предельно выразительный и яркий рассказ «На край света» Ивана Бунина — все это произведения одного плана, где художники раскрыли с потрясающей психологической глубиной внутренний мир русского мужика, вынужденного покинуть свою родину и отправиться на поиски некоей обетованной земли.

Но существуют и документы, где скупой и точный язык фактов и цифр, пожалуй, не уступает по своей выразительности ни объективному телешовскому слову, ни утонченному бунинскому перу, ни строгой и смелой ивановской кисти.

Так, например, в восемнадцатом томе полного географического описания России, изданном в С.-Петербурге в тысяча девятьсот третьем году, читаем:

«С девяностых годов начался усиленный наплыв переселенцев в Акмолинскую область, с которыми администрация не знала первое время, что и делать и куда их размещать. Летом тысяча восемьсот девяностого года в области скопилось свыше семнадцати тысяч никуда не причисленных переселенцев. Они буквально наводнили все казачьи поселения. Но так как везде все было переполнено, то они целыми месяцами тщетно блуждали из поселка в поселок в поисках пристанища. Местные власти, не видя возможности как-нибудь устроить всех этих несчастных и опасаясь волнений и различных эпидемий, употребляли все меры, чтобы удалить всех переселенцев из пределов области».

Вот как встретили акмолинские власти в лице так называемой особой комиссии по делам переселения прибывших сюда россиян. А на покинутой пришельцами родине, когда они только еще собирались уезжать, им были обещаны и свободный выбор земельных участков, и льготы по податным платежам и натуральным повинностям, и бесплатные сто лесин на каждый двор для обзаведения постройками, и даже двадцать рублей наличными на каждую семью на «предмет обзаведения скотом», как говорилось в «переселенческой инструкции». Но это были обещания. Действительность оказалась иной.

Наступила грозная осень тысяча восемьсот девяностого года. Девятысяча пятнадцати семьям из семнадцати тысяч, мечтавших найти в акмолинских степях обетованную землю, наконец повезло: их кое-как, с грехом пополам все же «устроили» на прирезанных межевиками участках. Но что это были за участки! Межевые партии землеустроителей меньше всего заботились о благополучии новоселов и в спешке селили их где попало. Вот почему через год многие из вновь возникших в степи переселенческих сел, хуторов и отрубов исчезли. Крестьяне вынуждены были сняться с обжитых за зиму мест и тронуться на поиски новых, более пригодных земельных угодий. Причины к тому были веские: то близ поселков воды не оказалось, то почва была солончаковой, то новоселам межевики «забыли» прирезать сенокосные угодья. «Забывчивость» землеустроителей объяснялась очень просто: мужики, как потом оказалось, недостаточно щедро «позолотили господам ручку» и вот теперь

вынуждены были расплачиваться за свою недогадливость более крупной монетой, разоряясь вчистую, вконец...

Судьба же нигде не приписанных переселенцев была еще ужасней. Очутившись к зиме без крова, без куска хлеба, без гроша за душой, тысячами кружились они по степи, бродили по линейным казачьим станицам. Но казаки не очень-то радушно привечали пришельцев из далекой «лапотной Расеи». Видя в новоселах своих врагов, посягающих на священную казачью землю, и чувствуя в них опаснейших своих конкурентов в земледелии, линейные старожилы не только не давали приюта обездоленным мужикам, но с молчаливого согласия начальства (а нередко и подстрекаемые им) гнали переселенцев из своих станиц прочь, не позволяя даже укрываться от дождей и непогоды под крышами пустующих войсковых амбаров. Злорадно освидетельствованные и осмеянные злыми на язык старожилками, измученные бесконечными скитаниями, отчаявшиеся, изголодавшиеся и почти уже утратившие человеческий облик переселенцы вынуждены были искать защиты в пустынных степях или у редких зимовок кочевников. Но казахи-кочевники, сами вытесненные с прежних богатых пастбищ, не могли сочувственно отнестись к русским новоселам. Аткаминеры, влиятельные степные князьки и баи, натравливали казахскую бедноту на блуждающих по степи бездомных русских крестьян. Сложнейший переплет национальных и классовых отношений обретал самые злые, острые формы.

Некуда было приклонить головы в этом просторном краю затравленным, попавшим под перекрестный огонь национальной, сословной и классовой ненависти переселенцам. На суровом чужестранном ветру, под проливными дождями ютились они в жалких шалашах и, простужаясь и голодая, умирали близ глухих дорог, беспомощно цепляясь цепенеющими пальцами за жесткую, неласковую к ним землю...

Употребив все меры к удалению переселенцев из пределов области, акмолинское степное генерал-губернаторство разогнало чудом уцелевших от голодной смерти людей куда попало. Часть из них была выпровождена на Алтай, иные уехали в соседнюю Семипалатинскую область, иные — таких, правда, было немного — рискнули вернуться на родину.

Но могучий переселенческий поток, хлынувший к прославленным берегам Ишима, не затих и после пережитой первыми переселенцами катастрофы. К тысяча восемьсот

девяносто шестому году здесь уже осело свыше восьмидесяти тысяч курских, орловских, пензенских и тамбовских мужиков. Потом появились белые, покрытые золотистой соломой хаты с молодыми вишневыми садиками прикочевавших сюда киевлян, херсонцев, полтавцев и черниговцев. Задумчивый и уютный украинский пейзаж смягчил библейскую суровость этих равнин. Вскоре приветливо замахали могучими крыльями высокие, со стрелчатými шипами на макушках украинские ветряки. Приятно было смотреть издали на неутомимую работу этих тружеников усталому степному путнику, завидевшему вдалеке новое, прочно обжитое трудовым народом селение.

Эти гордо поднимающиеся над степью ветряки были первыми маяками зародившегося в степном краю и стремительно разрастающегося торгового земледелия. И зоркие, наметанные глаза екатеринбургских, ирбитских и шадринских зерноторговцев сразу же заметили обширную зону для хищных своих промыслов и спекуляций. Вот почему все чаще и чаще стали кружиться окрест незнакомых переселенческих сел бойкие на язык, расторопные, всегда как будто полухмельные заезжие с Урала хлеботорговцы.

А в канун тысяча девятьсот семнадцатого года чиновники Акмолинского губернского статистического управления доносили начальству, что «согласно последним статистическим данным, собранным по степному краю, на территории Акмолинской губернии числится уже свыше одного миллиона двухсот тысяч осевших на землю переселенцев».

Так был завершен второй этап заселения бывшего Киргиз-Кайсацкого края. По тропе Ермака, по следам русских служивых людей, за полками пехоты и лихими эскадронами казачьей конницы пришла в эту степную окраину Российской империи великая армия земледельцев, армия мастеров земли.

Сокровенная мечта Ермака — завоевателя и первого земледельца края — сбывалась. Зерно, некогда брошенное во взрыхленную боевым мечом землю, дало ростки. И напрасно тревожился вдруг затосковавший по пашням полководец: пригоршня золотых искр, оброненная им на поле брани, не была выгоптана потомками.

\* \* \*

Редкий, пожалуй, из наших современников знает о том, что еще совсем недавно, всего каких-нибудь лет шестьдесят назад, в Северном Казахстане существовало поливное

земледелие. Как и на юге Казахстана, здесь весело журчали арыки, орошая пашни и омывая луга. Глуховатый, дремотный говор арычной воды можно было услышать тогда в самых северных районах нынешней Акмолинской области, под Атбасаром и близ Петропавловского менового двора.

Это были пашни кочевников-казахов.

Именно казахи занесли древнюю культуру поливного земледелия сюда от ворот Ташкента и Бухары. Имея под руками только кетмень, кочевники были не в силах одолеть залежи спрессованной столетиями земли. Появление в этих местах испытанной и многострадальной русской матушки-сохи сыграло огромную роль. Теперь, при наличии мощных тракторов и многолемешных плугов, смешно говорить о сохе, а в ту пору по сравнению с кетменем она была дельным сельскохозяйственным орудием. И естественно, что соха очень скоро вытеснила его, а с ним вместе и примитивное поливное земледелие.

До первой половины прошлого столетия казахи почти не занимались хлебопашеством. Потом, отчасти под влиянием русских земледельцев, отчасти из-за набегов враждебных племен, угонявших гурты скота, разорявших кочевников, они волей-неволей приобщались к земледельческому труду. Одной из причин этого были также массовые падежи скота, возникавшие то в одном, то в другом месте. Так, например, в тысяча семьсот восемьдесят девятом году у казахов бывшего Казалинского уезда погибло свыше двух третей скота. Десять тысяч кибиток из двадцати пяти тысяч вынуждены были перейти от скотоводства к земледелию.

Еще раньше казалинцев взяли за посев пшеницы и овса кочевники с берегов Или и из Каратальской долины. Причем, по свидетельству пристава Большой Орды, как илийские, так и каратальские кочевники, согласно особому договору с тогдашним военным управлением Заилийского края, уже поставляли продовольствие и фураж для казахских войск, сосредоточенных в тысяча восемьсот пятьдесят пятом году в укреплении Верном.

Приблизительно в эти же годы земледелие получило довольно широкое распространение и в северных районах нынешнего Казахстана. А перед Октябрьской революцией казахи Актюбинского уезда сеяли хлеб уже почти поголовно. Около восьмидесяти процентов полукошевого казахского населения имело к этому времени свои посевы в Куста-

найском и свыше шестидесяти процентов — в Лбищенском уездах. Это были районы наиболее развитого земледелия, где, по данным бюджетного обследования, годовой расход хлеба на одно хозяйство составлял в среднем уже сто двенадцать пудов. Казахи же бывшей Акмолинской губернии, по сравнению с кустанайцами и актюбинцами, сеяли меньше и доход от своих посевов имели незначительный. Объясняется это тем, что крупные скотоводческие хозяйства здесь земледелием не занимались: им еще пока выгоднее было гонять по кулундинским и каркаралинским ярмаркам тысячные гурты своего скота и вступать в привычные торговые сделки с российскими скотопромышленниками, чем пускаться в весьма рискованную конкуренцию с местными «зерновыми королями», набившими руку на хлебных спекуляциях. И если годовой денежный доход казахских земледельцев Кустанайского и Актюбинского уездов выражался к концу тысяча девятьсот тринадцатого года в двадцати четырех рублях, то жители Акмолинского уезда получали от своих посевов не более трех рублей в год, а среди хозяйств Петропавловского уезда годовой доход не превышал и... пяти копеек.

В эти годы среди казахского населения Акмолинской губернии хлебопашеством занимались почти исключительно бедняки. В основном это были люди, близкие к полному разорению. Чудом удержавшись за последнюю лошадь и не имея иных источников существования, они брались за поручни сохи и начинали ковырять жалкий клочок земли, надеясь таким образом спасти свою семью от голодной смерти. Нам теперь трудно даже представить, как это могло держаться такое хозяйство с... пятикопеечным доходом в год. А между тем это было так. Это было так потому, что выбора у казахского бедняка, в сущности, не было: или ковыряться с грехом пополам в земле и хоть впроголодь, но кормить до половины зимы свою семью хлебом, или, бросив эту семью на произвол судьбы, отправляться к линейному казаку или степному баю в батраки, откуда возврата не было.

Развитие торгового земледелия в дореволюционном Казахстане шло за счет линейных казахских и главным образом переселенческих хозяйств. Итоги сельскохозяйственной переписи тысяча девятьсот шестнадцатого года свидетельствуют, что около восьмидесяти процентов всех посевных площадей бывшего Киргиз-Кайсацкого края было сконцентрировано в переселенческих хозяйствах. Посевы переселен-

цев занимали в канун первой мировой войны почти три миллиона десятин из четырех миллионов двухсот пятидесяти девяти тысяч десятин всей посевной площади края. Остальные около полутора миллионов десятин падали на казачество и на хозяйства бывших кочевников.

Классовая дифференциация среди новоселов началась в первые же годы освоения новых земель и особенно обострилась в канун первой мировой войны. Из обследования переселенческих хозяйств, произведенного профессором Румянцевым в Лепсинском, Сергиопольском и Верненском уездах, видно, что тридцать пять процентов из проживавших здесь в тысяча девятьсот двенадцатом году переселенцев считалось «неприписными», то есть не имело ни своей земли, ни клочка своих собственных посевов. Эти люди наравне с казахской беднотой терпели такую беспробудную нужду, такие нечеловеческие бедствия и лишения, о которых знаем мы теперь только по раздолбным, как степи, по горьким, полным тревоги, тоски и гнева русским народным песням да по вдохновенным клямкам степных акынов, рассказывающих о скупой на счастье и радости жизни кочевников.

По свидетельству того же профессора Румянцева, только пятнадцать процентов из обследованных им переселенческих хозяйств жило в достатке и довольстве. В их руках было сосредоточено около семидесяти процентов всего скота и свыше половины посевной площади. Это были кулаки — типичные представители тех самых капиталистическо-фермерских хозяйств, на которые возлагал в свое время надежды известный «реформатор» Столыпин. По хвастливым и самоуверенным заявлениям этого реакционнейшего царского министра, именно таким «крепким хозяйствам» суждено было открыть новую эру технического прогресса в русском земледелии. Однако история показала, что никакой такой новой эры столыпинские отрубные кулаки не открыли и никакого прогресса в земледелии не произвели.

О каком техническом прогрессе могла идти речь, если акмолинские, кокчетавские, кустанайские и прочие кулаки не нуждались в механизированном земледелии! Не нужна была им механизация! Куда выгодней было эксплуатировать русско-казахскую бедноту! Батраки обходились дешевле любой простейшей сельскохозяйственной машины.

Можно смело сказать, что такой варварской, хищнической обработки земли, какую практиковали кулаки в казахских степях, не знала ни одна губерния Российской им-

перии. Арендуя у бедноты землю на пять лет, кулаки совершенно ее обескровливали и бросали, потом переключались на новые целинные массивы. Ни о каких, разумеется, агротехнических мероприятиях тут не могло быть и речи: кулак не нуждался в них. Он сеял до тех пор, пока земля давала богатый урожай, а затем арендовал новый участок: земли-то окрест было много.

Столыпинское «Особое степное положение» установило порядок, согласно которому казахи могли сдавать в аренду принадлежащую им землю только «состоятельным русским людям», то есть кулакам. Причем вопрос о сдаче земли в аренду мог решаться только съездом выборных волостных — крупнейших степных князьков-феодалов. Этим «положением» широко воспользовались влиятельные верхи дореволюционного казахского аула — аткаминеры, тотчас же занявшись от имени таких фиктивных съездов самой бессовестной распродажей не принадлежащих им земель.

Идеологи столыпинской аграрной политики в лживых ханжеских своих выступлениях болтали о том, что якобы к началу первой мировой войны за шесть лет реакции подавляющее большинство земледельческих хозяйств России экономически окрепло, поднялось и обогатилось. Однако В. И. Ленин доказал обратное. Опирируя взятыми из журнала «Русская мысль» цифрами и фактами, Владимир Ильич в ответ на неумную болтовню реакционных писак заявил, что ежели одна пятая часть земледельческих хозяйств действительно окрепла, то две пятых за это время дошли до полного разорения, а две пятых остались на прежнем уровне. В замечательной речи, подготовленной для выступления большевиков десятого апреля тысяча девятьсот четырнадцатого года в Государственной думе, Ленин писал:

«И помещик, дающий зимой под работу хлеб или деньги, вовсе не похож ни на «европейского» хозяина, ни на капиталиста-предпринимателя вообще... Усовершенствования производства не только не нужны при такой «системе хозяйства», а прямо *нежелательны* с ее точки зрения, *не нужны и вредны* для нее. Разоренный, нищий, голодный мужик с голодным скотом и убогими орудиями — вот что *нужно* для подобного помещичьего хозяйства, которое *увечивает* отсталость России и забитость крестьян».<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Соч., т. 20, стр. 292.

Я родился и вырос в Целинном краю.

Малолюдной была в недалеком прошлом родная моя сторона. Глуховатой. Негусто обжитой. Скуповатой на яркие краски. Малозаманчивой для иного стороннего холодного ока.

В стороне от железных дорог, вдали от глубинной России. На краю. На отшибе. И неприметным, заброшенным выглядел до поры до времени этот обширный наш край.

А меж тем небогатые числом коренные, крепко сбитые двужильные старожилы полупустынных в недавнюю пору, забытых богом степей — природные пахари и скотоводы — издревле кормились дарами этой обильно политой их потом и кровью земли.

Конечно, что и говорить, как и всюду и в допрежнее время в России, не всем тут жилось вольготно — на широкую ногу. Далеко не каждого кровного сына степь баловала в ту пору золотыми ливнями пшеничного зерна. Не для всех была она родной матерью. Для многих — троюродной теткой.

У одних амбары ломились от хлеба. Крестовые дома — от добра. Просторные дворы — от живности. А кожаные гаманы разбухали от хрустящих кредитных билетов с ликами императрицы Екатерины или Петра Великого. То была степная спесивая знать. Атаманы — дремучие бороды до пупа. Узкоглазые, разжиревшие не в меру степные баи. Лихоимы. Выжиги. Торгаши. Конокрады.

А иные — таких было тут не счесть — только и знали, что чертомелили с малых лет до седых волос на здешних богачей. Такие до гробовой доски не скидывали с шеи чужого ярма. Не вылазили из извечной нужды. Бились рыбой об лед. Абы как там сводили, случалось, иной раз концы с концами.

Таким был допрежний Целинный наш край. И не только горячим, круто посоленным потом — потоками жаркой людской крови щедро орошены были в годы гражданской войны неоглядные его просторы. Полям брани стали они тогда — ареной рукопашных схваток здешних хлеборобов и пастухов с лихими казачьими сотнями колчаковцев, с летучими ордами чернознаменных анненковских головорезов. В багровом дыму зловещих пожарищ тонули многие села. Стоном стонала в те горькие дни и ночи распятая копытами карательных конниц, омытая праведной кровью повстан-

цев, покрытая пеплом степь. Черным диском зияло над нею в мгlistом от дыма и пыли небе жаркое солнце. И горек был в ту лихую годину здешний хлеб. И солон водичка!.

А потом опять стало тихо, сонно и глухо в этом захластном мире на какие-то немногие годы. То была недобрая — чуяли это люди — тишина. Сумеречная. Подозрительная. Глухая.

И чем ближе неприметно подкатывало неторопливое время к исходу двадцатых годов, тем тревожнее становилась эта нависшая над степными селами и аулами тишина. Чаще и чаще — то там, то тут — грохотали в кромешно темные ночи одинокие выстрелы. Это отпетое уже историей, поднявшее голову кулачье втихомолку принялось убирать неудобных им односельчан со своей дороги. Вооружившись обрезамии, они из-за углов стреляли в спины селькооров и комбедчиков, комсомольских активистов и вожакoв партийных ячеек.

Я в ту пору только начинал работать — был зачислен в штат газет «Беднота» и «Батрак» разъездным корреспондентом.

Из далекого, затерявшегося в кустанайских степях села Анновки нам часто писал активный селькор Алексей Струнников. В конце августа тысяча девятьсот двадцать девятого года он был предательски убит. А через несколько дней после этого до редакции дошли слухи о трагической гибели в той же самой Анновке и тоже от рук кулаков молодой учительницы комсомолки Лены Ганченко. И вот тут вскоре я поехал в первую мою командировку по заданию редакции. Послали меня в северные районы республики — нынешний Целинный край — с наказом побывать в самой Анновке.

В уныло-пустынном в ту пору, похожем на малоопрятную деревню Кустанае я разузнал, что до Анновки тут не рукой подать — что-то около двухсот километров. В то время в здешних местах еще бытовали оставшиеся от старинки степные ямщицкие пикеты. За определенную поверстовую плату — по обоюдному стовору с ямщиком — можно было ехать на перекладных — от пикета к пикету — в любую сторону. И я, наняв удалые дрожки с плетеным ракистовым кузовком, с разговорчивыми валдайскими колокольчиками под выездной ямщицкой дугою, отважно пустился в первое свое дальнее плавание по зыбкому целинно-кoвельному морю.

Стояла близкая уже к исходу вторая половина сентября. Но в окрестной степи было сухо и знойно не по-осеннему. Дул упругий, горячий порывистый ветер. Над давным-давно до звона высохшими ковылями мчались куда-то вприпрыжку, наперегонки целые стада похожих на ежей шаров кочевой травы — перекати-поля. Пахло гарью, сухим конским пометом, дорожной пылью.

До Анновки я добрался на другой день. Смеркалось, когда въехали мы в небогатое, но опрятное село с деревянными пятистенничками, с белыми, крытыми соломой хатками.

Село как село. Но странная, какая-то настороженная стояла здесь тишина. Ни огонька в окнах. Ни одной живой души на улице. Мертво — ни малейшего признака жизни. Ни звука, ни шороха. И что больше всего удивляло и немало пугало — молчали даже собаки!

Проехав шажком из конца в конец притихшую, точно вымершую Анновку, я велел ямщику подвернуть к просторному дому, стоявшему от села несколько на отшибе. В нем слабо светилось одно из окон. И я просветлел, столкнувшись на пороге этого дома с живой душой — сухоньким старичком в опорках на босу ногу. Вышло, что мы попали куда было надо, — в школу, и не по годам подвижной, суетливый дед назывался ее сторожем.

Старик охотно согласился приютить меня на ночь в любом из классов — на выбор. И через самое малое время я разузнал уже многое о последних событиях в Анновке, и все — со слов сторожа, ласково попотчевавшего к тому же меня роскошными вялеными карасями самоличного, как он сказал, улова.

Оказалось, что всего за какой-нибудь час до моего приезда закончилось собрание членов недавно возникшей тут сельхозартели с присутствием выжидательно-сторожких единоличников. И судьба девяти былых заправил-горлохватов Анновки была решена. Все их движимое и недвижимое имущество переходило отныне в собственность сельхозартели «Путь Ильича», а сами они, «володетели», со всеми их выкормышами-домочадцами подлежали высылке, куда власти скажут. Шестерых из них милиция сразу же отправила в райцентр. А насчет троих сплеховали — не изловчились вовремя к рукам прибрать.

В эту тройку беглецов входили родичи: братья Архип и Иван Гоманюки — владельцы салотопни и паровой мельницы, и своячок их Герасим Кувыкин — прасол, ворочав-

ший тыщами. И расправа над бывшим батраком Гоманюков — селькором Алешей Струнниковым и убийство юной Лены Гапченко было делом рук этой тройки. Об этом знала вся Анновка. Хотя прямых улик против убийц ни у кого не имелось.

Было уже близко к полуночи, когда я, наслушавшись старика, примостился в одном из классов и тотчас заснул так, как можно спать после дальней дороги только в юности. Но не минуло, должно быть, и часа, как я вдруг проснулся от пронзившего ощущения беды, почти ужаса. Вскочив, как ужаленный, я был мгновенно ослеплен жарким мерцающим багрового света в пылающих окнах школы.

Пожар!

Вылетев на крылечко, я обмер. Вся Анновка потонула в яростно клокочущем и бушующем вулкане огня. Свирепый северный ветер, срывая с крыш рдевшие балки, швырял их с сатанинской злобой и силой через целые кварталы на кровли дальних, мгновенно вспыхивающих домов. Земля гудела от грозного гула и рева кроваво-багрового пламени, от грохота рушившихся потолочных перекрытий, от треска огромных бревенчатых костров.

Неправдоподобно ярким, жутким светом озарена была в эту глухую и темную осеннюю ночь окрестная степь. И было видно, как из объятай страшным пожарищем Анновки в паническом ужасе разбежались во все стороны люди. Женщины с детьми на руках. Ребяточки постарше. Домашняя птица. Ошалевший скот.

Несколько женщин — тоже почти все с детьми на руках — бежали, спотыкаясь и воя, к школе. Впереди них мчался во весь дух босой, году по девятому мальчик в рваной ситцевой рубашонке. Большие, диковато сверкавшие, округлившись от страха глаза его были устремлены на оторопевшего, точно впавшего в забытие старика, стоявшего у крыльца школы. Подбегая поближе, скороговоркой выпалил:

— Дедуня, мужики поджигателей поймали. Тройх. Одного в один дых ломом пришибли. А Гоманюков покрутили вожжами и живьем напрямик — в огонь.

— Брешешь, варнак? — прошипел старик.

— С места не сойти. Ей-богу, не вру, дедуня. В прах обое сгорели! — тараторил дрожавший в нервном ознобе мальчик.

Да, так все и было. Они были схвачены, и возмездие над ними свершилось. Но все жители Анновки — около

двухсот семей — остались без крова и почти все — без последних пожитков.

Между тем страшное это пожарище быстро пошло на убыль — гореть больше было нечему. И когда занялось наконец над окрестной степью студеное хмурое утро, на месте вчерашнего села слабо курились дотлевавшие головешки.

Было тихо. Люди, как заведенные, оступело бродили за чем-то вокруг своих пепелищ. Я понял — тут теперь было не до корреспондентов. И, взяв брезентовый свой портфель с блокнотами под мышку, я отправился пешком в районный центр — за сорок пять верст — писать свою первую корреспонденцию о трагедии Анновки.

Прошли годы.

И вот я снова очутился в этих краях. На этот раз — по заданию «Правды».

То было в памятную для всей нашей Родины весну 1954 года — года героического народного похода на целину.



## **ЗАРНИЦЫ НАД НИВАМИ**

По узкой, прямой, как натянутая струна, меже, недавно превращенной в неторную пока проселочную дорогу, шел в вечерний час одинокий путник. Шел не спеша, несуетливой, мерной походкой.

В неказистых, грубо сработанных башмаках, обутых на босу ногу, в выцветшей от стирки и солнца просторной ситцевой рубахе, перехваченной в поясе узким сыромятным ремнем, с длинной, похожей на посох палкой походил этот путник не то на старого колхозного пастуха, не то на одного из тех, навсегда ушедших в прошлое странников, что, бывало, бродили из края в край по градам и весям нашей Родины.

Это был рослый, не по годам прямо державшийся, широкий в кости старик. Его лицо, обрамленное ковыльной сединой бороды, могло показаться даже моложавым: загар скрадывал глубину застарелых скорбных морщин у глубоко запавших под дремучими бровями, уже немолодо светившихся глаз, но не утративших с годами врожденной зоркости природного степняка, смотревших на мир без старческого равнодушия и печали.

Шагая межой, путник по-хозяйски зорко и строго всматривался в море нив, смыкавшееся с бесконечно далеким призрачным горизонтом. То темные, как грозовые тучи, то изумрудно-зеленоватые, то нежно-палевые и слегка золотящиеся в лучевых потоках заходящего солнца, вал за валом катились по этому морю хлеба тяжелые атласно-бархатистые волны выметавшей колосья пшеницы.

Беспрестанно меняя под неверным, изменчивым на закате ветром окраску и форму, играя светом и тенью, бежали они летучей чредой и, настигая друг друга, сталкиваясь, кружась в бурном водовороте, бесследно пропадали затем из глаз в зыбком, ходуном ходившем полевом просторе.

Нагнав старика, мы пригласили его в машину.

— Благодарствую. Не ездук. В мои годы пеше дело надежнее. На восьмом десятке торопиться шибко некуда,— сказал старик, взвешивая на ладони крупный, как бобовый стручок, колос темноусой пшеницы.

— Тем паче. Ноги-то и побережь бы не грех.

— Смолоду беречь их, резвых, не был приучен, добрые люди. А теперь мне такая наука и подавно не впрок.

— И далеко путь держишь?

— Про это особый сказ... Не рукой подать. Одно беда. Вчерашний день порезвее шлось, сегодняшний — вперевалку. А вот завтра как бы, грешным делом, не расписаться. Что-то коленки стали пошаливать — загудели. И в пояснице покалывает. Ну да ладно. Река Аят рядом. Доплетусь. Там у брода ключ бьет. Не вода — слеза! Освежусь — возьму да и помолодею!

— Про ключ не слыхал. Только Аят твой неказистая, дед, речушка,— насмешливо заметил знаток здешних мест шофер.

— По тебе — речушка-верчушка, по мне — река-матушка. Она меня полвека с моей оравой поила! — строго огорчил нашего спутника старик.

— Видать, старожил здешний?

— То-то и оно, что не вчера пришлый... Полста годов кряду в этих краях протрадовал. Да вот выходит шабаш — отстрадовался. Пора увольнительную получить. Никуда не денешься. Худая трава из поля вон. Это я, природный пахарь, очень даже хорошо понимаю. Одно беда: помирать, убей, неохота, ребята. Вы поглядите, что в наших степях нынче делается — страсти. Травы — в пояс. В хлеб сунешься — с головой не видать. Давечь наотмашь кинул для пробы в пшеницу свою фуражку, а ее закачало по кле-

бу, как по волнам. Хлеборобы знают цену такому фокусу. Скажи на милость, вторые сутки плетусь по сплошной пшенице — и ни конца этому царству, ни краю.

— Мы на машине, дед, километров триста с гаком от города Кустаная уже намотали — и то конца этим хлебам не увидели. А ты, понимаешь, пешком хотел океан-море вброд перейти. Шутить с такой арифметикой: пять миллионов гектаров посевов в одной только нашей области! — верный своей привычке разговаривать в незлобно-насмешливом тоне сказал шофер.

— Шутить хлебом? Я русский человек. Мужик. Пахарь. Я не то что шутить, картузом седой своей головы прикрыть перед нынешним урожаем не сумею, — угрюмо проговорил старик. И, не выразив больше душевной готовности к дальнейшему разговору, он, сердито одернув подвешенный к поясу узелок с харчами, собрался от нас уходить.

Стало жалко так скоро расставаться со случайным новым спутником.

Отпустив машину вперед, мы тоже пошли меж хлебов. Смеркалось. Ветер спадал. Все тише и тише шуршали колосья пшеницы. Самозабвенно, порой доходя до страстного изнеможения, били в хлебах перепела. В сумерках остро ощущался медово-бражный аромат разнотравья. И от близкой к созреванию, с набрякшими от налива колосьями пшеницы веяло чуть внятным запахом парного молока.

Мы молча добрались со стариком до берега невеликой, прикрывшейся ивняком и осокой степной речушки. Это и был Аят, к которому вплотную в этих местах подступали зеленые джунгли пшеницы.

Облюбовав пригожее для ночного привала место, развели костер. И пока кипятился чай, старик, лежа в прибрежной буйной траве, то ли дремал, то ли, как и мы, прислушивался к миру ночных шорохов и звуков, которыми была полна в этот поздний час утомленно присмирившая целинная степь.

Великое торжество брызжущей изобилием, активной, властно преобразовавшей эти степные просторы жизни угадывалось здесь в ночи. О том говорило многое. И похожий на задумчивый шепот шелест подступившей к самой реке пшеницы. И частые вспышки автомобильных фар на пролегшем поодаль тракте. И бойкий говорок неутомимо работавшей где-то на правобережье самоходной сенокосилки. И нежный, трепетный звук мандолины, занесенной в поле

кротким полуночным ветерком с недалекого бригадного стана.

Новый наш спутник охотно принял приглашение к нехитрому дорожному ужину. Как большинство старых деревенских людей, хорошо знающих цену в поте добытому хлебу, старик относился к еде, да еще под открытым небом в чистом поле, с явным благоговением. Он стал молчалив, строг, сосредоточен, почти суров. Видно, еда для этого человека была венцом трудового дня.

А уж он-то потрудился сегодня, отмахав не одну долгую версту под бескрайним целинным небом.

Разговорился с былой душевной охотой старик только после неторопливого ужина. Он назвался Акимом Матвеевичем Сторожуком, тут же уточнив и свои года: с апреля нынче шел ему семьдесят третий. Более полувека провел он, выходец из Харьковской губернии, на кустанайской земле. Переселившись в эти безлюдные, полудикие тогда степи в тысяча девятьсот втором году, он вместе с прочими тогдашними новоселами прокладывал первые борозды на здешней вековой целине. Жизнь на новом месте начал с батрачества. Потом — это уже года через два — обзавелся парой волов. Затем артелью в три-четыре двора принялся с грехом пополам распахивать новые земли — по десятина на двор за лето.

— Так вот и протрадовал в своем Увальном,— продолжал свой рассказ Аким Матвеевич.— Как бы там ни вприценку прежде жилось, а девятерых на ноги поднял: четверых сыновей с пятью дочерьми. Девки, правду сказать, удались у меня неусидчивые: спозаранку наперегонки замуж повыскакивали. Ну, это так им и надо! А вот сынам жить не довелось. Горько. Трех — один к одному — война за полтора года смела. Только один большак Иван Акимович с медалью за город Будапешт невредимым и воротился. Сейчас в автобазе Кустаная слесарничает. Вот и я при нем второй год существую...

— А до этого?

— Страдовал, говорю. В колхозе. Двадцать с гаком годов отдежурил. Там тоже не один пуд соли съел. Председателей, что ли, выбирали не ко двору? При одном жили через пень в колоду. При другом — завей горе веревочкой! И на коровенках — дошли — севали. И за трудопалочки, было время, поработали. Словом, хватили горького до слез, пока на ноги встали. Нынче — другой разговор. Нынче и в нашей артели житье! Я бы и посейчас от артельной жиз-

ни не отошел, не приברי бог старуху... Хоть в хлеборобы я уже не гожусь, а присматривать за молодыми нынешними пахарями не хуже другого ученого агронома, пожалуй, сумел бы.

— В таком догляде — это факт — у нас большая нужда, отец. Целинники — народ молодой, нетерпеливый, беспечный. Земледельцев из них еще воспитывать надо, — сказал один из наших спутников Николай Цыганок — пропагандист Тарановского райкома партии, сам агроном по образованию.

— То-то и оно, что доглядывать за таким народом в оба надо, не за каждым, правда, за некоторыми, — уточнил старик. — Побывал я на днях в совхозе Белинского. Внуков ездил своих проведовать. Там у меня старший зять на грузовой шоферит. Совхоз молодой. Хозяйство — середка на половинке. Не хуже других, сказывают, на нашей матушке-целине и не лучше. Правда, центральная усадьба у них — картину рисуй. Дома деревянные, под шифером, палисаднички, жилым пахнет. А люди пока живут незавидно. Одному — край жениться приспичило, да приютиться по молодому делу негде. Другому сапоги починить за восемьдесят верст с попутной машиной приходится ехать. Третий на харчи жалуется. Столовая вроде под боком, да последний аппетит кухарки отбили...

— Ну, а урожай какой у них?

— Урожай, как везде, у них нынче. Поглядишь — голова кружится! Полдня колесили. Двадцать четыре тыщи десятин пшеницы со всех краев оглядели. Такое золото будет — лопатой гребни! По сто пудов вкруговую — это как пить дать — с десятины будет. А с каких и за двести перевалит.

— Не с десятины — с гектара, скажи, — поправил старика пропагандист райкома.

— Пускай станет по-твоему, с гектара. Это все равно. Одно задело там у них старую мою хлеборобскую душу. Не по-хозяйски, абы как, закрайки у пашни при севе были заделаны. Сеялки, видать, при отворотах и переездах не выключали. Вот и дует теперь пшеница и на межах, и на дорогах, и в чистом поле, и в открытой степи. Разве это порядок?!

— Непорядок, отец, — согласился пропагандист.

— Я по этому делу у самого директора в конторе был. Товарищ Кукаренко его фамилия. Федор Кононыч. Боевой, видать, мужик, на войне был. Хват. По сей день при орде-

нах и медалях в будни ходит... Я оратор, известно, какой: без политики возьми да с ходу ему про свою досаду и брякни. А он в амбицию. Мы, мол, передовики, Красное Знамя в награду за скорейший сев получили. Нам его сам секретарь Тарановского райкома партии Дмитрий Иванович Берлин вручил. А ты, дескать, старый репей, в государственное дело наше вяжешься! Спасибо, погодился главный их агроном. Этот без медалей. Потихе. В годах. Видно, вкус в земле понимает. Иван Леонтьич Милецков его зовут.

— Милецкий,— поправил пропагандист.

— Ну ладно, Милецкий... Этот не стал прикрывать греха. Без оговорок уважил мою досаду. Признал собственный недогляд. Недоделки, мол, наши все на виду. Тут мы неряхи. Намотаем на ус, отец. Ладно, думаю. Это другой разговор.

— Ты, дед, вроде добровольного инспектора, что ли? — спросил его насмешливо наш водитель.

— Там хоть горшком назови, только в печь не суй,— отвечал на сей раз старик шуткой на шутку.— Я вот в Карабалыкском районе на попутной машине успел побывать. И там есть родня. Катим по тракту, видим — недоспелую рожь широкозахваткой на корм валят. Стоп, машина! Здравствуйте! Чьи такие поля? «Второй большевистской весны»,— говорят. Колхоз такой есть. Что же вы делаете? Что, мол, приказано. Рожь на корм валим. Директива, дескать, из Кустаная. Я вскипел: — Подштанники с вашего председателя на этой меже спустить за такое дело надо, вот это резон! Тыщи пудов зерна погублено. И солома не впрок,— как проволока. Какой же тут корм? Ведь для этого, на худой конец, ее десять ден назад, дурачье, косить надо было! И это по нынешним временам, когда травы вокруг по пояс, невпроворот! В такую пору ретивым хозяевам на три года впрок сеном запастись можно.

Тяжко вздохнув, старик умолк. Чувствовалось, что горько ему было вспоминать загубленную рожь.

Прикорнув у чуть мерцавшего в ночи костра, долго от-малчивались и мы.

Ночь была теплой и темной от грозových туч. От близкой речушки тянуло свежаком, горьким ароматом ивняковой коры, сыростью. Какие-то птахи — неутомимые полуночницы — ни на минуту не унимались, возились в прибрежных тальниках и, точно играя в прятки, поддразнивали вкрадчиво-озорным писком друг друга. Где-то далеко-

далеко, высекая бирюзовый кремневый огонь, то и дело вспыхивали над сонной зыбью хлебов трепетные зарницы. И это, наверное, про них сказал, как сквозь сон, старик:

— Хорошо играют, к наливу!

— А при чем тут налив? — сонным голосом спросил шофер.

— При том самом. Много будешь знать — состаришься скоро.

Помолчали. Глухо, словно взрыв на большой глубине под водой, пророкотал в отдалении гром. И старик, как бы думая вслух, сказал:

— Вчерась радио говорило, будто сорок тыщ народу на уборку в наши края приедет. Видимо-невидимо, со всей России!

— Не сорок, а целых сто, — откликнулся пропагандист.

— Одних грузовых автомашин к комбайнам по нынешнему зерну, учтите, шестнадцать тысяч надо. Я лично эту урожайную арифметику назубок зазубрил, — прозвучал дремотный голос водителя.

— Пять миллионов сто тысяч гектаров хлебов в одной Кустанайской области — это лет шесть тому назад посевная площадь всей Казахской республики, — сказал райкомовский пропагандист.

— Теперь понял, дед, что такое пять миллионов? — спросил старика шофер с усмешкой.

Старик промолчал. И только потом, спустя какое-то время, сказал в тоне прежнего раздумья:

— В грамотеях нынче у нас нехватки нету. А вот — простое дело — указок написать некому.

— Каких указок? — спросил, зевая, пропагандист.

— Придорожных. На столбах с дощечками, чтобы те же ваши тыщи шоферов нездешних людей в степях у нас не блудили, попусту горячего не палили, долгое время в страдную пору на расспросы дороги не тратили.

Пропагандист смолчал. И все мы, притворившись спящими, опять испытали в эту минуту чувство невольного смущения и неловкости, приняв резонные слова старика как бы за личный упрек в равнодушии, невнимании нашем к нездешним людям.

Было далеко за полночь, когда наконец все забылись недолгим, но крепким на воздухе спом. А проснувшись на рассвете, мы, к взаимному нашему изумлению, не увидели возле себя вчерашнего старика.

— Куда же чуть свет мог он деться?

— А вон он! Смотрите, опять межой куда-то подался!— обрадованно крикнул пропагандист, указывая на противоположный берег курившейся легким дымком речушки.

Среди хлебов мы увидели старика. Достойной походкой древнего пахаря и хозяина земли шел он среди царства золотящихся под утренним солнцем нив, зорко и строго поглядывая вокруг.



## ОСЕННИЕ ДАЛИ

Сентябрь.

Сверкая падающими в ночи звездами, салютуя на прощание запоздалыми грозовыми раскатами, уходит из северных наших просторов лето. Не поскупилось оно ныне на бурные ливни в мае, на потоки тепла и света в июне, на обильные июльские росы, на ослепительно яркие и жаркие августовские дни. Оттого и в сентябре не поблекли, не утратили нежно-зеленой окраски лесные опушки, и стойкий медовый запах не тронутых ранним инеем трав долго держится по утрам в открытой степи, вблизи неторной проселочной дороги.

Есть особая неповторимая прелесть в этих заросших, полузабытых степных дорожках, бог знает кем и когда проложенных. Они уводят от бойких трактов в заповедную глубь родной стороны, где с особой остротой и светлым душевным трепетом ощущаешь и неяркую красоту ранней северной осени и величие вечной, торжествующей жизни в природе. Бездумно петляя вокруг березовых рощиц, храбро пробиваясь сквозь заросли ивняка, отважно взлетая на гребни крутых увалов, открывают перед тобой такие дороги огромный мир звуков, красок и запахов, бесконечно волнующих душу.

Не ярки, не крикливы в этих краях сопутствующие таким дорожкам пейзажи. Ничего, пожалуй, не скажет иному взору и этот светлый песчаный бережок промелькнувшего мимо невеликого озера с мятежными чайками над его серебряным плесом. И эта осевшая набок скирда прошлогоднего сена, изрядно потрепанная лосями, и эта могучая, похожая на древний дуб одинокая береза, угрюмо шумящая шелковистой своей листвою на неласковом осеннем ветру...

Не по таким ли окольным дорожкам и тропкам неслышно крадется к нам эта смиренная пока и кроткая осень? Стоят теплые, но уже не жаркие дни.

И многое говорит вокруг о разлуке с летом. Бескрайнее жнивье, отливающее бронзой, стожки опрятно заправленной механическими копнителями янтарной соломы, малахитово-изумрудный ворс дружной озими и массивы черной, как вороново крыло, зяби. Невесомые нежные кружева сверкающей паутины на стеблях голубой полыни и высокое, безмятежно ясное холодноватое небо.

Великим покоем и умиротворением веет в такую пору от присмирившей земли. Что же, пора отдохнуть и ей. Щедро воздала она за труд хлеборобов, не осталась в долгу перед ними.

...Тихо ранним сентябрьским утром среди сжатых полей. Но еще тише было в эти часы на гостеприимно-просторных улицах села Семиозерного — административного и хозяйственного центра сельхозартели имени 8-й Гвардейской дивизии.

Село это не маленькое: из конца в конец добрых три версты. Но выглядит оно необыкновенно собранным, опрятным, уютным. Весело и приветливо поблескивают на утреннем солнце окошки в добротных, видать, прочно и ладно обжитых домах с роскошной геранью на подоконниках. То вдруг порадуют глаз хитрая резьба по карнизу шатровых ворот у нового дома, то раскрытые ставни цвета небесной лазури с тюлевой занавеской в золотом от солнца окне.

В палисадниках — возмужалые упругие деревья: клен, тополь, акация. И у каждого ворот — по стаду выхоленных, как выкипень, гусей. А прямые, как свечи, в струнку вытянувшиеся и слева и справа столбы с тускло поблескивающими фарфоровыми изоляторами придавали улице строгий и в то же время нарядный вид.

Есть села, при въезде в которые тотчас же видишь, чувствуешь, как хорошо, надежно живется в них людям. И хотя, может быть, не рукой тут подать до районного центра и еще дальше до областного, а все же не ощутишь здесь ни былой глуши, ни заброшенности, ни скуки.

Таким было и село Семиозерное. Пятьдесят километров до районного центра — старинной казачьей станицы Пресногорьковской, сто двадцать до ближайшей станции Лебяжьей Южно-Уральской железной дороги, свыше трехсот до областного города Кустаная. Ничего не скажешь, расстояния! А между тем решительно ничто не напоминало в этом

селении о замедленном жизненном темпе его обитателей, о захолустной их отрешенности.

Наоборот. С бешеной скоростью, как и все в мире мотоциклы, пролетел по широкой семиозерской улице на речушке ИЖе то ли местный комбайнер, то ли разъездной механик из МТС. Пропылили по переулку к колхозным зернохранилищам, видневшимся на краю села, две груженные пшеницей автомашины: новенький ЗИЛ и выдавшая виды полуторка. Где-то поодаль запела, неистово взвизгивая, пила. Перебежали дорогу, смеясь, две девушки в безупречно белых халатах. И у крыльца колхозной конторы знакомый приветливый голос сказал:

— Говорит Москва. С добрым утром, товарищи!

В конторе было очень опрятно. Пахло вымытыми полами. Огромный дымчатый кот сибирской породы дремал в углу на груде бухгалтерских фолиантов. Бойко, словно побавиваясь сбиться или отстать, тренькали беспечные ходики.

Заглянув в обширный председательский кабинет, я увидел там светловолосую босоногую девчонку с голубыми тряпочками вместо лент в косичках. Она охорашивала перед письменным столом букет белоснежных астр. Заметив меня, первой сказала «здравствуйте» и присела на краешек полужесткого председательского кресла. Было видно, что она ждала от меня вопросов и готова была отвечать на них.

Спустя две-три минуты я уже знал, что моей собеседнице двенадцатый год, зовут Аннушкой. Учится в шестом классе. В прошлом году были две тройки. В нынешнем ничего еще пока неизвестно: не спрашивали.

Школа новая. Семилетка. Не успели только покрасить полы. Но директор Николай Александрович говорит, что покрасят. Помаленьку. Класс за классом... Как отдыхала летом? Очень хорошо — в пионерском лагере. Это далеко за станицей Пресногорьковской. Ох, и бор же там, ой-ой-о! А озеро — монетку на самом дне увидишь! Мама сторожит колхозную контору, а сейчас на центральном току помогает.

Она чуть свет навела порядок в конторе и ушла на ток, а Аннушке наказала подежурить в председательском кабинете у телефона. Вот она и дежурит. Скоро придет со своим помощником главбух Мария Васильевна Кутина, и тогда можно еще успеть сбегать до школы и на центральный ток. А сейчас нельзя ни на минуту оставлять контору. В любой момент позвонить из райцентра или из МТС могут. Вот вам, пожалуйста, и позвонили!

И Аннушка, подлетев к пронзительно затрезвонившему на простенке старомодному телефону, сперва с яростью покрутила дребезжащую ручку древнего аппарата, потом шумно подула в трубку и только тогда, приложив ее к уху, звонко затараторила, жмурясь:

— Але, але, але! Это Семиозерка. Восьмая гвардейская. Восьмая гвардейская слушает!

И пока в трубке трещало что-то и щелкало, Аннушка, на секунду заслонив один ее конец узкой своей ладошкой, успела сказать мне доверительным шепотом:

— Это товарищ Матвеенко до нас звонит, Петр Васильевич!

Аннушка не ошиблась: звонил Петр Васильевич Матвеенко, секретарь Пресногорьковского райкома партии. Это было ясно из дальнейшего разговора юной колхозницы.

— Але-але! Ага, это я. Здравствуйте, Петр Васильевич,— живо откликнулась Аннушка на отлично знакомый ей, видимо, голос секретаря райкома и заулыбалась.

— В школе-то? Ага, в новой, Петр Васильевич! Учебники? Учебники у меня все теперь есть. Ой-ой, не все, не все, английского языка не хватает. Ну, мы с Ваней Мирошниковым по одному пока учим... Але! Але! Пресноредут! Эмтээс! Не мешайте нам, пожалуйста. Петра Федоровича? А они чуть свет в третью бригаду уехали. Вам, может, сводку прочитать, Петр Васильевич? Вот она, на столе...

Но секретарь райкома, должно быть, сказал, что сводки читать ему не надо, потому что Аннушка, схватив с председательского стола узкий бумажный листок, испещренный цифрами, сию же минуту, видать, забыла о нем. Некоторое время затем она слушала секретаря молча, слегка склонив набок головку, крепко прикусив пухлую губу. Так иные дети слушают на уроке новое объяснение предмета, стараясь запомнить каждое слово учителя, хотя и не до конца еще понимая то, о чем он им говорит. Но вот хмурое, почти сердитое от напряженного внимания лицо Аннушки опять просветлело от простодушной, по-детски ясной улыбки, и она с изумлением воскликнула:

— Ой ты! Я сейчас же на ток побегу... Все хорошо запомнила. Нет, ничего не напутаю, все расскажу. До свиданья, Петр Васильевич! Вы когда к нам приедете? Приезжайте, вы же еще новую школу не видели!

Повесив трубку, Аннушка скороговоркой сказала мне, что колхоз их занесен сегодня на районную Доску почета.

и тут же попросилась сбегать на центральный ток, чтобы сообщить об этом колхозникам.

— Я быстро. А вы пока посидите в конторе. Если товарищ Заборуйко позвонит, передайте ему, пожалуйста, сводку,— вежливо попросила Аннушка.

— А товарищ Заборуйко — это из МТС? — спросил я.

— Ну да. А если не он, то его замполит товарищ Сероус позвонить может. Это все равно кто,— объяснила Аннушка.

Из сводки, доверенной мне Аннушкой для телефонной передачи директору Буденновской МТС или его замполиту, было видно, что колхоз имени Восьмой Гвардейской вполне заслуженно занесен на районную Доску почета. С государством он сполна рассчитался, сдав все, что полагалось, еще в конце августа. Осимую рожь посеял сверх плана, жатву уже заканчивают. Семенного зерна около трех тысяч центнеров засыпал. К животноводческим базам подвезено сено. Все скотобазы в этом году капитально отремонтированы.

Словом, выходило, по всем статьям тут был полный порядок.

Но озадачил меня подоспевший из бригады Петр Федорович Бережной, председатель колхоза. Не высказав ни особого восторга, ни удивления по поводу занесения колхоза на районную Доску почета (он, видимо, отнесся к этому факту как к явлению вполне закономерному), несловохотливый председатель, мало-помалу разговорившись, со вздохом сказал:

— Хорошо живем, только бить нас некому!

— Это за какие же грехи?

— За многие. А первым делом за то, что вперед смотреть не умели.

— Не умели или не умеете?

— И сейчас, может быть, не ахти дальнзорки, а в былые времена и совсем о завтрашнем дне не думали. Вот Ахс и обидели.

— Чем же?

— Землей. Девять тысяч девяносто га — разве это земля по нашей артели? Из них пашни примерно около пяти с половиной тысяч гектаров, выгонно-пастбищной — две с половиной тысячи, а под сенокос всего-навсего триста сорок гектаров. У нас около трехсот лошадей, свыше восьмисот голов рогатого скота, овец тысячи две и так далее. В прошлом году мы получили от животноводства триста тысяч дохода. Как вы понимаете, это хорошо?

— Что же, доход немалый.

— Да и не так уж велик. Легко могли бы получить на первых порах и полмиллиона. Земля — вот где собака зарыта! Прирежь нам еще хотя бы с десяток тысяч гектаров, тогда бы мы раздули кадило! И поголовье удвоили бы в кратчайшие сроки, и сеять стали, смотришь, больше. Вот бы и мы в люди вышли. Верно, секретарь? — спросил председатель, обращаясь к вошедшему Михаилу Максимовичу Арестенко, секретарю колхозной партийной организации.

— Доходы от животноводства можно удвоить и без увеличения поголовья, Петр Федорович, — убежденно заявил Арестенко.

— Силен! А ну, подскажи, каким же это манером?

— Об этом мы с тобой не раз уж говорили...

— А ты не тушуйся, еще раз скажи в присутствии постороннего.

— Я все жду, когда ты со своего любимого конька спешишься. Далась тебе эта земля! — сказал, досадливо отмахиваясь от Бережного, Арестенко. — Спору нет, земли в нашем колхозе в обрез! Сенокоса нехватка — это тоже правда. Стало быть — один выход: расширить площадь кормовых культур. Это раз. Обзаводиться высокопродуктивными породами скота — два.

— Эх ведь Колумб какой!

— При чем тут Колумб? Эту азбуку любой рядовой колхозник в Семиозерке знает.

— Ага, а я, значит, плаваю в этом вопросе? Отстал?

— Нет, и ты все это отлично понимаешь...

— Ну спасибо, что не вчистую разжаловал, — проговорил с усмешкой председатель.

— Ты хорошо ознакомился с решениями пленума Центрального Комитета? Там что про наш колхоз говорится? — спросил Бережной Арестенко.

— Буквально про наш — ничего, но между строк и про нас прочитать можно.

— Ну, я между строк читать не умею... Нет, шабаш. Хватит нашему брату в середнячках ходить. Теперь и для нас открыли прямую дорогу в миллионеры — так я этот партийный документ понимаю. Сам знаешь, Михаила Максимович, люди наши и прежде трудились с душой. Без этого мы бы не натерели выращивать стопудовые урожаи. Вот, скажем, не освой мы полностью севооборот, разве по пятнадцать центнеров вкруговую теперь получали? А ведь до войны — дело прошлое — мы и тридцать пудов с га счита-

ли за урожай — чего там греха таить! Скажешь, техника у нас теперь. Правильно...

Показавшийся в первые минуты человеком замкнутым, нерасторопным, неразговорчивым, председатель колхоза, задетый секретарем партийной организации, преобразился. Все больше и больше волнуясь, впадая в минутные противоречия с самим собой, он уже не мог спокойно говорить о проблемах дальнейшего развития своего колхоза, раскрывая перед нами большую тревожную душу бесконечно влюбленного в нелегкий земледельческий труд русского человека.

Около четверти века вместе со всеми своими односельчанами — ветеранами колхозного строя провел Петр Федорович Бережной в этой артели. Пережитого было немало за минувшие годы. Величайшие трудности становления артельного хозяйства на заре коллективизации, кулацкий террор, отсутствие какого бы то ни было навыка в первые годы, нехватка семян, продовольствия, машин и живого тягла, низкая урожайность, тощие трудовни. Был он за эти годы в колхозе пастухом и бригадиром, возчиком горячего и заведующим МТФ. И вот почему теперь было понятно, какое сложное, прогнворечивое чувство владело им в эту минуту. Тут была и законная гордость сегодняшним днем вышедшей на столбовую дорогу артели и неудовлетворенные требования к жизни человека.

— Ты запомнил цифры? — спросил председатель парторга.

— Какие?

— Из решения. Про пятьсот тысяч тракторов. Как ты думаешь, пять из них наш колхоз получит?

— Возможно, и все десять.

— Вот тут-то я тебя и поймал!

— На чем же?

— Обрато на том же. Ты о десяти новых тракторах мечтаешь, а земля где? Признай, тесно нам стало жить при таком наделе?

— Ничего, Федорыч, в тесноте — не в обиде.

— Ну, ты мне эту старую отговорку брось. Подавай, я, говорю, десять тысяч га, чтобы было нам где расправить крылья! — наседал без малейшей иронии Бережной, точно и в самом деле во власти Арестенко было немедленно вручить ему государственный акт на вечное пользование дополнительными десятью тысячами гектаров земли.

— Да ты что опять на меня напал? Что я тебе, министр сельского хозяйства?! — отшучивался Арестенко.

— А я бы и перед министром не оробел, кабы до него добрался... Ты вспомни, сколько раз мы писали про этот большой вопрос и в Алма-Ату и в союзное министерство. А там вместо прямого ответа третий год разводят десятую воду на киселе. Вот посмотрим, что министерские специалисты запоют, когда из своих канцелярий до нашей будничной жизни приспустятся! Здесь, дорогой товарищ, от живой жизни шариковой самопиской не отпишешься! Говорят, бумага все стерпит. А вот я, живой человек, рядовой председатель колхоза, такой канители больше терпеть не стану!

— Что же ты надумал предпринять? — заинтересовался Арестенко.

— Сам в Москву с докладом поеду, вот только приуравнимся с хозяйственными делами. Там нашу беду сразу рассудят! — убежденно заявил Бережной и, вспомнив, что его уже дважды требовали на строительство колхозных зернохранилищ, заторопился к выходу.

...Поздним вечером я заглянул в библиотеку. Народу здесь было немало. Молодежь просматривала журналы. Были и пожилые люди. Они сидели на тесно сдвинутых стульях своим кружком и негромко мирно толковали между собой. Было видно, что все они забрели сюда по давнишней привычке коротать свой недолгий вечерний досуг на миру.

Среди них я увидел старейшего колхозника Данилу Матвеевича Воробьева, чабана Ивана Федоровича Гуренко, семидесятилетнего табунщика Садвакаса Буканова. Здесь же был заведующий током Василий Успенев. Потом подсели еще две доярки: Анастасия Сергеевна Слепченко и Пелагея Никифоровна Горбаченко. Многие из них, несмотря на преклонный возраст и достаток в семьях, продолжали трудиться в колхозе, потому что не в ладу были с праздною жизнью. Не потому ли выглядели все эти люди куда моложе и бодрей немалых своих годов?

Маленькая Аннушка тоже была в читальне. Она потихоньку сказала мне, что зашла сюда прямо из школы обменять прочитанную книжку и потом подождать здесь маму.

Сначала Аннушка, примостившись за отдельным маленьким столиком, сидела смирно. Разложив перед собой тетрадку, она собиралась решить между делом заданную на дом задачку. Но к ней подсел вихрастый и смуглый, как цыганенок, мальчишка с озорными глазами и стал мешать

ей. Однако потом они вместе стали разглядывать рисунки в журнале и так громко начали смеяться, что строгая библиотекарьша Дуся Першукова несколько раз прицыкнула на них и в конце концов забрала журнал, а обидевшийся сосед Аннушки тотчас же шумно покинул читальню. Аннушка тоже немножко надулась, но потом отошла и принялась, горько вздохнув, за свою задачу.

Несмотря на приглушенно-сдержанный разговор, а иногда и негромкий смех, в библиотеке царил тот покой, который располагает к душевному уюту, к ясным мыслям, к раздумью. Ощущение этого покоя обострялось, быть может, шумом осеннего ветра в ночи за окном, глуховатым ритмичным рокотом газогенератора на сельской электростанции, мягким светом матовых лампочек в этой опрятной, уютной комнате..

## МОЯ ПОЭМА

Памяти Павла Васильева.

### I

В свинцовой изморози дали.  
Тусклы вечерних зорь венцы.  
Отгоревали,  
Отрыдали  
В степях целинных бубенцы!

О ком тогда они скорбели  
В тот полумглистый сирий час  
У зыбкой выюжной колыбели,  
Что убаюкивала нас?..

Кого, о чем они молили,  
К кому зывали сквозь пургу?  
Вразмах в тугие бубны били,  
Бросая в оторопь дугу!..

Чью душу робкую смущали  
Медноголосые певцы?  
Какой царевне обещали  
Златые горы и дворцы?!

И кто из стаи легковерных,  
Лукавооких, пылких дев,

Душою кроткой присмирев,  
Плечом отпрянув от подушки,  
Не лавливал пугливым ушком  
Их струн серебряных напев —  
Ревнивый,  
                                призрачный,  
                                неверный?!

Беснуясь, вьюга голосила.  
Сухой ковыль косой косила.  
Кусали кони удила  
В орлиной тройке —  
В сбруе, слитой из звезд алмазных —  
  напоказ,—  
С дугою, лентами увитой  
В честь чьих-то шустрых, льстивых глаз!

Чумели совы от метели.  
В сугробы зарывались звери.  
Трубил в бору ревнивый лось.  
Пристяжки заносило вкось,  
Купая в ледяной купели.

А ямщики — в пылу отваги —  
Травили душу песней той,  
Что злей вина и горше браги —  
Печальной и полухмельной:

«Ах, милый барин, скоро Святки,  
А ей не быть уже моей!..»  
Бежали версты без оглядки  
Из-под раскованных коней...

Бежали версты, пропадая  
В степной непуганой глуши  
Отпетого ветрами края —  
Приюта утлого души!..

## II

Вот так и мы — под шум метели,  
Под свист полозьев подрезных  
В косых ветрах,  
В ветрах сквозных,  
Сквозь Юность



Мы — как трава — росли. Мужали.  
И все нам было нипочем.  
В степях тревожно кони ржали.  
Гонцы во все концы бежали,  
Неробкие — вперед плечом!

Земля стонала от набата.  
Выл Главный колокол в ночи.  
Свершалось — скоро час расплаты.  
Сбор затрубили трубачи.

Взревели волны в море гнева.  
Что это —  
Страшный Суд иль Рок?  
Был грозен звук  
Того запева,  
Что заводил незримый рог.

То был возмездья громкий голос —  
Утробный. Вещий. Вечевой.  
Седел от лиха чей-то волос  
И дар терялся речевой...

Палами шалыми повиты —  
В мятежных отблесках огней —  
Бросались степи под копыта  
Наспех оседланных копей.

Творя слова хулы и брани,  
Кривились в ярости уста.  
И становились полем брани  
Грозой распятые места.

В шрапнельных ливнях,  
В ядрах грома,  
В смерчах летучих —  
Лют и яр —  
Сорвался ураган разгрома  
На головы степных бояр.

На терема их и ограды.  
На сундуки их и ларцы.  
На славу их. На их награды,  
На их покои и дворцы.

На их былую власть и волю.  
На жизнь их, прожитую впрок.  
Неисповедом путь неволи,  
Которую судил им рок!

Земля горела под ногами  
Владык былых чужой судьбы.  
Не дрогнуло перед врагами  
Босое войско голытьбы.

Пылали, буйствуя, Стожары  
Под вспышки спугнутых зарниц.  
Ревели ветры и пожары  
Над кровлями степных станиц.

И, повинувшись повеленью  
Годины, окрылившей нас,—  
Громило наше поколение  
Тот, обреченный на гоненье,  
Поверженный на плаху класс!

#### IV

Плотно ставни в хоромах прикрыты.  
На засове — дубовая дверь.  
Сыновья  
    Неумыты.

    Небриты.  
Тятя ноне не Тятя —  
Зверь!

Зятевья — распояской. Босые.  
Как один —  
Из сычей сычи.  
Лбы. Бугай. Сажни косые.  
Варначье. Хлысти. Басмачи!

Да и доченьки — тоже ладны.  
Хоть с лица и не воду пить.  
Тароваты.

    Прытки.  
    Повадны  
И продать тебя и — купить.

Злые сучки, в грехах — по пояс,  
Чтя обычай, в Прощеный день  
Муженечкам кланялись в пояс —  
Наводили тень на плетень...

В отрешенье от брэнного мира —  
Все едино: острог аль сума!  
Одиноко. Прискорбно. Сиро  
Восседала царицей  
Сама!

Лик у матушки — строже иконы  
Древнесуздалского письма.  
Плат — весомее конской попоны.  
Телом — взрыхленная весьма.

На полатях — меньшее Чадо.  
Отрок — в звании дурака,  
Вот кому ничего не надо,  
Кроме девки и табака!  
И, лупя оловянные очи  
На сей дивный семейный кагал,  
Отрок, будто беду пророча,  
Бил в ладоши и подвывал.

## V

На полу —  
Самогон в ушатах —  
Зверобойный навар даровой.  
Хочешь пей его из ковша ты.  
Хочешь — бейся об стол головой!

Ну и пили — захлеб. И — бились.  
Драли глотки луженые всласть.  
Целовались.

Клялись.

Матерились,  
Пснужали Советскую власть!

Только Тятя и был на отличку  
Средь чумной родовой орды, —  
Точно пил не первач — водичку,  
Не касаясь перстом еды!

С бородой окаянной, дремучей.  
В генеральской папахе волос.  
Недоступный.

Немой.

Могучий

Породитель смерчей и гроз.

Он сидел под киотом.

Лампада

Озаряла колени Христа

И библейскую сень

Гефсиманского сада,

И Голгофу —

с тенью Креста.

Не внимая ни гаму, ни шуму  
Полускошенной хмелем родни,  
Погруженный в угрюмую думу  
Про былые летучие дни.

Прахом — все.

Володетельность. Воля.

Пылкогривых коней табуны.

Волком выть тебе в чистом поле

При ущербном мерцанье луны!

Отпахался.

Отстрадовался.

Отжил — с риском,

с фартом в ладу.

«Не вчера ли ишо собирался

Ты на ярманку в Куенду?!»

## VI

Там, бывало, давал ты фору

Злозязыкой стае рвачей,

Отбивая ладони своре

Конокрадов и изпачей.

Не разиней был. Зол. С ухваткой.

Не снимал засова с души.

Оттого и брал мертвой хваткой

Ты за шиворот барыши!

Потому-то в твои сусеки  
И текли из степной глуби  
Золотые пшеничные реки,  
Переплавливаемые в рубли.

Не подвластный слепому азарту,  
Ты, врываясь в игру, умел  
Бить ва-банк, передернув карту,  
Оставляя иных не у дел...

Было в досталь тебе почету,  
Власти в цепких — вразлет — руках.  
Никому не давал отчету  
В риске.

В помыслах.

И в грехах!

Вот и жил — себе не в убыток —  
И поплеывал сквозь губу  
На разор киргизских кибиток,  
На станишную голытьбу.

Шли к тебе — поневоле и воле —  
Батраки, как быки на убой.  
Всуть питал ты людское горе  
Горьким хлебом, болотной водой.

Злобный дар разбойной наживы  
Дьявол в душу твою всучил.  
И тянул ты мужичьи жилы  
И супони на них сучил!

## VII

Так и жил бы, тужа и маясь,  
Ты поныне.

И впредь.

И впрок.

В спеси,

в лести,

в славе

Купаясь,—

Не в укор полудуркам —

В урок!

Так и жил бы... и вот — дожился.  
Пал на плаху бесчестия ты.  
Взвыл. В ногах валялся. Божился  
Пред Верховным Судом Бедноты!

Но ни клятвам, ни воплям не внемля,  
Повелел тебе Грозный Суд  
Отправляться в неблизкие земли,  
Где Макары телят не пасут.

Ни — имущества. И — ни дому.  
Все — по ветру.  
Товаришам.  
Псу под хвост.  
Надломил сила солому.  
Кони — в сторону.  
Сани — вразнос!

Била душу твою падуча.  
Кровь по жилам металась вскачь.  
Не пора ль, рукава засучив,  
За обрез тебе браться,  
Палач?!

И на ту потайную работу  
В теми скованных страхом ночей  
Не поднять ли разбойную роту  
Крутых на руку родичей?!

Все они тут — одной закваски.  
Все — в одну бесовскую масть,  
Только свистни — рванут без опаски  
Сокрушать Советскую власть!

Станут красться в ночи — как тати —  
Впрах крушить врага под ребро.  
Квиты будут за все.  
За — Тятю.  
За — потерянное добро!  
Ну, а там —  
Прошай, Свет-Планета!  
Станет жизнь великим постом.  
Не к добру же Звезда-Комета

В это хмурое, грозное лето  
В небе божьем вертела хвостом!..  
Не к добру и дурак на полатях  
Подвывал, как отпетый пес.  
Ухмылялся, глядя на Тятю,  
Околесицу всякую нес!

### VIII

Пяля очи на закуску, речи отрок рек.  
Что ни слово, то — вприкуску.  
В строку. В лад. В раек.

Он молол — без ветру веял.  
Криво боронил.  
По-ягнячьи вяло блял.  
По-выпьи — вопил.

И, внимая тем реченьям, мыслил Тятя так:  
«Может, нынче со значеньем  
Плел плетни дурак?!  
Может, чаду голос Рока растворил уста?  
Может, плел он с подоплекой.  
Веще. Неспроста?!.»

А дурак, бия в ладошки,  
По-дьячковски — в нос  
Складно, бойко, без оплошки  
Ахинею нес.

ДУРАК:

Жили-были. Брагу варили. Во здравие пили.  
Дом продали — ворота купили!

ТЯТЯ:

Да-а, прибаска не шибко сладка...

ДОЧЬ меньшая сквозь смешок:

Ты послушал бы его самоскладку —  
Про кобылу твою стишок!

ТЯТЯ:

Сочинитель, твою мать... Емеля!  
Коль язык без костей — мели.

Нынче умным молчать велели.  
Видит бог, мы свое отпели.  
Дураки разговор повели!..

### ДОЧЬ

все та же, кивнув на полати, под-  
суропила дураку:

Посмеши, сударушка, Тятю  
За полпригоршни табаку!

### ДУРАК:

А пошто жа ты, кобыла, бога начисто забыла?  
Тятеньку  
утешила: средь дороги спешила! Из оглобель  
выпряглась. Затоптала вожжи в грязь. Весь овес в  
сусеках съела. Все озеро выпила. То была кобы-  
лой — в теле, тут — из тела выпала! Все копыта,  
сучка, сбила. Хвостом не намашется. На дух Тятю  
невзлюбила. Уросит. Шарашится! Што ты, язви  
те, сдурела? Белены накушалась? Ни вожжей, ни  
матерков тятиных не слушалась! Ты за што его  
пыташь — за каки грехи? Ни в запряжке не каташь,  
ни — верхи!

Тятя слушал его и не слушал.  
На засове была душа.  
Вот и отпил свое. Откушал.  
Ехал с ярмарки — без барыша!

Отфартил. Отыграл в орлянку.  
Вышла решка. А не орел.  
И судьбу твою — как полонянку —  
В дику степь увел.

Не водить ей теперь  
Тебя боле  
По дорогам,  
По тропам былым.  
Не откупишь ее из леволы  
Ты за самый большой калым!

### ЗЯТЬ

С обличием душегуба,  
Покосившись на дурака,

Процедил сквозь косые зубы:  
— Ну-ко, ты — помолчи пока!..

С Ы Н

Старшой, кивнув на полати,  
Грозно гаркнул в басовый зык:  
— Я те, язви те мать, за Тятю  
Напрочь вырву блудной язык!

Т Я Т Я ж,

Гнев поменяв на ласку,  
Чаду коротко повелел:  
— Не робей, досказывай  
Притчу-сказку,  
Как убогий разум велел...

Д О Ч Ь

Меньшая, изловчась, в украдку  
Братцу молвила:  
— Расскажи им про ярманку-самоскладку.  
Про телегу. И про гужи...

Д У Р А К:

Купил Тятя телегу сыромятины тяжи. Съели ночью собаки и тяжи и гужи. Сядь верхом на оглоблю и катай напрямки — продавать в Атбасаре на базаре ремки. Из-под дегтя логушку. Туяс — из бересты. Две седельных подушки. Три нательных креста. Ножны сгубленной шашки. Темляк с кистью. Кнут. Полвалька — от пристяжки. Без гужей — хомут. Выездную дугу. Седелко. Шлейку — без бубенцов. Колокольчик. Квашную веселку. Восковую свечу от венцов. Тут товару — в избыток, што угодно душе. Знай торгуй не в убыток, бывай в барыше. Все!

Смолкнул отрок, и все примолкли.  
Черней ворона Тятя был.  
То ли пес на дворе, то ли волк ли  
Под набатную вьюгу выл.

Брало в оторопь душу и тело  
Гробовое затишье в дому.  
Не земля ли огнем горела,  
Утопая в метельном дыму?!..



Бедовый гул ночной метели,  
Тот веший свист ее и вой  
Здесь песней заглушить хотели  
Навзрыд скорбящей, грозовой!

Поднялись над степями туманы.  
В чистом поле — белым-бело.  
Ах, куды ж вы ушли, атаманы?  
Сирой вьюгой следы замело...  
Все — растеряно. Сабли. И плети.  
Ни кокард. Ни крестов. Ни погон.  
Доживаем денечки на свете.  
Допиваем штрафной самогон!  
В три погибели нас перегнула  
Из напастей — лихая напасть.  
Пораздела — твою мать! — поразула  
Всех до нитки Советская власть!  
Вся надежда — на темные ночи,  
На обрез от винтовки «Гра».  
Перекрошим иных — охочих  
До нажитого нами добра!  
Отречемся — свинцом — от сброда  
Разнуздавшихся в прах лодырей:  
От царей и судей из комсода,  
От комбедовских главарей!  
Видно, милости и у бога  
Тут не вымолить никому.  
Падают всем нам одна дорога —  
В волчье царство — на Колыму!

## Х

А под утро, когда вповалку  
Дрыхли родичи — где кто пал,  
Тятя дочь меньшую-вещалку  
Про Судьбу шепотком пытал.

— Погадай-ка мне, доча мила,  
На Бубенного короля.  
Не могилу ли растворила  
Для меня мать сыра земля?!  
Што-то сердце мое — в ознобе.  
Студенеет во мне душа.  
Тонут степи в огне и злобе —

От Тобола до Иртыша!  
Шго — в придачу — мне Рок присудит,  
Што — в довесок — Судьба сулит?  
Кто рассудит меня, разбудит  
И куды податься велит?!

— Чо ты, Тятя, Христос те встречи! —  
Лепетала в смятении дочь.—  
Не к лицу б тебе таки речи.  
Да ишо — с оглядкой на ночь!..

Карт атласных тасуя колоду,  
Воспылав лицом, как свеча,  
Девка, будто гляделась в воду,  
Колдовские слова шепча.

Запорхали резвые пальцы,  
Указуя в Судьбу перстом.  
Ворожила — точно на пяльцах  
Вышивала узор крестом!

Веерами ложились карты,  
Образуя радужный круг.  
Все сейчас здесь было во власти  
Этих ловких летучих рук!

Жарко тлели в глазах раскосых  
Пеплом тронутые зрачки.  
Невеселое — на вопросы —  
Отвечали мастей очки...

И Вещалка, скорбя и млея,  
Изрекала, потупя взор,—  
Ни вина в словах, ни еля,—  
Заклинание. Приговор!

— Падат, Тятя, тебе Дорога. Дом казенный. Заезжий двор. Свысока — затяжной немного — с Королем трефей разговор. С Кралей вик — ни сладу ни ладу. Будут Бубны тебя зубить. С молотка и твой Дом и Ограду вроде кто-то грозитя купить! Чинят козни тебе Валеты — поперек Дороги встают. К Худу падают злые Меты и надежи не подают... Чур, не в час взялась я за карты. Чур меня,— не то говорю... Сгиньте, Черные немочи,— к Фарту забубенному королю!

Тятя слушал ее и не слушал.  
Он сидел — немой, не дыша.  
Были оловом залиты уши.  
Льдом крещенским покрыта душа.

Он сидел под киотом.  
Лампада.  
Озаряла колени Христа  
И библейскую сень  
Гефсиманского сада,  
И Голгофу —  
С тенью Креста...

## XI

И тонка и гибка,  
Как талинка,  
И душою тепла и светла  
Незабвенная ты,  
Моя Линка\*,  
Бурей сломленная ветла!

О красе своей русской,  
Неброской  
Ты нет-нет и напомнишь  
Мне:  
То умытой дождем  
Березкой.  
То тропинкою в ковыле.

То звездой упадешь  
Летучей.  
То зарницей мелькнешь  
В ночи.  
Полыхаешь  
Молнией в тучах.  
Брезжишь светом  
Теплой свечи.

И не твой ли  
Лукавый голос  
В родниковом ключе звенит?

---

\* Линка — героиня моего романа «Нецависть», погибшая от кулацкой пули.

А не твой ли  
Веселый волос  
Паутинкой на солнце блестит?

Не твои ли  
Спелые косы  
С пшеницей переплелись?  
Синевою твоих глаз  
Раскосых  
Дали дальние налились?

Я к тебе  
Простираю руки:  
В — полуюдь.  
В — полусон.  
В — полубыль  
Не о нашей ли это разлуке  
Перешептывается ковыль?..

Кружат коршуны  
По орбите,  
Не сходя с ножевой черты.  
Жарких марев  
Алмазные нити  
Озаряют твои черты.  
Мы с тобой разминулись  
Рано —  
В пору юности заревой.  
В ураганах.  
В пожарах.  
В буранах —

Без винтовок,  
Гранат и наганов  
Год Тридцатый  
Бросал нас в бой.

В кавалерии нашей легкой,  
В комсомольском  
Лихом строю  
Получали мы  
В жизнь путевки  
И крещение —  
В смертельном бою.

Дети,  
Верные грозному веку,  
Его Воле  
И Правоте,  
Открывали мы  
Человека  
И — в Джатаке,  
И — в Батраке.

Пали тысячи нас —  
Крылатых —  
От кулацких  
Ножей и пуль.  
И про ранние те утраты  
Я — живой —  
Позабыть смогу ль?!

Затерялись  
Могилы ваши  
В зыбком море  
Степных равнин.  
На просторах  
Чернеющих пашен,  
Поредевших  
Ковыльных седиц.

И земля,  
Что вам стала пухом,  
Нынче вроде  
И та и не та.  
А теперь  
Немногие помнят,  
Чьею кровью  
Она полита.

Вы коротким  
Прошли звездопадом  
Над страной,  
Летящей в мечту.  
О героях,  
Погибших в тридцатом,  
Этот реквием  
Я пишу.

Он — не в грозном рыданье органов.  
Он — не в скорбном мерцанье свечей.  
Он — как отзвук былых ураганов.  
Он — как звон обнаженных мечей,  
Он — как ода великой битве,  
Отшумевшей в степном краю,  
Как бессмертию Гимн,  
Как Молитву,  
Я его нараспев пою

Для орлят, чьи косые крылья  
Были славой мятежных дней,  
И — легендой,  
И — песней,  
И — былью,  
И — любовью,  
И — болью моей.

\* \* \*

Что вам снилось  
В земном том ложе  
В те недавние времена,  
Когда тучи орлят —  
С вами схожих —  
Подняла на крыло  
Страна?!

И покорные  
Трубному кличу  
Легкокрылые  
Ее сыновья  
Ради блага ее  
И величья  
Потянулись  
В наши края.

Их манили,  
пленили,  
прельстили

Земли  
Дали незнакомой — той,  
Что здесь издревле  
Окрестили  
Словом ласковым —  
Ц е л и н о й!

Они тоже  
Бросались с ходу

Штурмовать на ура  
Высоту.  
Узнавал я в них  
Нашу породу,  
Нашей юности  
Ярость ту,

Что когда-то  
И нас водила  
В рейды дальние —  
Вплавь и вброд,  
По тревоге  
В ночи будила,  
В круговой брала  
Оборот!

С кличем Стенки —  
Сарынь на кичку! —  
Прорвались они  
В мир степей.  
Был их Подвиг тот —  
Переключкой  
С вашей Юностью  
И — с моей...

Спились им  
Соловьи Заднепровья.  
Русококая Белорусь.  
Положила  
Им в изголовье  
Материнские руки  
Русь.

\* \* \*

Рыдает выпь. Звенят мечи осок.  
Я вновь пришел в знакомую мне местность,  
Где волны набегают на песок  
И чайки улетают в неизвестность.

*ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВ.*

А теперь,  
Когда днем вчерашним  
Отмерцала  
Целинная былль,  
Смели

Черные бури и пашни  
Со степей  
Певучий ковыль.

Отшумели, отпели  
В приволье  
Разливные его моря.  
Не о том ли  
Рыдают с болью  
Журавли,  
Бесприютно паря?!..

В Лету канула  
Глушь былая  
Отуманенных дымкой полей,—  
Ястребиная степь,  
Седая  
От метелей и ковылей.

Пряный запах  
Ее полыни  
Горько  
Сердце мое томит.  
Плеск ковыльных волн  
И поныне  
В сновиденьях моих  
Звенит.

Только в снах —  
Заревых, недолгих —  
Снятся степи мне  
Тех времен.  
Ароматами трав их  
Волглых  
И — пленен я.  
И — опьянен.

Мне отроду  
Дорог до боли  
Тот мой Отчий  
Заветный край,—  
Не Свободой там веяло —  
Волей  
От летучих сайгачьих стай!

От державных  
Орлиных облетов  
Царства марев и миражей.  
От падения птиц,  
И от взлетов,  
И от грозных их виражей!

Тыща верст —  
Ни огня. Ни хаты.  
Травы.

Займища.

Камыши.

Солонцов оловянные латы.  
Бирюзовых озер заплаты.  
Хочешь — пой.  
Хочешь — взвой от души!..

Ну и ладно...  
Зато от птицы  
По озерам —  
Не видно воды.  
Плели  
Были и небылицы  
В травах птахи  
На все лады.

Зрячий ястреб —  
Батый разбоя —  
В поднебесии вис  
И парил.  
И с высокого трона  
Над жертвой  
Скорый суд,  
Пав стрелой,  
Творил!..

В полых водах  
Весна полоскала  
То раздолье.  
И, как чародей,  
Чрез кисейный рукав  
Выпускала  
Стаи белые лебедей.

Не забыть мне:  
Их — кротких, вялых —  
Речек, кравшихся в ивняке,  
Верст их — долгих,  
Косых,  
          усталых,  
Пропадающих вдалеке...

Их орлов  
Неподкупных. Гордых.  
Одиноких берез.  
И мазар.  
Пересвисты —  
В сурчиных ордах.  
Казары — колготной базар.

Не о том ли  
Степном приволье —  
В ветровую  
Мертвую зыбь  
Трубно стонет  
С надрывной болью  
По пустынным озерам выпь?!

Что-то вещее,  
Вековое  
В плаче птичьем  
В комок слилось.  
Задевал он всех  
За живое,  
Кому слушать его довелось...

\* \* \*

Непосильную подчас  
Ношу  
Жизнь валила  
На плечи нам.  
Но ни слова  
В упрек не брошу  
Тем — в Легенду ушедшим  
Годам.

## ПЕРВАЯ БОРОЗДА

В скором поезде Караганда — Москва, остановившемся на станции Петропавловск, оказалось всего семь свободных мест. Суровый старик в дубленой сибирской борчатке, стоявший первым у билетной кассы, рассердился и стал пенять хорошенькой юной кассирше:

— Тридцать пять рублей? Это за сорок-то верст?! Креста на тебе, матушка, нет!

— Странные ваши слова,— отвечала укоризненно-приторно строгая кассирша.—Поезд скорый, вагон, повторяю, мягкий...

— Ну, мы еще пока не миллионеры — деньгами-то сорить! Я оттуда за семь с полтиной прибыл, барышня!

— Правильно. С семьдесят четвертым. С пассажирским. В бесплацкартном вагоне, в сидячем. Точно, семь пятьдесят.

— Вагон был — куда с добром, чистая горница! И цена божеская, не по целковому с версты!

В нетерпеливой пассажирской очереди, вдруг пришедшей в движение, заворчали на замешкавшегося около кассы строптивного старика. Бравый парень в ватнике, с вещевым мешком за плечами, стоявший вторым от кассы, сказал, слегка коснувшись рукой плеча старика:

— Ты, отец, не рядись. Вечером же пятьсот веселый идет. Там за трояк со свистом доедешь. Куда торопиться? Тебе ведь небось не целину подымать!

— Я свое отподымал, сынок,— угрюмо проговорил старик, и из-под дремучих седых бровей его сверкнули на парня глаза, не по возрасту ясные и озорные.

— Тогда поторопись маленько, папаша.  
— А у тебя горит?  
— Горит, батя.  
— Орел! — полуудивленно, полунасмешливо сказал старик и тотчас же посторонился, уступая парню место у кассы.

— Так как, братва, насчет мягкого? Рискнем? — спросил парень стоявших в затылок за ним пятерых спутников.

Те переглянулись. Это были ребята один к одному. Все в одинаковых стеганках, все в новых кирзовых сапогах, в лихо заломленных набекрень шапках-ушанках. У всех были одинаковые, туго набитые вещевые мешки за плечами. Один держал в руках патефон, другой — самый юный из них — красовался со старенькой шестиструнной балалайкой под мышкой.

Парень с патефоном заговорщически перешепнулся с соседом:

— Может, один-то перегон и на ура проскочим, а?

— Можно бы и на ура, только, если на ревизора напоремся, у меня лично денег при себе на штраф не хватит, — сказал, застенчиво улыбаясь, парень с балалайкой.

Мимолетное колебание, однако, не помешало ребятам тут же всем враз, дружно и весело наказывать парню у кассы:

— Бери, бригадир!

— Не пятьсот же веселого ждать!

— Откупей два купе, чего там!

Седьмое, свободное место, благодаря поспевавшему сердитому старику, досталось мне, и через четверть часа мы уже расположились с ребятами в двух комфортабельных смежных купе мягкого вагона, как заправские пассажиры дальнего следования, хотя и ехать-то нам было всего одну остановку.

Парень, которого называли ребята бригадиром, сказал, оглядывая важно развалившихся на мягких диванах спутников:

— Культурно устроились. Как министры. А ну, Ваня, — обратился он к парню с балалайкой, — выдай по этому случаю твою ту полечку, как, бишь, она называется?

— С комплиментами!

— Вот, вот, эту самую, — подхватил бригадир. — Оторви.

Поезд неслышно тронулся, и в тот же миг брызнули звуки балалайки — старенькой, неказистой, но неожиданно певучей и удивительно звончатой. Затем на секунду звуки

умолкли и снова вырвались, как бурный вешний ручей из-под снега. Струны то заливались жаворонком, купающимся в потоках весеннего тепла и света, то отбивали соловьиною трель, то начинали звенеть, как серебряный девичий смех, полный огненного задора и невинного лукавства.

Тут бригадира словно ветром сорвало с места, и он, картинно придерживая в воздухе невесомую руку воображаемой своей партнерши по танцу, чисто отработал послушными на лихую пляску ногами несколько заковыристых фигур...

Потом слово за слово мы разговорились. Ребята оказались моими попутчиками до конца неблизкого пути. Они приехали в наши края с далекой Кубани. Задержавшись с оформлением путевок, они запоздали на предыдущий поезд, с которым уехали их товарищи, и теперь торопились добраться следом за земляками до места своего новоселья.

Не успели мы толком перезнакомиться, как проводник предупредил нас: приготовиться к выходу! Путешествие с удобствами завершалось. Далее нам предстояло преодолеть нелегкий длинный путь на попутных грузовых автомашинах по неторным, затопленным и размытым полкой вешней водой проселочным дорогам, что пролегали к югу от Великого Сибирского пути в глубь североказахстанских степей. Четверо из моих спутников с комсомольскими путевками ехали в Джамбулский зерносовхоз, двое других спешили в совхоз Украинский. Оба эти хозяйства были соседями и базировались пока что в открытой степи на целинных землях Пресновского района.

Невеликая, вчера еще малоприметная на Транссибирской магистрали железнодорожная станция Мамлютка, где мы вышли из скорого поезда, выглядела непривычно многолюдной, шумной и оживленной. Она напоминала сейчас бойкий сортировочный узел на подступах к большому индустриальному городу или же огромную заводскую площадку — такой непрерывный металлический скрежет, грохот и гул царили на станционных ее путях, забитых платформами с техникой.

В одном месте разгружались платформы с дизельными тракторами, дисковыми боронами, сеялками и пятикорпусными плугами; в другом — представители МТС и экспедиторы новых зерносовхозов принимали по актам только что прибывшие бензовозы; в третьем — устанавливали на специальные тракторы-прицепы огромную цистерну; в четвер-

том — грузили на автомашины стандартные детали сборных домов и тюки походных палаток, луженые котлы и армейские кухни, катушки телефонного провода и компактное оборудование полевых раций.

Мы выбрались с ребятами на грейдированный тракт и, облюбовав на обочине место посуше, расположились на привал походным биваком, дожидаясь попутной машины.

Припекало. Над пестрой от нечастых пока проталин степью текли трепетные, призрачно мерцающие вдали струйки марева. Невесомые, как газовые девичьи шарфы, облака кой-где приметились в синем, пронизанном сквозным светом небе. На большой высоте шли — косяк к косяку — возвращающиеся в наши края с неуютных чужих берегов дикие гуси, и сдержанно-радостный гогот их томил, волновал и тревожил душу.

— Есть предложение заправиться, земляки,— сказал Василий Ганжело, тот, кого величали бригадиром.

— Порядок. Есть заправиться! — с живостью отозвался на его предложение веснушчатый парень и, ловко подкинув в центр нашего полукруга свой вещевой мешок, с услужливой расторопностью достал из него хлеб и три увесистых куска свиного сала.

Другой парень столь же поспешно разостлал на земле газету, которую только что читал. Стол был накрыт. Сдвинувшись потеснее, мы на равных правах принялись за нехитрое угощение с тем аппетитом, который знаком только дорожным людям и земледельцам, познавшим сладость простой и здоровой пищи в степи на вольном весеннем ветру под открытым небом.

— Хлеб да соль, молодцы! — прозвучал вдруг над нами глуховатый доброжелательный голос.

Перед нами стоял знакомый старик.

— Вот номер! — с восторгом воскликнул парень с веснушками, глядя на невозмутимого старика изумленными, смеющимися глазами.

— Да ты, отец, не на парашюте ли приземлился?

— Не хуже того, сынок... Это ты ведь меня на пятьсот веселый обрек, а я не оробел да с курьерским прямым маршем и прибыл.

— Интересно девки пляшут! Да ведь билетов-то больше не было!

— Была бы, парень, смекалка!..

— Неужели на ура прикатил, папаша? И на штраф не нарвался?

— От штраф уберег бог. Я на этот счет мужик везучий,— проговорил с облегченным вздохом старик и, опустив усталым движением с плеча на землю крапивый мешок с дорожной поклажей, присел на него, сняв шапку.

— Силен! — заметил бригадир.— Придвигайся, батя, к столу. Подкрепись с нами.

— Благодарствую.

Все промолчали. Потом один из ребят спросил:

— И далеко следуешь, папаша?

— В родной колхоз. Верст триста отсюда. В степь,— скупо отозвался старик, неопределенно махнув рукой.

— Неволя же была тебе в такую распутицу за триста верст киселя хлебать!

— Не в диковинку! Крепче поспится.

Видя, что старик не проявлял охоты к доверительной беседе с ними, ребята тоже как-то сразу замкнулись, оставив его в покое. Аппетитно уплетая ломти пышной сибирской булки вопрекиску с янтарным кубанским салом, они болтали безобидный вздор о дорожных своих приключениях. Старик сначала слушал их с видимым безучастием, а потом насторожился и, поняв, наконец, из дальнейших их разговоров, с кем свела его судьба на этой дороге, вдруг просветлел, и былая суровость его мгновенно исчезла.

— Кубанцы? Далеко залетели, орлы! В добрый час, в добрый час, молодцы! Великое дело начинаете. И нелегкое. Это не с курьерским поездом один перегон на ура прокатить. Шутка, полтора ста тысяч гектаров матерой земли за лето поднять, к примеру, в одном только нашем Пресновском районе, а по области, сказывают, и в миллион не сложишь! Такое только богатырям по плечу. Ну, да и армия в наших степях собралась, гляжу я, неробкая — молодец к молодцу, со всей России. И техники навалило — страсть подумать! Только в технику-то, сыновья, как в землю-матушку, ещё душу вложить надо. А земля в краях наших — золотое дно. Разработай ее с любовью, зашумят здесь хлеба, как моря,— не вычерпать!

— А вы что же, батя, коренной, тутошний? — уважительно спросил старика тронутый его доверительностью бригадир Ганжело.

— Теперь, можно сказать, коренной. С полвека уж, как тут укоренился. Мы сюда с покойным родителем из Воро-

нежской губернии на переселение вышли. Не от сладкой жизни уезжал наш брат тогда на край света, каким казалась в ту пору эта степь. Землей мы, правда, были здесь не обижены, да не у всех хватало силы разработать ее. Пароконным плужишком целины не ахти сколь подымешь. Для этого дела тройка добрых коней была нужна. А большинство таких, как мы с родителем, тогдашних переселенцев с грехом пополам одной лошадкой на новом месте обзаводились. А то, вконец разорившись за долгий путь, и этой радости не имели. Это вам нынче все карты в руки, а мы бы и рады в ту пору выиграть, да у нас ни козырей, ни масти.

— Чем же вы жили, отец, тогда?

— А тем, что землю свою с ходу — в аренду кулачью, а сами — в работники.

— Обратно к ним же?

— Как по заказу. Никуда не денешься.

— Веселая была жизнь! — насмешливо сказал один из трактористов, присвистнув.

— Вот так и веселили нашего брата эти варнаки, сказать вам про них по-сибирски. Было дело, погребли мы лопатами чистого золота с этих земель в их закрома невпроворот — горы горами. А сами всю жизнь перебивались на несладких чужих харчах — с квасу на воду. Вспоминать начнешь, сердце захладевает.

— Ну, а нынче как тут живут?

— Не хуже добрых людей. Так я понимаю. От худой жизни мотоциклов и прочих там самокатов в драку бы в наших сельмагах не раскупали. Бабы, и те, скажу, у нас в свою механизацию ударились. Сепараторы почти в каждом дому, швейные машины красуются в каждой горнице. А иные бедовые девки, посмотришь, на работе и то в шелку форсят!

— Девки у вас здесь, батя, все, должно быть, бедовые, — сказал, крутнув с веселым отчаянием головой, парень с патефоном, не спуская при этом сверкающих глаз с двух девчат, проезжавших мимо по тракту на паре быков в бричке.

Девушки, стоя в обнимку, словно позабыв про своих сонно бредущих быков, пели озорные частушки, высмеивая ненаходчивых ухажеров. Заметив издали нездешних ребят на дороге, они явно адресовали эти полные задора и вызова скороговорчатые свои припевки им, хотя демонстративно и не смотрели в их сторону.

— Смотрите, у вас быки буксуют, девчата. А ну, дай-те-ка им газку! — стремясь привлечь к себе хотя бы мимолетное внимание девушек, крикнул парень.

Но девчата, не удостоив его ответом, только надменно поглядели в нашу сторону насмешливо прищуренными, позолотевшими от весеннего солнца глазами и снова как ни в чем не бывало дружно запели лихие свои частушки.

Ганжело, сделав вид, что не слышит ехидных девичьих припевов, спросил старика:

— И колхозы-миллионеры у вас водятся?

— А где же их нынче нету? — ответил тот на вопрос вопросом. — За одну прошлогоднюю осень у нас в Пресновском районе их сразу шестеро объявилось. А ведь не одним хлебом мы живы. И скот у нас, и молодой плодородный сад не в убытке.

— Эге, да вы тут и сады разводите? — удивился кубанец.

— Взялись за ум. Спихватились. Шестой год об этом пекусь. Курсы даже на старости лет проходил вот по садовому делу. Теперь возвращаюсь домой вроде с высшим образованием, — заключил с улыбкой старик и умолк, за-слышав глуховатый издали, стремительно нарастающий рокот автомобильных моторов.

Спустя две-три минуты против нас на тракте остановилась колонна грузовых автомашин. В кузовах, битком набитых людьми, звучал неумолчный веселый и бойкий говор, звенел прозрачный и хрупкий, как родниковые ручейки, девичий смех, и в молодых, возбужденно-шумных, непоседливых пассажирах этих машин тотчас же можно было угадать издалека прибывших в наши края новоселов. Спросили — правильно. Это была очередная партия добровольцев из Москвы, Ярославля, Киева, Одессы. Все они ехали теперь к местам своего новоселья: в зерносовхозы и МТС.

Нам было по пути. Не мешкая, погрузились в не густо набитый народом кузов новенького ЗИЛа.

А старик остался на тракте дожидаться попутной до своего колхоза. Стоя на обочине дороги, он напутственно помахал нам вслед своей мохнатой, похожей на казахский малахай шапкой.

Впереди простирались бескрайние, настезь распахнутые перед нами степные просторы. Затерявшиеся в изумрудно-синей небесной бездне жаворонки славили теплый весенний день в незримые серебряные свои свирели. Дал-

ко был слышен трубный клич лебедей и восторженный говор опустившихся на озерное плесо утомленных перелетом казарок.

## 2

Что-то не пахло пока весной. Мелкий, нудный дождь, моросивший с обеда, перешел к вечеру в сухую, жесткую крупу, и окрестная степь казалась угрюмой и неприветливой.

Запоздавая весна долго еще куражилась над новоселами, словно испытывая их терпение, и некоторые из менее выносливых — были, разумеется, и такие — надули губы, започесывали затылки, завздыхали по далекой, привычной и милой сердцу кубанской земле...

Что и говорить, нелегко было некоторым сохранить былую жизнерадостность и задор в столь непривычной обстановке, когда весна скорее походила на позднюю осень, а ледяной ветер прохватывал до костей и снег порошил и порошил над степью, как в ноябре.

Бригадир Василий Ганжело заметил, что первым из его ребят приуныл веснушчатый балалайщик Ваня Зыкин. Вместо озорной и лукавой «польки с комплиментами», Ваня все чаще и чаще томил и тревожил душу своих товарищей протяжными, не шибко радостными песнями. Уронив на плечо свою светловолосую голову, Ваня любил теперь вполголоса напевать:

Всю Россию я проехал.  
Всю Сибирь пешком прошел.  
Всю Сибирь пешком прошел.  
Нигде милой не нашел!

Хотя бригадир и догадывался, что впадал в уныние Ваня не только от вынужденного, утомившего всех безделья, от неустроенности и на редкость безрадостной погоды, но и от неотзывчивости на его душевные порывы юной прицепщицы, однако он однажды грубовато оборвал его:

— Ты, Иван, эту музыку брось. Не ко двору она нам.

Ваня обиделся, но, зная крутой нрав бригадира, смолчал.

И Василий Ганжело, ревниво присматриваясь к ребятам, видел и понимал все это. Впрочем, он знал, что для многих из них это было минутным настроением, мимолетным, проходящим проявлением душевной слабости, и та-

кие люди, как Ваня Зыкин, не шибко тревожили настороженного бригадира.

Но были и такие, которым Василий не доверял.

Один из них Виталий Важко — учетчик бригады, не в меру развязный, бойкий парень с красными нагловатыми глазами и манерами дамского парикмахера. Странно было видеть в кругу затянутых армейскими ремнями, крепко сбитых, грубоватых с виду кубанских парней этого человека в модном пальто с сомнительно широкими плечами, в зеленой велюровой шляпе.

Виталий хорошо играл на гитаре. Впрочем, Виталий Важко играл не только на гитаре, а и в карты.

Положение было неопределенное, муторное. Со дня на день, с часу на час все ждали начала пахоты. Но после запоздало бурного снеготаяния и чудовищной распутицы на дорогах весной тысяча девятьсот пятьдесят четвертого года целинные степи снова сковало неслыханными в такую пору морозами. Земля звенела под кованым конским копытом. Где ж тут было думать о пахоте! И трактористы, ютившиеся в тесных, нежарких брезентовых палатках, вынуждены были томиться без дела и убивать время кто как мог. Тут-то и развернул свои «таланты» гитарист и картежник Важко.

Как-то под вечер в палатку Василия Ганжело вбежала Валя Коврова. Она была чем-то взволнована, и по-детски пухлые яркие губы ее еле заметно дрожали.

— Что случилось, Валя? — с беспокойством спросил бригадир.

— Ничего выдающего, — замялась девушка и тут же поправилась: — Ничего выдающегося, девчата меня послали.

— Говори.

— Мы решили уйти из вашей бригады.

— Кто мы?

— Девчата все. И тетя Даша тоже.

— Как это уйти? Куда?

— Куда-нибудь. Ну хоть в строительные бригады. Там дело не терпит. И вообще...

— Что вообще?

— И вообще там сподручнее...

Ганжело так и не мог понять толком, что заставило девушек принять столь неожиданное решение. Но по стеснительному поведению неробкой в других случаях Ковровой, по ее уклончивым ответам он все же догадался, что девчон-

ки напугались не трудностей бивачной жизни, а чего-то другого, о чем Валя умалчивает. Василий пытался выведать это «что-то», но дипломат он был плохой и успеха не имел. Ему и в голову не приходило, что девочки бегут от Важко. Он уличил учетчика в шулерской картежной игре и, припугнув его прокурором, заставил возвратить все выигранные у ребят вещи. Но он ничего не знал о ночных похождениях бравого гитариста. Не успела уйти Валя, как явился Ваня Зыкин. Этот уже напрямую, с ходу раскрыл перед бригадиром все.

— Девчата не по своей охоте от нас уходят. От гитариста бегут. Боятся.

— Кого?

— Да я же говорю — гитариста. Он им проходу не дает. Грозится.

— Чем же они ему не угодили?

— Известно чем, не таковские...

Ганжело рассвирепел. Много не раздумывая, он решил немедленно избавить бригаду от сомнительного добровольца.

Как раз под вечер на стане появился руководящий товарищ из районного центра — тучный человек с сонными глазами. Но, выслушав бригадира, он не одобрил его намерений:

— Нет, дорогой товарищ, тут надо поосторожнее. Важко, как ни говори, патриот. Он сюда с путевкой приехал...

— Да какой же он, сукин сын, патриот?!

— Воспитывать надо всем коллективом, а не гнать.

— Ну, хорошо, — сверкнув глазами, сказал Ганжело. — Мы его завтра воспитаем!

И, проводив заезжее начальство, в тот же вечер собрал на совет комсомольцев бригады. Было решено провести собрание.

Низкое, по-осеннему хмурое, мутно-серое небо висело над пустынной степью. На макушках окрестных курганов ржавокрылые беркуты дремали, угрюмо сторожа извечную в этих краях тишину. Неуютно и студено было стоять на холодном ветру в это непогожее, хмурое утро. Трактористы и прицепщики собрались у новых, не обкатанных еще тракторов.

В последнюю минуту перед началом собрания подъехали на «газике» директор зерносовхоза В. П. Тавиевский и парторг А. В. Бондарчук.

— Собрание объявляю открытым, — сказал бригадир, потом помолчал, покашлял, переступил с ноги на ногу и

заговорил уже совсем обыденным, неофициальным, глуховатым своим голосом:

— Дело у нас короткое, товарищи. Мы прибыли сюда работать, а не речи говорить. Так я понимаю?

— Вот именно! — подтвердил учетчик с вызывающим нагловатым смехом.

— А ты пока помолчи,— строго оборвал его бригадир.

— Ну, ну, валяй. Послушаем,— сказал с напускным равнодушием Виталий Важко.

Было видно, что он не подозревал о значении этого собрания и потому держал себя со свойственной ему развязностью. Но, как и большинство людей его толка, он был труслив и тотчас же сжимался в комок перед силой, способной обескуражить и подавить его. Это хорошо знал Василий Ганжело — он давно разгадал мелкую душу гитариста — и потому сразу же перешел в наступление:

— Не знаю, как вы, товарищи, я считаю, что пора нам с Виталием проститься.

Лицо Важко злобно передернулось, и он крикнул срывающимся бабьим фальцетом:

— Это за какие же грехи?!

— Не за грехи, а за подлость,— сдержанно поправил его бригадир.

Важко, рванувшись к Ганжело, прошипел, задыхаясь:

— Ты мне ответишь за это, гад!

— Отвечу,— спокойно сказал бригадир и, обращаясь к членам бригады, спросил: — Правильно я поправил его, ребята?

— Подлец, факт,— прозвучал в ответ басовитый голос тети Даши.— Есть в народе поговорка насчет паршивой овцы, которая стадо портит. Завелась на нашу беду такая овца и в нашей бригаде. Невдомек мне вот только, кто это в Краснодаре придумал пожаловать путевкой такую скотину, как Важко? Стыд!

— Ты, повариха, поосторожней на поворотах, а то без головы останешься! — выкрикнул Важко.

— Не запугивай. Не из робких. Я тебе не Валя Коврова и не Ваня Зыкин!

Через мгновение растерянный и бледный Важко очутился в кольце окруживших его возбужденных людей. Перебивая друг друга, заговорили все сразу.

— Жулик!

— Шпана!

— Ни одной девчонке проходу не дает!

— Гнать его в три шеи!

— Слово имеет директор совхоза товарищ Татиевский. Гул голосов стих.

— Вот что, дорогие товарищи,— намеренно неторопливо и негромко заговорил директор.— Вижу, крепко вам всем насолил тут этот приятный с виду молодой человек в шляпе. И хорошо, что вы сами заговорили об этом. И решили, мне кажется, правильно.

Выдержав небольшую паузу, Василий Ганжело спросил членов своей бригады:

— Кто за то, чтобы Виталия Важко отчислить из нашей бригады, прошу поднять руки.

И смотревший в землю Виталий Важко скорее почувствовал, чем увидел, упрямо взметнувшиеся к небу руки.

— Кто против? Нет. Кто воздержался? Нет таких. Порядок.

Важко несмело поднял глаза, мельком оглянул строгие, спокойные лица людей и растерянно закурился на месте.

— Ну, все,— сказал бригадир гитаристу.— Мы тебя больше не держим.

И круг трактористов тотчас разомкнулся. Надвинув на лоб шляпу, точно норовя прикрыть этим неловким жестом отчужденный, трусливо-блудливый взгляд, Важко передернул плечами и изобразил на своем лице жалкое подобие знакомой всем циничной улыбки. Круто повернувшись к стоявшему поодаль директору, Важко спросил с наигранной развязностью:

— Что ж, начальник, выходит, можно отчаливать?

— Выходит, можно,— сухо ответил директор.

— А как насчет транспорта?

— То есть о каком транспорте речь? — спросил в свою очередь удивленный директор.

— Странный вопрос! Не пешком же я за две сотни верст до станции отсюда пойду?

Директор с презрением посмотрел на него и, ничего не сказав, пошел к машине.

Члены бригады разбрелись по биваку: кто к костру полевой кухни, кто к палаткам, кто к тракторам, а Важко стоял в одиночестве.

...А наутро выдался день, которого так долго ждали. Брызнув жаркими потоками тепла и света, появилось над бескрайней степью весеннее солнце.

Это было в четыре часа утра. Раздался условный сиг-

нал — удар гонга, машины дрогнули и с лязгом и грохотом двинулись в первую борозду. Степь как бы вздыбилась перед глазами изумленных, пришедших сюда издалека людей. По единодушному решению бригады честь проложить первую борозду была предоставлена Василию Ганжелю. Не спуская напряженного взгляда с чуть приметной в далеком степном просторе разметочной вешки землеустроителя, он повел за собой всю колонну.

Сидящая на прицепе головного трактора Валя Коврова, опустив рычаг регулятора на заданную глубину, увидела, как все пять лемехов ее плуга врезались в спрессованную веками целину и стали переворачивать бархатисто-черные, слегка дымящиеся от испарений широкие пласты. Бражный, горьковатый аромат земли кружил голову, и Валя, на секунду прикрыв глаза, засмеялась от ощущения радости бытия, от полноты счастья, овладевшего ею в это утро среди безбрежной степи, расточительно залитой ярким весенним солнцем.

Новый учетчик бригады Ваня Зыкин, шагая поодаль от головного трактора, то и дело оглядывался в его сторону и, не зная чему, тоже смеялся.



## СЕМЕРО СМЕЛЫХ

Еще в Ленинграде перед отъездом на целину — то было в марте тысяча девятьсот пятьдесят четвертого года — семь девушек, работниц табачной фабрики, твердо решили на новом месте стать трактористками. Самая старшая из подруг Серафима Селиверстова, как наиболее практичная и предусмотрительная, запаслась даже учебной литературой.

— Не поварихами же быть нам на целине! И не в водовозы мы там запишемся, — говорила она своим подружкам назидательно.

— Ну, это уж как придется, — мягко возразила осторожная Вера Кулешова.

Выросшая в деревне средней полосы России, она, пожалуй, единственная из подружек имела в те дни реальное представление о том, куда и зачем они ехали.

— Ах, оставь ты, Верка, свои неопределенности!

— А ты что думаешь, из всех из нас Паши Ангелины выйдут?

— Во всяком случае, я не желаю быть хуже Паши! Ясно?

— Вполне.

— Тогда не демобилизуй, понимаешь, девчат своими разговорами!

— Наоборот. Я мобилизую.

Мимолетные размолвки не мешали тесной девичьей дружбе. Разные по характерам, они походили друг на друга душевной чистотой, внутренней собранностью и целеустремленностью.

Случилось так, что в одном вагоне с этими девушками оказалась Астра Парадовская — работник Ленинградского горкома комсомола, сопровождающая отряд ленинградцев на целину. Веселая, не скупая на шутку, на песню, на выдумку, стремительная, порывистая в движениях, Астра пришлась по душе всему шумному вагону. Но особенно сблизилась с ней семь подружек: Серафима Селиверстова, Вера Кулешова, Катюша Карпова, Лида Туркова, Оля Коршунова, Нина Протасова и Маша Бичурина.

Путь был неблизкий, и за четверо суток девчата сдружились с Астрой, поверяли ей и нехитрые тайны девичьих сердец, и мечты о будущем. Астра платила спутницам теплом и светом по-русски открытой души.

— Мы только в механизаторы, в трактористки! — горячо говорила Серафима новой подружке.

— Смотри, вместо тракторного-то отряда в полевую кухню не угоди! — ответила ей верная себе Вера Кулешова.

— Нет уж, Верочка, я тебя такого теплого места лишать не буду, — отозвалась в пику ей Серафима.

В вагоне было тепло, уютно, весело. Разговоры, шутки не умолкали даже ночью. Три с половиной тысячи километров, отделявшие Ленинград от конечной станции этого шумного веселого путешествия, пролетели под ритмичный стук вагонных колес незаметно.

В хмурое мартовское утро поезд остановился на невеликой, ничем не приметной в прошлом станции Омской железной дороги. Новоселы шумно вышли из вагонов на заснеженный, забитый народом перрон и как-то все сразу притихли, стали оглядываться по сторонам.

Низкое небо кренилось над степью, а гладкоствольные тополя угрюмо гудели на сыром, тяжелом ветру. Холодно-вато для конца марта.

Некоторые щеголи в хромовых сапожках и модницы в капроновых чулках левесело заприплясывали. Менее спе-

сивые тотчас же стали переобуваться в сапоги на двойную портянку, а кто и в валенки, припасенные заботливой мамашей.

Приехавших встретили, тут же вручили им путевки в зерносовхозы. Серафиме Селиверстовой и ее подругам выпал на долю зерносовхоз Украинский.

— Это далеко ли отсюда? — спросила Серафима уважительного представителя треста, добродушного смешливого сибиряка в ондатровой куртке нараспашку.

— Да нет, вам повезло, барышни. Тут рукой подать, — полушутя, полусерьезно ответил сибиряк.

— Ну, а все-таки? — не унималась Серафима.

— Да ерунда! Полных трехсот не наберется.

— Это чего же трехсот-то?

— Верст или километров, все равно не очень точно меряны.

— Хорошенькая ерунда!

Сибиряк хитровато ухмыльнулся.

— По нашим понятиям триста верст — не велик полустанок. Вон в Тимирязевский или к Богдану Хмельницкому — пять кругленьких сот впритирку. Мы прежде и на гужевом транспорте таких концов не робели, а вам на машинах раз чихнуть!

— Какая дорога, а то, пожалуй, вдоволь начихаешь, — резонно заметил кто-то, видать, из шоферов.

— Дорога пока — хоть на боку катись. Утром отправим — к ужину на месте будете.

— А как же, товарищ, насчет курсов механизаторов? Вот мы с девчатами, например, хотим на курсы трактористов.

— Все на новом месте, все там решится, голубушка, — успокоил ее представитель треста.

Поутру, чуть свет, колонна грузовиков тронулась в неблизкий путь. Машины мчались с лихой скоростью. И снова, как в поезде, девушек захватило светлое чувство новизны, ощущение простора, радости жизни и жажда деяния.

Вскоре солнце, поднимаясь над степью, начало так припекать, что кое-кто снимал с плеч ватники. А к полудню так подтаяло, что дорога превратилась в сплошное вязкое месиво.

Во второй половине дня часто приходилось сооружать настилы из березняка или камыша и выталкивать машины из предательских ловушек.

В сумерках, когда стало примораживать, колонна автомашин добралась до небольшого селения. Но оказалось — не так-то легко и просто было найти здесь промокшим и продрогшим до костей путникам желанный приют под крышей. Улицы поселка уже были забиты грузовыми автомашинами, и на воротах, как в прифронтовой полосе, красовались краткие надписи, размашисто начертанные то углем, то мелом: «Занято. Тимирязевцы», «Докучаевцы», «Здесь Богдан Хмельницкий!»

Но как ни тесно было от постояльцев в деревенских пятистенниках и саманных хатах, а нашлось в конце концов место и для новоселов Украинского зерносовхоза. Спали подруги, правда, на полу, но в отдельной горнице и, несмотря на большую усталость, далеко за полночь проговорили. И в этот вечер Астра Парадовская неожиданно сказала:

— А знаете, девочки, я в Ленинград не поеду.

— То есть как? — с изумлением спросила ее Серафима.

— А так, останусь тут с вами... навсегда.

— Ты это серьезно?

— Такими делами не шутят! — серьезно ответила Астра.

...Через неделю подруг во главе с Астрой Парадовской пригласили к директору.

Приземистый, быстрый в движениях, директор Илья Григорьянц встретил девочек широкой улыбкой:

— Ну, как живется на новом месте, голубушки? Огляделись? Обвыклись? Не тесновато в палатках?

— Ничего, привыкаем. В тесноте — не в обиде, как говорится, — ответила за всех Серафима.

— Не холодновато в брезентовых-то домах?

— Да не жарко, Илья Карпович!

— Вот, вот, не жарко! — живо подхватил директор. — Придется подумать нам с вами о более надежном жилье. Присаживайтесь, в ногах правды нет. Потолкуем.

Директор обвел взглядом своих посетительниц и после недолгой паузы сказал:

— Трудное дело у нас намечается. Выручайте.

— Мы готовы, — тотчас же отозвалась за всех Вера Кулешова.

— Дело нелегкое. Трудоемкое. Тут и сноровка и физическая выносливость нужны... Словом, нам нужна бригада саманщиц. Как вы на это смотрите?

Девчата недоуменно переглянулись. Ни одна из них не знала, о чем идет речь.

— А кто такие саманщицы? — настороженно спросила Серафима.

— Обыкновенные работницы, которые делают саман.

— А что такое саман?

— Блоки, или, проще сказать, кирпичи из соломы с примесью глины. Превосходный, скажу вам, строительный материал! Видели небось какие чудесные хаты понастроили себе из этого материала в тех деревнях, которые вам довелось проезжать. Зимой в таких хатах тепло, летом прохладно. Чудо!

Девчата продолжали переглядываться и молчали. Директор тоже молчал и ждал ответного слова. Наконец Серафима Селиверстова надменно сказала:

— Странно! Мы ведь, кажется, целину поднимать приехали...

— Конечно! — с живостью отозвался директор.

— А целину, наверное, поднимают тракторами.

— Ошибаетесь, голубушка, — мягко ответил ей директор. — Придется поднимать ее и руками.

— Вот этого я не представляла, — упавшим голосом сказала Серафима, разглядывая свои руки со следами бывшего маникюра.

— Что ж, мы многого не представляли вдали от этих мест, а только целину приходится поднимать и трактористам, и монтажникам сборных домов, и бурильщикам колодезных скважин, и связистам, и шоферам, и саманщицам, и нашему брату — организаторам совхозов.

Сказав это, директор снова оглядел дезушек и, чуть помедлив, спросил:

— Ну, как же, девчата, задача ясна?

— Ясна, товарищ директор! — отозвалась Астра.

Но Серафима перебила ее:

— Мне не очень!

— Разберемся, — прозвучал ясный, уверенный голос Веры Кулешовой.

— Не боги горшки обжигают, — примиряюще сказал директор. — Необходимый инструктаж вы получите. Разыскали мы тут среди местных старожилов бывалого мастера — золотые руки!

Выждав паузу, директор спросил:

— Ну как, девушки, писать приказ?

— Пишите, — твердо сказала Астра. — Попробуем.

Серафима Селиверстова горько вздохнула, поднялась поспешно и, не очень любезно простившись с директором, вышла раньше других.

Весь вечер она провалялась в палатке, не разговаривая с подругами. Греха таить нечего, остальные тоже не очень-то были рады. Не унывала только Вера Кулешова.

— Не понимаю, чего это вы губы надули? Ведь это же интересно: из нашего кирпичного дома строить будут! Всех жильем обеспечим.

Девушки отмалчивались.

Астра, как бригадир, старалась держаться на высоте и не выдавала своих волнений, но и ее тоже мучили сомнения.

Прошел месяц. И о бригаде ленинградских саманщиц из Украинского зерносовхоза заговорили в окрестной степи, во всех пяти новых зерносовхозах. Имена Астры Парадовской, ее помощницы Серафимы Селиверстовой и всех остальных подруг — членов бригады, замелькали на страницах районной, областной, а затем и республиканской печати. В Украинский совхоз зачастили руководящие работники из других хозяйств. Всем хотелось лично убедиться в быстром темпе строительства саманных жилых домов, а главное — перенять опыт организации производства этого прекрасного в местных условиях строительного материала.

Быстро освоив новое дело, подруги работали проворно, красиво, слаженно и с песней. С утра до позднего вечера звучали над озером звонкие девичьи голоса, серебром рассыпался смех.

Приглядываясь со стороны к их работе, можно было подумать, что заняты они не очень утомительным делом — столь легкими были движения их обнаженных по локоть, запачканных глиной рук, ловко орудовавших деревянными формами, набитыми вязким месивом глины с соломой.

Стороннему наблюдателю могло показаться, что девушки эти с малых лет только и делали, что приготавливали саманы. И лишь сами они, теперешние мастерицы этого трудоемкого дела, да те, кто когда-либо занимался этим, знали, как тяжела эта немудрая работа.

Труднее всех приходилось в первую пору, пожалуй, своенравной Серафиме Селиверстовой. Но и она мало-помалу увлеклась рабочим азартом подруг. И спустя неделю уже не отставала от них ни в темпах, ни в ловкости, ни в смекалке.

— Давай, давай, Серафима! Это тебе не на тракторе руль крутить! — подтрунивала над ней Вера Кулешова.

— Помалкивай! Придет время, я и на тракторе класс покажу. Это ведь ты у нас метишь в поварихи,— не оставалась в долгу Серафима.

Саманные блоки девушки делали на берегу озера. Открытые ветрам и солнцу, место это радовало глаз степных путников и манило к себе. То и дело подвертывали сюда с соседнего тракта лихие шоферы на своих грузовиках, всегда находя нехитрое, шитое белыми нитками оправдание: то воды в радиатор подлить, то напиться... Очень уж хотелось завоевать внимание веселых саманщиц, снискавших такую популярность.

Но неподатливы на льстивые речи непрошенных кавалеров ленинградки. Жестоко высмеивали они неловкие любезности и картинные комплименты залетных кавалеров. Да только те не смущались.

...Поздней осенью, перед праздником, я встретился с подругами на центральной усадьбе совхоза. Они только что вселились в новое общежитие и наводили порядок в уютных и светлых своих комнатах. Когда гостеприимные хозяйки поставили на стол новенький никелированный самовар, у нас завязался непринужденно-доверительный разговор.

— Клуб вы наш видели? — спросила меня Серафима.

— Отличный клуб.

— Это из нашего самана.

— А столовая? — напомнила Вера Кулешова.— Это же первое здание в усадьбе, построенное из местного строительного материала нашего производства!

— Хватит хвастаться! Подумаешь, какой интерес человеку про наши саманы слушать! — заметила Астра.

— А вот я назло похваляюсь! Не шутка в деле — двадцать пять тысяч штук саманных блоков за лето одной бригадой набить. Нечего скромничать-то, можно и похвалиться,— рассудительно сказала Серафима.

— Вот видишь, Сима, как судьба-то сыграла! Хотела ты стать трактористкой, а сделалась саманщицей,— не утерпел, поддела Серафиму Вера Кулешова.

— Ладно, ладно, Верка, ты меня не подкусывай! Я-то нынешней зимой на курсы механизаторов обязательно попаду. Директорскую резолюцию на заявлении уже имею, а вот тебе, видать, должность бригадной поварихи не улыбнется,— оплатила ей Серафима.

— Да, представь себе, ты права: не улыбнется. Меня тоже на курсы трактористов посылают,— сказала с приторным сожалением Вера.

И все дружно засмеялись.

Наше общее внимание привлек голос из репродуктора:

— Говорит Москва. В двадцать часов десять минут слушайте передачу из Ленинграда.

Астра резко откинулась на спинку стула и прикрыла глаза. Длинные, густые, темные, бархатистые ресницы ее слегка подрагивали, а на губах притаилась чуть приметная улыбка. Тихо, мечтательно Астра сказала:

— А хорошо сейчас, в канун праздника, в Ленинграде! Особенно на Невском. А, девчата?..

— А у нас тоже хорошо,— так же тихо сказала Вера Кулешова.— Там по-своему, а у нас по-своему!..



## **ЗИМНЯЯ ПОВЕСТЬ**

Короткий февральский день с его безвременной вялой оттепелью завершился к сумеркам робким снегопадом. Ни позднее безмятежно-тихое зимнее утро, ни полный безмолвия и покоя полдень, ни вкрадчиво-кроткий вечер этого мирного будничного дня,— ничто, казалось, не говорило о приближении грозы былого целинного царства — пурги. И не только прижившиеся в этих краях новоселы, но даже и выдавшие виды старожилы — ни те, ни другие не предугадали на этот раз кануна разнузданного ее разгула и грозного ее торжества!

Между тем невесомый, несмелый спервоначалу снежок, с лентой запорошивший перед закатом над степью, незаметно перешел затем в густой поток лавинного снегопада, отвесно хлынувшего из угрюмой небесной бездны на пустынные, бесконечно печальные в эту пору поля. А позднее — в ночи — вдруг затрубил, дико и властно загикал, завыл штормовой северный ветер. И тотчас же все на тысячи верст вокруг потонуло в сумятице свистящих смерчей низкой поземки, в яростной пляске подоблачных снежных вихрей, в жарком чаду и дыму загулявшей февральской метели...

Минул девятый час вечера — время не раннее для непраздных сельских людей. Об этом напомнили хозяйке по-

вого жигаловского дома на целинной земле древние стенные часы, неторопливо, с раздумьем пробившие девять раз. Их протяжный, мягко вибрирующий на низкой басовой ноте бой походил на удары приглушенного шумом метели далекого колокола. В такой колокол бивали в прежние времена по случаю вьюги с деревенских церквушек дряхлые звонари. И в полутемные от метелей полдни и дымные от вьюжной призрачной мглы зимние ночи звучали они с благим вечерним призывом, подавая вести о близком жилье и приюте сбитым с толку метелью путникам.

Прислушиваясь к неторопливому бою часов, Аксинья Григорьевна — так величали немолодую хозяйку — припомнила про добрый былой обычай и украдкой вздохнула.

Вот когда бы впору ударить в самый большой колокол! Она — старая мать прочно поставленных теперь ею на ноги одиннадцати детей — готова была сию минуту сама подняться по крутым ступеням на любую колокольню. Подняться и ударить в такой колокол, звуки которого, разрывая на клочья упругие паруса пурги, докатились бы до пьотерых ее сыновей, настигнутых вьюгой в пути-дороге!

Был в жизни Аксиньи Жигаловой такой случай, правда, в далекой уже от нее, похожей на сон заревой ее молодости. Давно это было. Очень давно. Немало с тех пор соленой воды утекло в скитальческих речках сибирских степей. Немало медовых трав отшумело в былом Целинном краю. Немало рано тронутых сединой волос неслышно обронила старая мать с непокорной обидам и бедам своей головы. И многое из пережитого за скупую на радости жизнь было теперь забыто. Одного и на склоне лет не могла позабыть она: вот такого же снежного урагана, внезапно ворвавшегося в полудикие, малообжитые в те времена прииртышские степи.

Случилось это в канун первой мировой войны во второй половине такой же вот мягкой и ласковой поначалу зимы. Молодые Максим и Аксинья Жигаловы, заручившись нехитрым наделом родителей, только что начинали жить своим малоприбыльным на первых порах крестьянским хозяйством. Обзавелись недорого купленной по случаю глинобитной избой, какой-то домашностью. И Максим — хозяин двух лошадей — решил для приработка заняться в зимнее время извозом. Вместе с прочими односельцами небогатой руки стал он хаживать по санной дороге с обозами. Возчики доставляли по первопутку мясные туши, кожу, шерсть, копыта и прочее прасольское добро то в не-

близкий от их степного селенья Омск, то на дальние знаменитые в то время в Сибири и Зауралье ярмарки. И Аксинья рано узнала, как длинны, безответно глухи к людской душевной тревоге зимние ночи, проводимые смолоду в могильно-тихой избе в одиночку, у незрячего от морозных узоров окошка...

В тот же памятный день зимы тысяча девятьсот четырнадцатого года, когда разбушевалась вот так же под вечер роковая для многих тогдашних дорожных людей пурга, Аксинья ждала возвращения Максима с Ирбитской ярмарки. Почтовый ящик с ласковым прозвищем Ястребок—добряк, хвостун и гуляка,— живший с жигаловскими молодоженами тогда по соседству, воротясь накануне со станции, дал знать молодой соседке, что он обогнал в полдень обоз односельчан верстах в сорока пяти отсюда. Возчики, по словам Ястребка, переночевав на хуторах немецких колонистов, собирались засветло добраться назавтра до дому.

Собирались. Да не добрались. Ни засветло. Ни в потемках. И когда заголосила под вечер с подсвистом вещунья метелей — печная труба в избе, Аксинья поняла, что обоз, застигнутый в степи бедовой пургой, сбился с дороги. И сбился, выходило по времени, где-то недалеко от дому.

С похолодевшим, упруго стучавшим сердцем долго присидела она в оцепении у заиндевелого окна в безмолвной своей избе, оторопело прислушиваясь к вертепному реву выюги.

Чего только не примнилось, не примерещилось в ту ночь тревожно-отзывчивой на каждый шорох и звук семнадцатилетней Аксинье! То она слышала сквозь шум метели протяжное, горькое ржание коня. То бередил ей душу перелетный звон бубенцов. То живой человеческий голос окликал ее по имени издали с той призывной напевностью, с какой окликают друг друга близкие люди, разминувшиеся в лесу. А глубокой ночью смутил ее негромкий, безалаберный перезвон больших и малых колоколов их деревенской церкви. И Аксинья, точно очнувшись при этом от тяжкого забытья, поняла, что звон этот ей уже не мерещился: он звучал в метельной ночи наяву. Так случалось не раз и прежде в зимние бури. Колокола порывисто, вразной перезванивались, глухо гудели с надрывным стоном сами собой, раскачиваемые ураганным ветром!

Услышав этот мятежный, бросающий в оторопь перезвон, Аксинья, как ни знобил, ни сковывал ее душу тупой,

безотчетный страх, как ни дрожали по-девичьи тонкие руки, с трудом затянувшие на затылке в узел концы торопливо наброшенного платка, вышла из избы.

Чудом пробравшись сквозь валившую с ног пургу до церкви, Аксинья едва уломала дряхлого да еще и захворавшего не ко времени звонаря доверить ей ключ от колокольни. Потом, не помня себя, пролетела она в кромешной мгле по крутым лестницам и долго не могла перевести дух, скорее почувствовав, чем различив, над собой головокружительно-высокую шатровую крышу старой колокольни.

Здесь было куда более жутко и страшнее, чем там, внизу, на потонувшей в клубившейся полумгле земле! Остов стрельчатой, в лапу срубленной колокольни, подрагивая от шквального ветра, скрипел, как старая ярмарочная карусель, и временами даже пошатывался из стороны в сторону вместе с угрюмо гудевшими, тяжко покачивавшимися колоколами.

Отдышавшись, придя в себя, Аксинья, ослепленная вихревыми потоками снега, наткнулась на канат, упавший ей под ноги из раструба двадцатипятипудового колокола. Тогда, не выпуская его из цепких, огнем пылавших рук, она, по-мужски широко расставив для прочности ноги, перевела дух, а затем молодым, гибким движением, слегка отпрянув назад, с яростной, почти злобной силой рванула канат на себя.

Раздался первый удар!

За ним второй, еще более гулкий и грозный. Третий. Четвертый. Пятый... Аксинья зачем-то вслух считала удары. И когда грозовые, с басовым распевом звуки колокола, заглушая шум выюги, хлынули перекатными волнами в темную степь, у Аксиньи сразу же отлегло от сердца. Мерно раскачивая весомый язык колокола, чутко вслушиваясь всем своим существом в этот набатный звон, она теперь уже твердо знала, что пропавший в степи обоз выбьется на верную к дому дорогу.

И понемногу она совсем успокоилась. Ровнее стала дышать. Все увереннее и тверже становились ее удары. Она не испытывала уже больше ни зябкой дрожи в руках, ни былого озноба в скованном тревогой и страхом теле. Наоборот, она так разогрелась, что распахнула нетерпеливым рывком на груди полы дубленого полушубка и ослабила на затылке узел и без того почти съехавшего с головы платка. Она чувствовала, как у нее горели щеки и как

жарко блестя уже бесстрашно смотревшие на выюжную кутерьму глаза...

За работой Аксинья в молодости, по словам добрых людей, всегда собой хорошела. Хороша собой была она, наверно, и в то предрассветное февральское утро, когда сбившийся с ног Максим обнаружил ее на колокольне. С минуту оба они, тогда со стороны, должно быть, похожие на привидения, ошарашенно смотрели один на другого, будто не понимая, как они могли очутиться здесь.

Большого Аксинья не помнила. После со слов Максима она узнала, что он донес ее тогда с колокольни до их избы на руках, что не ударь она в эту ночь в большой колокол, не миновать бы возчикам верной гибели. Для Аксиньи же все это кончилось жестокой горячкой, не оставившей за две недели в лице ни кровинки и едва не разлучившей ее с Максимом навек.

Но не успела одна беда миновать стороной тогдашний жигаловский двор, как постучалось вскоре в ворота другое лихо — война, оставившая молодую Аксинью в солдатках на долгие годы.

Около трех с лишним лет воевал рядовой сибиряк-пехотинец Максим Жигалов где-то под Перемышлем и на Карпатах с немцами.

Потом, после незатяжной передышки дома, ушел добровольцем с железной дивизией Стеньки Разина громить Колчака, оставив к тому времени на руках жены полугодовалого первенца их — Павла. И с тех пор вот так — между вечной тревогой, надеждой и страхом — и прошла неприметная ее молодость, отмерцала незавидная полувдолья жизнь, как мерцает текучее марево в жаркий летний день над опаленной суховеями степью...

Если смолоду ждала Аксинья возвращения с войн только мужа, то под старость суждено ей было проводить в сорок первом году на фронт вслед за ним, бывалым солдатом, и своих сыновей: Николая, Геннадия, Александра и Павла Жигаловых. И снова четыре года меж надеждой и страхом прождала она возвращения мужа и сыновей. Правда, ждала уже тогда не одна, а с шестью ребятами.

Небольшая охотница беречьшний раз свое сердце непрошеными воспоминаниями про черные дни, закрыла бы со временем глаза Аксинья и на эти трудные годы, дождись она после войны возвращения домой всех четверых своих возмужалых ребят и не подвластного еще старости

мужа! Но воротился пехотинец Максим Жигалов только с тремя младшими сыновьями без старшего Павла, павшего в сражении за город Братиславу. И, обреченная отныне на некрикливую скорбь о погибшем за пределами родной земли сыне, так с годами и не могла примириться с его смертью старая мать, украдкой крестясь по ночам и твердя полушепотом его имя...

Не могла не думать и теперь с тревогой, надеждой и страхом Аксинья Жигалова о судьбе пятерых младших своих сыновей, накрытых ночным ураганом в дальней дороге! Непривычная щемящая тишина стояла в жигаловском доме. Присмиривше-печальным выглядел он теперь без семейной дневной суеты, без детского смеха и плача, без нередких прикрикиваний на домашних сварливого, вечно совавшегося в бабьи дела старика, без храброго треньканья и вранья на балалайке семилетнего внука Вани, без сорочьего разговора, пересмеха и шушуканья за ситцевой кухонной занавеской трех жигаловских снох и двух их, таких же неробких замужних золовок — без всего того, чем живет всякий большесемейный дом, неутомимо гудя с утра до позднего вечера, как дружный пчелиный рой в небедном медовыми взятками улье!

И тесновато и довольно шумно бывало от народа в просторном жигаловском доме в иные зимние вечера, когда сходились сюда на семейные «летучки» и «планерки» все стариковские сыновья и снохи, зятя и замужние дочери — новоселы целинного зерносовхоза. То были шоферы и трактористы, комбайнеры и разъездные механики, штурвальные и стажеры с грузовых автомашин, садоводы и огородники и, наконец, просто домашние хозяйки — матери восемнадцати жигаловских внуков! И все с одной знаменитой в Молодежном зерносовхозе Жигаловской улицы. Так она названа была здешними целинниками в честь династии потомственных сибирских хлеборобов Жигаловых, скопом переселившихся лютой зимой тысяча девятьсот пятьдесят четвертого года из обжитого их отцами и дедами Прииртышья в целинные северо-казахстанские степи.

Не ахти пока велика эта улица. Но больше десятка бревенчатых пятистенных домов с веселыми резными наличниками и добротными дворовыми пристройками придают ей уютный, уважительный вид. А березовая рощица в конце улицы украшает ее даже в зимнюю пору трогательным нарядом дремотных деревьев, блистающих в солнечный день гранеными алмазами серьгообразных подвесок и дев-

стенной белизной кружевного инея, прикрывшего наготу их молодых, упругих и гибких ветвей...

Собираясь в зимние вечера в доме старых Жигаловых, молодые их сыновья и снохи, зятя и замужние дочери затевали обычный непринужденный разговор про то и про это, а главное — об итогах минувшего трудового дня, как бы отчитываясь в своих делах и поступках за этот день друг перед другом. Строго придерживаясь при этом неписаного, но твердо устоявшегося в их семейном быту порядка, первый полуделовой-полушуточный спрос был тут с младшего из братьев — семнадцатилетнего Михаила, угловатого, застенчивого подростка с грустными материнскими глазами и отцовской хмуростью в темных бровях. В прошлогоднюю жатву он работал штурвальным на комбайне старшего брата Геннадия, чем очень гордился. Но похвастать про свою сноровку он не осмеливался. Не в чести тут было бахвальство ни у старших братьев, ни у стариков...

После жатвы Михаил перешел в подопечные к другому брату Ивану — одному из лучших в зерносовхозе шоферов. Иван взял на зиму младшего брата к себе в стажеры. Так присоветовал на одной из семейных «летучек» старик. По резонному его разумению выходило, что тяжелые и небезопасные зимние рейсы на грузовой автомашине пойдут меньшему сыну впрок, а старшему в дальней дороге с ним будет веселей и сподручней.

Влюбленный в технику, Миша не мог не прийти к сердцу Ивану. По-отцовски непоседливый и дотошный, он вскоре не хуже иного тертого, как тот же Иван, шофера разбирался уже и в моторе, и в ходовой части машины, назубок изучив ее поров при буксовке в глубоком снегу и на малонадежных, а порой и воистину каторжных зимних дорогах, на «ура» пробитых сквозь дебри сугробов не привыкшими робеть и теряться водителями!

Ивана радовала расторопность и шоферская сноровка младшего брата. И он, отправляясь в дальние рейсы, не знал теперь горя, какого немало хлебнул, колеся в непогодь по степным дорогам на пятитонном грузовике в одиночку. А месяца два спустя он настолько уверовал в шоферскую хватку меньшего брата, что мог даже в случае нужды допускать его без особой опаски к рулю. Понятное дело, втихую от дорожной автоинспекции...

Нужда же такая случалась. Да и нередко. Работа была у них, прямо сказать, аховая! Зерна с целины навалило

в совхозе — невпроворот. В жатву своим автопарком едва успевали разгружать на ходу бункера комбайнов. Доставлять хлеб на станционные элеваторы было в ту пору им не с руки. И, забив сыпучим золотом все глубинные зерносклады, стали ссыпать его потом в бурты под открытым небом.

Жарковато было в жатву не только комбайнерам, но и водителям! Урывая у хмурой осени и подозрительно смиренной поначалу зимы каждый погожий день и час, водители по неделям не заглядывали домой.

Нечастыми гостями были теперь в родительском доме и Иван с Михаилом. С этим мало-помалу стала свykаться даже молодая, вспылчивая, как порох, жена Ивана Марья, дувшаяся первые дни на мужа за его затяжные отлучки. Старика же не только не огорчало, а даже явно прибадривало редкое появление в доме младших его сыновей. Сам не приученный смолоду к праздности, не потакал он в этом и детям своим.

И только одна Аксинья Григорьевна не могла привыкнуть к долгой разлуке с любым из сыновей и особенно с меньшим из них — Мишей. Как это часто бывает в большой семье, последний в роду из сыновей является такой же слабостью матери, какой отмечен обычно единственный — напоглядку — ребенок у не обремененных семейством родителей.

Хорошо зная про эту материнскую слабость своей старухи, Максим Жигалов никогда и ни в чем, вопреки ей, не ставил меньшего сына в отличку от прочих своих детей, выросших в трудные годы не баловнями. Старик не терпел ни излишней бабьей опеки над меньшаком, никаких потаканий в мальчишеской праздности или увиливании от любых поручений старших в семье, какими бы там мало-мальскими или, наоборот, нелегкими для парнишки они ни были.

А Аксинья Григорьевна трепетала над Мишей, оберегая его от простуды и утомления. И это нередко приводило теперь смолоду живших в ладу стариков к тем размолвкам, во время которых запальчивый отроду дед подымал такую пыль до потолка, хоть, бывало, святых вон из дому! Кончались эти междоусобные стариковские перепалки всегда одинаково: бегством раскипятившегося старика из дому.

Схватив шапку в охапку, пулей вылетал он вон из избы и с такой яростью хлопал тяжелой дверью, что весь дом

при этом как бы передергивало судорогой и в горке заговаривала посуда...

Таким же поспешным бегством из дому и громовым ударом избной двери покончил Максим Дементьевич и нынешнюю перепалку с Аксиньей Григорьевной, ставшей было пенять ему за то, что зря он втравил Мишатку в опасные разъезды с Иваном. Именно из-за этого и разгорелся сыр-бор в этот выюжный февральский вечер в жигаловском доме. Но, как правило, в бегах находился старик недолго. Через каких-нибудь полчаса он возвращался как ни в чем не бывало домой и вел себя потом тише воды, ниже травы, даже заискивая перед малоподатливой в таких случаях на скорое примирение старухой...

Так было всегда. Но сегодня залился куда-то старик надолго. Бил час за часом. А дед не появлялся с былой повинной ухмылкой в доме. И Аксинья Григорьевна, вслушиваясь в холодивший душу шум метели за окнами, стала подумывать с опаской уже и о том, не занесло ли его, старого черта, вгорячах куда-нибудь в степь, за окраину потонувшего в белой мгле поселка. Пропал тогда взбалмошный старик из-за пылкого своего норова ни за грош, ни за копейку. Этой только заботы не хватало ей нынче!

Пробило половину одиннадцатого. А Аксинья Григорьевна продолжала сидеть в одиночестве в тихом, будто вымершем доме. Проворно работая стальными спицами, она вязала из поярковой шерсти чулки внуку Ване, то с замирающим сердцем прислушиваясь к примерещившемуся говору сыновей у заскрипевших ворот, то пытаясь разглядеть что-нибудь в занавешенном выюгой окошке. Младшая из снох Марья, усыпив годовалую свою дочку Настю, тут же отыскала заделье сбегать на часок по соседству к золовке Лидии и, видать, заболталась там, горюя на пару с жигаловской дочерью про своих мужей — шоферов, бог знает где и как проводивших эту бедовую ночь в дороге... Запропастился нынче где-то, как на грех, и Ваня — обязательный ночевальщик в теплом дедовском доме. То ли мать не отпустила его, глядя на такую пургу, то ли в кино опять, поди, улизнул без спросу!

И все-таки это было еще полбеды. Главная беда была там, в зловеще воющем и рокочущем море степи, где накрыла эта грозная ночь пятерых жигаловских братьев и двух их зятьев, не успевших вовремя вернуться из рейсов. Одни из них возвращались на тракторах с прицепными цистернами горячего с ближайшей к совхозу железнодоро-

рожной станции, другие — из областного города на загруженных кооперативным товаром машинах.

Трактористов поджидали в зерносовхозе еще в полдень, шоферов — ближе к вечеру. Но ни те, ни другие не вернулись и поздно, хотя дирекции совхоза было уже точно известно, что все их трактора и автомашины находились со второй половины дня в дороге. От станции Булаево до совхоза перевалило за полста километров. До города не укладывалось и две сотни. И теперь уже всем было ясно, что ни те, ни другие не могли засветло добраться до дому, и, видимо, застигнуты ночным ураганом где-то на полпути. Маловероятно было и то, что они, пережидая снежную бурю, найдут приют в каком-нибудь ауле или поселке, — их почти не было на этих целинных зимних трассах, пробитых в глубоких снегах бульдозерами, для краткости, напрямки.

В эту ночь не находили себе места не только Аксинья Григорьевна и все матери и жены попавших в беду механизаторов. Беспокоились директор совхоза Павел Иванович Тетерин и парторг Иван Иванович Глушенков. Немало поломав с вечера головы над тем, как помочь без вести пропавшим в ночной пурге людям, директор с парторгом в конце концов рискнули отправиться вдвоем в разведку по станционной трассе на лихом своем «козле-вездеходе». Но, пробуксовав около трех часов вблизи центральной усадьбы, они вынуждены были бросить автомашину и едва сами потом добрались наугад до камышитовой хатки сторожа совхозной нефтебазы. Там им пришлось и отсиживаться, к тревоге домашних, всю эту долгую колготную ночь, поддерживая невеселый свой разговор под разбойничий свист и разгульное гиканье вконец разнуждавшейся к полуночи вьюги.

Тревога же Аксиньи Григорьевны за судьбу строптивного своего старика оказалась напрасной. Хоть довольно и поздно, но Максим Дементьевич благополучно явился в этот вечер домой, да к тому же еще, невзирая на поздний час и неслыханную пургу, приволок с собой и внука Ваню.

При виде бодро ввалившегося впереди деда в дом, закутанного в допотопный ямщицкий башлык, похожего на живой снежный ком внука, Аксинья Григорьевна, ахнув от изумления, бросилась к нему. Наспех обметая полынным вешиком обильный снег с дубленой детской шубенки и нетерпеливо распутывая дрожавшими, старчески-негибкими

пальцами стянутые в тугой узел за спиной внука концы дедовского башлыка, старуха даже и думать забыла в эту минуту про топтавшегося около деда и не сразу заметила, что тот выглядел бодрее бодрого и был порядком на-веселе.

— Вот оказия! Вот какая мне с вами оказия! — ворчливо бормотала Аксинья Григорьевна, пособляя раздеваться шумно сопевшему и по-стариковски кряхтевшему внуку. — Ну, наградил меня бог семейкой! Вот так всю жизнь, отроду один только грех с вами. Одно горе луковое. Одна моя печаль. Не с тем, так с другим. Удались же все одного поля ягоды. И сынки в родимого батюшку. И внуки в деда! На дворе такая погибель, добрый хозяин собаку за ворота не выпустит. А они нашли время по поселку вдвоем шататься!

— Это только деда маленько шатало. А я ничего, — поняв бабушку по-своему, сказал Ваня и сразу же прикусил язык, перехватив на себе броский, недобрый взгляд втихомолку показавшего ему увесистый кулак деда.

Но, не заметив и этого, Аксинья Григорьевна продолжала ворчать:

— Хоть годами врозь, зато умом ровня. Что старый — то малый. С того и с другого один спрос... Тут про одних вспомнишь, душа — в озноб, сердце — на мелкие части! Так уж те хоть теперь не вольны оградить себя от лихой беды в пути-дороге. Там край, нужда — не потеха. А вас, бродяг, таскает где в такой содом какая неволя?! На улице ни зги. Здесь на душе потемки. Голова от дум про ребят колесом. Только вот про вас еще, двоих полуношников, не хватало горя мне горевать да грешить с вами на ночь глядя.

— Про нас нечего горевать. Мы что — неживые?! — с ходу рывком сдергивая с простенка свою балалайку, вполголоса сказал Ваня.

Между тем, пока Аксинья Григорьевна продолжала незлобиво ворчать, Максим Дементьевич, воровато затаив предательски припахивавшее бражным душком дыхание, все ж изловчился, проворно раздевшись, неслышно прошмыгнуть мимо старухи в горницу. Здесь он, предусмотрительно задунув в привернутой лампе неверный, слабо мерцавший огонек, притих, пристроившись спиной к пылавшей жаром лежанке. Беспечно переминаясь с ноги на ногу, он думал теперь только о том, как бы это перехитрить ему старуху и, не выдав перед ней изрядного своего хмелька,

вовремя убраться подобру-поздорову с внуком на полати. По горькому своему полувековому опыту он знал, что сделать это ему будет нелегко. Однако, притаившись в темной горнице, он с хмельной наивностью полагал, что ему удастся на этот раз отмолчаться и уйти от греха.

Ваня тоже норовил всей душой прикрыть перед придирчивой бабкой грех деда. Внуку было жалко присмирившего старика, и, зная про дедовскую слабость к игре на балалайке, поспешил утешить, как мог, Максима Дементьевича. Шмыгнув в горницу, Ваня с балалайкой примостился на сундуке. Сначала для розыгрыша он с притворным равнодушием потренькал что-то свое по нежно-отзывчивым струнам, а потом как бы невольно перешел на любимый дедовский наигрыш и негромко запел под бойкий повтор своей балалайки по-детски прозрачным, как степной родниковый ручей, голосом:

— Солдатушки, браво, ребятушки!  
А где же ваши хатки?  
— Наши хатки — белые палатки,  
Вот вам наши хатки!

Волна жаркого света хлынула к дрогнувшему стариковскому сердцу Максима Дементьевича, и тугой комок подкатил к его горлу при звуках этой бывалой бравой солдатской песни. Не сдержав себя, позабыв про былую бость перед старухой, лихо притоптывая обутой в шенной чулок ногой в такт ритмичному втору внуком балалайки, дед, крикнув для храбрости, прихватил молодежь баском в лад светлому голосу Вани:

— Солдатушки, браво, ребятушки!  
А где же ваши деды?  
— Наши деды — славные победы,  
Вот где наши деды.

Пока пел, ладно потренькивая на балалайке, один Ваня, Аксинья Григорьевна, возившаяся у шестка с подогревом заглохшего самовара, с душевной кротостью прислушивалась к залиvistому, как подорожный бубенец, голосу внука, и бойкий наигрыш его балалайки умиротворяюще согревал студеную от тревоги за судьбу сыновей, сумеречную от скорби и страха за них ее душу. Но удалой басок деда, молодежато подхватившего эту орлиную русскую песню, насторожил совсем смягчившуюся было сердцем старуху. И она, заподозрив неладное, метнулась из кухни в горницу.

При появлении бабки в растворе шумно распахнутых

горничных дверей Максим Дементьевич умолк, и только Ваня продолжал с независимым видом бодро отрабатывать свой полумаршевый-полуплясовой наигрыш.

Дед же тем временем, хитровато прищуriv глаза, стал исподтишка, настороженно присматривать за суетливо закопавшейся около погашенной лампы старухой. От соседства жарко натопленной горничной лежанки, от душевного возбуждения, какое всегда порождала в нем — даже стрезва — эта песня, старика вдруг совсем разморило.

Максим Дементьевич понял, что забудоражившейся в нем бесовской прыти от дотошной старухи теперь уже не скрыть, да и охоты к тому же не было. Выбор же у него в таких случаях бывал короток: или посильная оборона, или лобовая атака. Это в прямой зависимости от поведения темной для него в эту пору на разгадку старухи.

Наконец Аксинья Григорьевна зажгла лампу, взяла ее и, приподняв над головой, осветила горницу. Бросив мимо-летний взгляд на присмирившего внука, она затем перевела пытливо прищуренные глаза на деда. Вытянув руки по швам, сомкнув пятки вместе, носки — врозь, он «ел» немигающими, позеленевшими от хмеля глазами старуху, как какого-нибудь унтер-офицера в старое время на армейском параде. Выцветшая от стирки светло-синяя сатиновая рубашка, расстегнутым воротом и короткими рукавами странно обрамляла не только всю его собранную от выправки фигуру, но и побагровевшее от напряжения и хмеля строгое, почти суровое в окладе седин лицо.

С минуту оба они — Максим Дементьевич и Аксинья Григорьевна — молча, в упор смотрели немигающими глазами друг на друга, не то взаимно испытывая обоюдную волю, не то втайне печально любуясь друг другом...

Наглядевшись на не оробевшего под ее пристальным взглядом деда, Аксинья Григорьевна, так и не проронив ни слова, а только горько вздохнув про себя, тотчас же вышла прочь.

То был дурной знак.

Это понял вместе с нахмурившимся, как туча, дедом и приунывшим Ваня. Не к добру замолчала в такую минуту бабка, громыхая без видимой нужды не в меру громко то самоварной трубой, то кочергой, то печными заслонками. Старуха стойко отмалчивалась. А Максима Дементьевича, как назло, подзуживало к разговору — худому там или доброму, — это ему сейчас все равно!

— А ты, что, тоже воды в рот набрал, Иван? А ну, да-

вай сыграй мне «В той башне высокой и тесной царица Тамара жила»!

И вмиг оживившийся внук, словно перехватывая на лету, как выпущенную из рукава синицу, другую любимую песню деда, ударив по струнам, запел с озорной ребяческой страстью:

— Прекрасна, как ангел небесный,  
Как демон, коварна и зла!

Метель билась под окнами дома подстреленной птицей. Казалось, будто скакала мимо в ночи тройка пролетных свадебных поездов. Визг полозьев возков и кошевок сливался с хмельным от русской удали ямщицким свистом, с подстрекательским ревом и гиканьем изрядно подвыпивших дружек, со вздорной перебранкой и надрывным хохотом слитых из чистого серебра бубенцов!

Временами грозно, с глухим, мрачным надрывом начинали гудеть печные трубы, как гудят, наверно, корабельные снасти и мачты в штормовые ночи в открытом море. И вдвойне печальнее и нежнее звучали в такие минуты бесхитростные струны старой балалайки.

Неизвестно, как долго бы молчали в этот вечер жигаловские старики, не погодись ко времени сноха их Марья, допоздна засидевшаяся у своей золовки. Всегда одинаково оживленная и разговорчивая, она шумно влетела в дом. Отряхиваясь, она с девической непосредственностью и беспечностью смеялась не то от того, что жесткий, колючий снег набился ей даже под кофточку, не то — просто так, радуясь тому, что, перебежав наугад, как слепая, сгинувшую в ночной пурге улицу, она была теперь дома!

— Не стихает? — спросила сноху свекровь, чувствуя бестолковость своего вопроса.

— У-ууу, мамаша! Не приведи бог. Не метелица — суший ад. Дух захватывает. Хуже землетрясения! — почти с восторгом живо откликнулась сноха. И, с разбегу примостившись в кути на лавке, зачастила-затараторила, не переводя дыхания:

— А мы только сейчас судили-рядили у Лиды про нашу бедовую свадьбу с Ваней. Не успели, говорим, брачного пира отпировать, как в дорогу! Вы же знаете нашего Ваню?! Задумал — вынь да положь! Загорелся — трем пожарным командам справиться с ним не под силу. И вы сватал меня, дуру, на вечерке за полчаса. И поженились за сутки. Не свадьба была — пожар!.. А тут, не успела

опомниться, полетели с ним сломя голову на край света! Да едва на тот свет прямым сообщением из-под венца мы с ним не угадали...

— Венцы-то хоть, матушка, тут ни при чем. Нынче всех вас, как каких-нибудь там баптистов, скороспелые писаря по своим казенным обрядам венчают,— сказала, вздыхая, с грустной усмешкой свекровь.

— Ну, про венцы я это просто так, для красного словца сболтнула, мамаша...— отмахиваясь с веселым отчаяньем рукой, сказала без тени смущения сноха и продолжала частить к тайному душевному удовольствию притворно равнодушной к ее болтовне свекрови:

— Ух, что было, что было — страсти! Как вспомнишь про эту — завей горе веревочкой — нашу поездочку, голова вокруг, мурашки по телу... И как это только мы с ним, бедовой головушкой, выдюжили тогда, выжили — не пойму. Расскажи мне про все это другая такая же, вроде меня, говорунья-бабенка, отроду бы не поверила. Да и мне-то не ахти как верили. Как это так, придираются, провести двое суток в крошечную снежную бурю в глухой степи и не замерзнуть? Без харчей? Без глотка воды?! В одних телогрейках на рыбьем меху?! Вдвоем в кабинке?! Ну, врать, Марья, ври, ври, мол, да шибко не завирайся! Я и сама теперь, убей бог, не знаю, как мы живьем до вагончиков тогда добрались. Ну, да это же все ведь он, Ваня. Без него поминай бы теперь, как меня Марьей звали! Да и самосвал, спасибо, был у нас с ним новехонький: кабинку не шибко насквозь продувало... Двое суток дурела в степях пурга — свету белого было не видно. И, скажи, отсиделись ведь, хоть бы что! Отхоронились в снегу, как какие-нибудь там несчастные косачи или куропатки...

От стужи, от тоски, от страха сердце заходит. А он сидит рядом и черт-те что городит. Припомнил, как в прежние времена, говорят, графья и графини прямо из-под венца путешествовать по морям в иные земли бросались. Вот и ты вообрази, мол, сейчас себя, Маруся, какой ни на есть графинею, сударыней-барыней, а меня — своей ровней по знатному роду. У меня, говорит, и фамилия для этого дела вполне подходящая — граф Жигалов! И свадебное путешествие у нас с тобой удалось, дескать не хуже, чем у каких-нибудь старорежимных графских молодоженов — на славу.

Чем тебе матушка-степь в пургу не бурное море?! Да и в кабине у нас, что в твоей корабельной каюте. Только и осталось запеть тебе, Маня, теперь про меня благородным

голосом: «Ты правишь в открытое море, где с бурей не справишься нам. В такую шальную погоду нельзя доверяться волнам!»

— Черт им не доверялся! — прозвучал из горницы ворчливый, с хрипотою голос, видимо, втихомолку прислушивавшегося к рассказу снохи свекра.

Но упоенная самозабвенной своей болтовней Марья, должно быть, не расслышала произвольного отклика старика и, неярко улыбнувшись чему-то, со вздохом сказала:

— Ой, да мало ли что не наплел мне он за двое этих суток — всего не припомнишь! И смех и грех мне с ним чисто!

И при этих словах она так же внезапно умолкла, замкнулась, ушла вдруг в себя, как и разговорилась. Невеликая ростом, гибкая и упругая, как ракиновый прут, с хрупкими, худенькими плечами под наивно-голубенькой фланелевой кофточкой, с тугой, в три ручья заплетенной пшеничной косой до пояса, молодая жигаловская сноха совсем не походила в эту минуту на возмужалую замужнюю женщину — мать годовалой Насти. Что-то девичье сбереглось еще в юном, точно только что умытом ключевой водою, доверительно открытом ее лице, в быстрых, ясных и чистых глазах под трепещущими, будто от слабого дуновения, пушистыми ее ресницами.

Рывком сдернув с кухонной полки решетку с поярковой шерстью, она быстро заработала, превращая неприглядные шерстяные ошметки в пышные, как козий пух, хлопья готового для веретенной пряжи руна. Работала она, как и болтала минуту тому назад, полушутя, но с азартным увлечением.

Все молчали.

Вдруг дом будто передернуло от похожего на подземный толчок удара пурги, обрушившей на крышу лавину снега. И Аксинья Григорьевна чуть слышно сказала:

— Ах, как бы хорошо в большой колокол теперь ударить!

— Подай прошение в епархию. Для тебя, может, кафедральный собор у нас в совхозе построят! — вновь прозвучал из горницы на этот раз уже посмелее подковыристый стариковский голос.

— А ты бы, чем втихомолку-то там у печки пыхтеть, лучше признался в открытую, где это так опять насоборовался! — ловко подкусила его старуха.

— Свет не без добрых людей. Привел бог — чуток причастился с устатку...

— Хорош мне чуток. Напричащался, гляжу я, хоть выжми!

— Ну, это ты, матушка, брось напраслину походя на меня клепать. Сегодня я честь по форме! У меня — ни в одном глазу! Да и с чего? С ковшика браги?! Только и было подано сватом Левонтием для пробы... Сват не даст мне соврать. И вот вам еще один свидетель! — проговорил при выходе из горницы приободрившийся старик, легонько подталкивая впереди себя сонного внука.

Марья, заметив, что свекор и в самом деле был явно навеселе, сразу же нашла, чем угодить ему, хорошо уже изучив за полтора года семейной жизни его слабости и повадки. Схватив с шестка распаленный свекровью самовар, сноха поставила его на стол, за которым уселся на свое привычное место — в переднем углу — Максим Дементьевич.

— Вот за это чувствительно благодарствую, сношка. Угодила. Уважила! Попстчуемся с Иваном кирпичным чайком и — на полати. На боковую. До утра — прямым сообщением! — сказал, приятельски подмигивая пригорюнившемуся внуку, дед, принимая из рук снохи чашку чая.

Вечернее чаепитие за домашним столом всегда располагало Максима Дементьевича к благодушию, к доверительно-мирному разговору.

Подвыпив, Максим Дементьевич любил прихвастнуть былой своей удалей, нынешним достатком в семье, красотой своих дочерей, бравыми сыновьями, бойкими снохами, работающими зятьями и достойными жигаловской породы внуками. Любил он покалякать за чашкой чая в зимний вечер в семейном кругу и про разную побывальщину из истории своей некороткой, не раз бравшей его в тугой переплет жизни-мачехи.

В роду Жигаловых все были неплохими рассказчиками. Даже снохи — и те горазды были поболтать на досуге ладно подвешенными языками про всякие были и небылицы, и их полувыдуманные, вздорные иной раз побаски слушали в жигаловском доме все с раскрытыми от удивления ртами.

Но Максим Дементьевич в его рассудительных речах или присказках был из всех в отличку. Его рассказ всегда выслушивался жигаловскими домочадцами с одинаковым живым интересом. И только одна Аксинья Григорьевна, свысока относясь к старику, делала вид, что ее не смешат,

не удивляют, как прочих, его истории и потому часто не к месту перебивала его насмешливым окликом или ехидным спросом, чего Максим Дементьевич не выносил, отвечая в таких случаях презрительным отворотом от старухи.

Та же самая песня сложилась между стариками и на этот раз. Звучно отхлебывая из блюда горячий чай, Максим Дементьевич, на секунду прислушавшись к шуму ночной метели, сказал, ни к кому не обращаясь:

— Вот разбушевалась — ни узды, ни вожжей — гужи рвет матушка! От одного ее реву язык к зубам примерзает... А в городе Самарканде, поди, теперь жарница — бани с паром не надо! Был я там в одно прекрасное время. В аккурат в феврале. Ровно об эту пору. Знаю, какой там райский климат. Попрел в нем. Попарился! В сорок шестом это было, мать? Ну да. Так точно. Ведь тебя у нас в сорок шестом году Советская власть в генералы от инфантерии произвела: героическим орденом за одиннадцать сорванцов наших наградила. Так?.. Ты слушай, Марья, что тут дальше было — потеха! За войну-то моя генеральша с шестью едоками горького хлебнула до слез, и пообносились все тут они без меня. Правда, деньжонки у нас к той поре поднакопились — у добрых людей не занимать! За одного Мишку моментальную премию в пять тысяч целковых как одну копейку чистоганом сполна от райвластей получили. А там — плюс к тому — и за остальных некоторых меньших орлят тыщенки по три в год из казны нам перепадало. Тут обижаться ни на власть, ни на бога не приходилось. Правильно, мать, говорю?

— Тебе говорить — что вперекрест бороться! Только загода толку не дашь, к чему клонишь, — прикрывая ленивый зевок ладонью, сказала Аксинья Григорьевна, даже и не взглянув на мужа.

— А к тому самому, матушка, что деньжонки-то у нас с тобой по тем временам хоть и водились, а в ситчишке и прочем одежном товаре была в ту пору в народе большая нужда. По крайности в нашей местности. В Сибири. За другие края ручаться не стану... И тут до чего, думаешь, дело дошло, Марья? А прямо-таки до полной потехи. Грех утаить, смех вспомнить. Забросили, значит, как-то в наш культмаг карты всех частей света. Ну, месяц они лежат в штабелях — без толку. Другой — без внимания. И вдруг в одно прекрасное утро бабы за этими картами — в драку! Осадили чуть свет магазинишко — приступа нет. Допахались до этого культтовара наши свистухи — и айда, не по-

веришь, рвать его нарасхват. Одна вырывает из рук продавца Европу. Другая — Америку. А которые нахватили под шумок в одни руки сразу по пяти частей света. Что такое?! Угорели бабенки?! Тут в райцентре переполох. Милиция — живо на ноги. Прихватили для пристрастки троих резвых сударок с этим товаром и — на допрос. В чем дело? Отвечайте, гражданки, по протоколу! Те — туды-сюды. Видят, деваться некуда. И отрапортовали. Корысть-то оказалась у баб совсем не в этих культурных картах, а в подоплеке!

— Как это в подоплеке, папаша? — нетерпеливо перебила свекра не спускавшая с него широко раскрытых синюющих глаз сноха.

— А очень даже просто, сударыня. Ведь они, карты-то эти, только с лица бумажные, а с изнанки матерчатые. Там бязь — я те дам! Нужда, говорят, заставит калачики есть всухомятку. Ну, наши сибирячки и додумались из этой бязи исподнее бельишко кроить. Отмочут это, к примеру, Европу, в корыте. Бумага раскиснет. Ее — как шурум-бурум — наотмашь, а материал — в дело. Простирнут, просушат бабы эту самую бязевую изнанку и — на раскрой. Далеко ходить не надо. Я сам лично такие бязевые подштанники — вот и мать не даст соврать — с нашим почтением износил. Только теперь за давностью не припомню: из какой части света ты тогда их смастерила мне, матушка?

Марья при этих словах свекра, прыснув от смеха, уронила на стол голову и залилась. Даже с Вани будто ветром сдуло в эту минуту всю былую дремоту, и он, глядя на Марью, тоже раскатился — горох горохом. А Аксинья Григорьевна, боясь не сдержаться от неуместного, по ее разумению, смеха, махнув с деланным пренебрежением на разболтавшегося старика рукой, поспешила укрыться в темной горнице.

Старик же, будто не замечая всего этого, продолжал свой рассказ без всякого намека в его лице на шутку или улыбку:

— Ну, бязь там бязью. Для низиков она, допустим, и хороша. А вот шаровары, скажем, шить из такой сквозной материи не шибко сподручно. Да и к тому же обратно карт на нашего брата не напасешься! И тут получил один нашеньский житель письмо от своего племяша из города Самарканда. Тот — это в ответ на дядин запрос — строчит ему в этом письме черным по белому, что мануфактуры там у них завались! И всякого ситцу прорва. И сатину —

бери не хочу. А про верхнюю одежду, доносит, даже и калякать, мол, охоты нету. Этого добра в здешних магазинах невпроворот. И все это, главное, нипочем! Ладно. Обсудили мы это срочное донесение по-соседски. Видим, это нам на руку! И решили махнуть в Самарканд артелью. Собрались вшестером. Все мужики бывалые. Тертые. Со смекалкой. А главное, у каждого семеро по лавке и плюс девки на выданье. Всех обуй и одень!

Сборы были недолги. Подсушили старухи нам сухарей. И мы дуй — не стой — в дорогу. В Омске, когда на поезд садились, морозишка жал правильный — в сорок три градуса. Из труб — дым столбом. На Иртыше лед трещал. Не дыхнуть. Ну, нам это не в диковинку. Сибиряков сорока градусами не скоро проймешь. А если все мы к тому же, имейте в виду, в новых пимах и опять же в дубленых полушубках — с иголки, то к нам и совсем никакого приступа нету!.. Хорошо. Мороз — это полбеды. Ты попробуй на поезд с билетом в городе Омске сесть — вот где заковыка. Ну, мы, стреляные воробьи, держались тут начеку. Заголя облюбовали вагон, вполне подходящий к нашим сквозным сидячим билетам. И как только посадку ударили, мы не замешкались. Ртов разевать не стали. Прорвались на ура куда было надо. Пассажиров — Черное море. Волей-неволей приходилось тут транспорт штурмом брать! Первыми на плечах передних в вагон ворвались. Захватили с ходу своей артелью места, которые там покраше. Уселись покрепче. Тут — не за долгим делом — и свисток к отправлению. И покатили мы по путям сообщения.

Марья и Ваня, перестав смеяться, глядя во все глаза на побагровевшее от обильного чаепития лицо деда, готовы были закатиться в любую секунду от озорного, взаимно подзадоривающего смеха. А Максим Деметьевич, осушив девятую чашку, осторожно перевернул ее над блюдцем вверх дном. Затем, смачно чмокнув губами, расправил усы и, немного помешкав для куража, продолжал:

— Прибываем мы в город Самарканд ровно через семь дён. А там — здравствуйте, я вас не узнал — урюк в цвету, и жара, хоть впору венником парься! Почти те же самые градусы, что у нас в Омске, только на этот раз — с плюсом! Попали, глядим, мы из огня да в полымя с марша. Ну, деваться некуда. Назвались груздями — полезай в кузов! Полушубки мы, правда, скинули на постое с плеч. А вот пимов нам снимать было никак нельзя, потому что у каждого в этих пимах под стельками — свой капитал. Не станешь

же в дальней дороге деньги хранить по карманам! Так и пришлось страдовать нам пять дён в этих пимах в Самарканде, пока не набили мы барахлом своих крапивных мешков. Набрали всего вдоволь: сатину и ситца, суконных шаровар и миткалевых штанишек для своих ребятишек... За день-то, бывало, находишься по базару, а к вечеру ноги — хоть отрубай, а самих — выжми! А тут к тому же все заросли волосом, как собаки, — домой срам показаться! Ну и надумал я накануне отъезда восвояси примолодиться. Как-то отбился я к вечеру от своих мужиков и сунулся в первую встречную цирюльню — прикинуть на всякий случай, почем там стригут и бреют. А мы, намотайте на ус, к той поре уже порядком поизрасходовались на всякий шурум-бурум, и капиталу у нас осталось почти в обрез на обратные билеты. Ладно. Только я сунулся было в эту цирюльню, а меня один бойкий узбек цоп за рукав и — в кресло. Не успел я и рта открыть, а он в момент спеленал меня всего, как какое дите, в простыню, и айда по башке без спросу строчить стригальной машинкой. Тут я все-таки изловчился справиться насчет цены. А он мне вежливо говорит: сиди, мол, смирно, раз сел. Не верти головой. У нас, дескать, все по таксе!

— Как?! — поспешно спросил, не поняв деда, внук.

— Такса — твердая цена, значит, — деловито объяснил дед внуку. — Хорошо, думаю. Один конец. Валяй по таксе!.. Сижу — обратно как какой-нибудь министр. Зеркала — во всю стену! Не прошло, может, и пяти минут, как обработал крутой на руку узбек мне башку наголо — под ноль. Смотрю я на себя в громадное зеркало — турок турком! Одного теперь опасаясь. Как бы, полагаю, вгорячах он и бороды не снес подчистую своей стригальной машинкой. Ну, нет. Бог миловал. Подаккуратил только ее слегка с углов и припушил расческой. А потом голую-то башку давай шпарить мне сунутым в кипяток полотенцем. Тут я чуть не взревел. Ну, стерпел. Скрепил сердце. Черт их знает, может, у них обычай в цирюльнях такой, а мы, люди заезжие, должны, думаю, уважать чужие порядки!.. Погодите смеяться, ребята. Слушайте, что было дальше. Только было я чуток отдышался после этой припарки, а цирюльник давай за всем тем поливать меня, как из пожарной кишки, дикалоном. Тут я снова свету невзвидел! У меня без привычки к этому зелью морда огнем горит и глаза дерет, как от мыльной пены, а он — знай свое — со свистом меня полощет!

И Марья и Ваня, упав на стол, уже икали от смеха. А дед по-прежнему строго, без малейшего намека на улыбку и шутовство, продолжал рассказ:

— Натерпелся я в этой цирюльне — черти меня туда занесли! Да дело еще не в одних страстях. А вот как дошел черед до расчета, будь у меня прежние лохмы на голове — выиграли бы они в тот момент дыбом!.. Подаю это я на прощание востренькой барышнеше в стеклянный скворечник четвертную вместе с квитком, а она мне — швырк всего-навсего семь целковых на сдачу. Отрубил, как отрезала и — концы в воду! Я — в амбицию. Это, извиняюсь за выражение, что значит, барышня?! Тут она перечеркнула меня крест-накрест синичьими глазками да только и шлепнула на помаженными губами: «Такса!» У меня от этого ее шлепка зуд по телу пошел. Вот это, вижу, обмолодили меня — кругом рубль двадцать! Ну, что будешь делать? Пенять некому. Не приценился — сдуру как с дубу — вовремя, теперь поздно локти кусать. Сплюнул я в сердцах под порогом цирюльни и — подай бог ноги — на постой.

— Ну, это уж вы, папаша, поди, маленько перехватили — восемнадцать рублей за стрижку! — усомнилась сноха, блеснув полными слез глазами от неумного, похожего на рыдания смеха.

— Ах, жалкую, моих артельщиков рядом со мной в нашем совхозе нету. Они бы не дали мне соврать! Слушайте дальше. Встретили они меня, и рот — нараспашку. Лупят на меня zenки и вроде бы даже и за земляка не признают. Глядят, что такое с нашим Максимом? Башка, как у турецкого султана, — арбуз арбузом. А борода — как у русского императора. И дикалонный дух от меня — за версту! Ну, потом пригляделись — свой. И привязались ко мне — отступу нету. Где это тебя, землячок, так отделали?! Я бодрюсь. Где же, дескать, как не в самаркандской цирюльне! Пожалуйста. Рядом с нашим постоем. За угол — налево. По таксе работают. Совсем, можно сказать, ничем! Те полюбовались на меня оттуда-отсюда, и сами — всем аюром туда же!.. А не за многим спустя смотрю, ворочаются — туча тучей. Я прикинулся простачком. Что это вы, мол, с лица молодежывы стали, а не шибко веселы, земляки? А они мне в голос — свое. Вот отволтузить бы тебя за эту твою цирюльню, чтобы ты до города Омска не откряхтелся! Я — в удивленье. Это за какие грехи, сибиряки?! Ну, они обратно в голос ревут — за таксу, окрестили нас без мало-

го по два червонца с головы. Ах, разбойники, креста на них нету! А я всего трояком отыгрался!..

— Хватит, хватит тебе, мельница, без ветру молоты! И парнишке давным-давно на полати пора. И другим от тебя ни сна, ни покою! — властно перебила старика Акси́нья Григорьевна.

Крякнув, Максим Дементьевич притих. Притихли, перестав смеяться, и Марья с Ваней. Сделав вид, что смутила его не старуха, а будто вдруг озадачило нечто другое, что припомнилось ему за окном, дед, наострив ухо, украдкой наблюдал одним глазом за поведением старухи. А та, вновь сердито загромыхав в кути разной кухонной утварью, продолжала пенять деду:

— Нашел время пиры пировать да лясы точить на ночь глядя! Нет, чтобы о ребятах погоревать,— как они в такую пору где-то в степях теперь бедуют...

— Гореваньем в беде не поможешь, мать. Это раз. Второе, ребята у нас с тобой не робкого десятка. Не без головы на плечах. Одним словом — Жигаловы! Вот вторая моя тебе отповедь, матушка. Третий мой сказ и того короче. Прежде времени не помирай. И в неурочное время беду не каркай. В-четвертых, марш, Иван, на полати! Да и всем пора на покой. Утро вечера мудренее! — строгим, рассудительно-трезвым голосом заключил, подымаясь из-за стола, Максим Дементьевич.

Марья засуетилась, прибирая со стола самовар и посуду. Ваня, отчего-то вдруг по-стариковски горько вздохнув, полез с молчаливой покорностью на полати.

— Спи, спи, мой сударушка. Завтра отца встречать побежишь,— ласково сказала внуку Акси́нья Григорьевна.

И спустя недолгое время в доме Жигаловых наступила тишина. Привернув в лампе огонь, Акси́нья Григорьевна прилегла на свое привычное место в горнице — лежанку. Часы пробили полночь. И опять эти звуки, похожие на удары далекого, приглушенного выюгой колокола, разбередили душу старой матери своим тревожно-призывным напевом. Сон был далек от Акси́ньи Григорьевны. И как только она закрыла глаза, тотчас же все пятеро ее сыновей явились перед ней, и она вздрагивала, испуганная этим полувялым в минутном ее забытии видением...

Максим Дементьевич, кряхтя и беспрестанно ворочаясь на полатах, тоже не спал. Акси́нья Григорьевна, прислушиваясь к его возне, понимала, отчего не спится в эту грозную ночь и ему. И втайне она уже теперь жалела о том,

что не сумела давеча вечером смириться сердцем со стариком и вызвать его к душевному разговору. Невдомек ей было то, что Максим Деметьевич хотел отвлечь своей болтовней и ее, старуху, и легко податливую на слезы и смех сноху от невеселых их мыслей про судьбу близких людей, неведомо где и как коротавших эту व्यюжную ночь в дороге...

Крепким сном праведных спали в эту ночь в доме Жигаловых только горестно собравшаяся под байковым одеяльцем, похожая на девчушку Марья, бойко чмокавшая во сне губешками, разметавшаяся в жаркой люльке ее дочка Настя и прижавшийся к теплomu дедовскому боку Ваня.

А наутро, проснувшись, Ваня глянул в ярко залитое утренним солнцем окно. Метели как не бывало. И Ваня подумал, может быть, он видел ее во сне! Кубарем скатившись с полатей, он заглянул в куть и в горницу. Везде было пусто. Даже Насти — и той не было в люльке. Расторопно засунув босые ноги в хорошо просохшие за ночь валенки, наспех натянув на плечи заскорузлую свою шубенку, Ваня нахлобучил набекрень лохматую заячью шапку-ушанку и стремглав вылетел на улицу. На дворе было так нестерпимо светло, что Ваня зажмурился. А когда снова открыл глаза, то у него голова закружилась от сияния и блеска огромных снежных сугробов.

Орленок, большой, похожий на белого медвежонка пес, увидев Ваню, скатился с вершины сугроба ему под ноги и давай крутиться, бросаясь в рыхлый снег, глубоко зарываясь в него своей скуластой, увесистой мордой с черным замшевым пятачком тупого носа и добрыми, полными озорства и преданности, бойко зыркающими глазами.

Крикнув Орленка, Ваня выбежал с ним за ворота и, увидев в конце улицы на окраине поселка большую толпу народа, бросился туда. Подбежав поближе, Ваня увидел и деда с бабкой, и Марью, державшую на руках закутанную, как куклу, Настю. Тут же была и Ванина мать с его пятигодовалым братиком Санькой.

Люди стояли стеной на гребне большого сугроба, и все смотрели в одну сторону — в степь. Когда Ваня с Орленком тоже вскарабкались на вершину сугроба, Максим Деметьевич, увидев внука, весело крикнул ему:

— Чуть-чуть не проспал отца, засоня!

И Ваня, подбежав к деду поближе, только сейчас увидел, как из степи медленно двигались в сторону централь-

ной усадьбы гусеничные трактора, а за тракторами — грузовые машины.

Еще чуть свет, как только внезапно стихла под утро эта небывалая на памяти степных новоселов и старожилов снежная буря, навстречу пропавшим в дороге путникам из совхоза вышли на тракторах и бульдозерах поисковые партии механизаторов. И всем уже было известно, что шоферы и трактористы, застигнутые шальным ураганом в пути, с мужеством, достойным сказаний и песен, благополучно прокоротали ночь в открытой степи.

...А на исходе этого на редкость погожего, пронизанного изумрудным сиянием и алмазным блеском, умиротворяюще короткого февральского дня собралась в стариковском жигаловском доме вся немалая и неспрадная семья. Не ахти велик дворец-пятистенник! Но под надежной отчей кровлей сыновья и дочери, снохи и зятя находили тут свое заветное, чем-то полюбившееся каждому из них место.

Вот и в этот вечер, собравшись на родительский огонек, все жигаловское потомство чинно расселось по своим привычным местам. Сам Максим Дементьевич сидел, как всегда, в переднем углу, под божницей. Аксиныя Григорьевна — чуть поодаль от него, на лавке поближе к кухне. Дети же усаживались напротив, и старикам хорошо были видны их лица.

Аксиныя Григорьевна не сводила глаз с сыновей. Крепко сбитые, коренастые, один другого шире в плечах, русоволосые и чубастые, они все как один напоминали чем-нибудь отца: то обличьем, то улыбкой, то броским взглядом, то повадками. Но больше всех — это каждому бросалось в глаза — удался в родителя меньшак — Михаил. А на него Аксиныя Григорьевна посматривала почаще, чем на других, ревниво отыскивая и находя в его облике и много такого, что шло уже наверняка от нее.

Еще по-юношески застенчивый и угловатый, Миша выглядел в этот вечер в глазах матери совсем уже возмужалым, вставшим вровень с братьями, повзрослевшим. И было похоже, что все это свершилось с ним за одну только минувшую ночь, проведенную в кипящей снежной пучине степей со старшими братьями!

А Максим Дементьевич, разглаживая тылом ладони усы, тоже задумчиво глядел на сыновей.

Нет уж, как там не грусти, не тай,—  
Все равно зрачок в печали матов,  
Вижу вас, товарищи мои,  
Сквозь огни сражений, сквозь божь,  
Вижу вас и слышу вашу речь  
В сатанинском грохоте и гуле.  
Песней я хочу вас уберечь  
От мятежной бомбы и от пули.  
Песней той, которая не раз  
И в пиру, и в горе, и в тревоге,  
Как подруга выручала нас  
И не покидала в полдороге.  
Верная нам спутница, она  
Никогда ребят не подводила.  
Золотее браги и вина  
Песня о Сибири в нас бродила!

### I

В суровых лесах и скалах далекой Карелии, под огненным небом непокорного Сталинграда, среди первобытного величия древних Кавказских гор — везде и всюду вижу я вас, овеванных пороховым дымом сражений славных моих земляков, верных сынов Сибири!

Вместе мы росли в родимых линейных станицах. Делили нехитрые наши игры, скудные лакомства и неутомимые забавы. Нередко мы спали под одним родительским зипуном, согревая друг друга в студеные вешние ночи на пашне.

Весною в поисках сусликов и стрепетинных гнезд целыми днями бродили мы в привольных окрестностях наших станиц и наизусть изучили каждую степную тропу, и каждую березу, и каждый ракиновый куст близ займища, под которыми искали мы в непогодь надежной защиты. Навеки полюбились нам и бескрайние ковыльные степи, и волгующе мягкий и нежный рисунок смутно синеющих вдаль березовых колков, и обнаженные вершины придорожных курганов, и трубный клич поднявшихся на рассвете с воды лебедей, и ослепительно сияющие под полуденным солнцем посолоневшие от жары озера. Все это было, есть и будет бесконечно дорого, мило и близко нашему сердцу, сердцу горячо влюбленному в землю, вспоившую и вскормившую нас.

Точно буйная поросль окрестных березовых рощ, мужали и крепили мы с вами на сибирском ветру. Прочно стояли мы на земле и росли не подвластными уже никакому граду и буре, написанным нам на роду.

Под сенью простреленных в битвах воинственных прадедовских знамен прошло наше босоное детство.

На благословенных, освященных веками традициях линейного сибирского казачьего войска воспитывалось наше поколение участников Великой Отечественной войны. А по лихим и тревожным воинским песням знакомились мы с историей прошлых походов и войн.

Казачи запоют, бывало:

Ко славе страстию дыша,  
В стране суровой и угрюмой,  
На диком бреге Иртыша  
Сидел Ермак, объятый думой.

А мы закроем глаза и видим: на сотни километров к востоку от Яика — так в древности звалась река Урал — до Иртыша тянется цепь курганов, поседевших от ковыля, редутов и земляных городищ. И воскресают в памяти голубые, поросшие травами рвы крепостей. И встают из тумана пирамидальные вершины дозорных постов, контуры маяков и пикетов Горькой Линии.

Горькая Линия!

По берегам твоих голубых, как весеннее небо над степью, огромных, как море, озер привольно раскинулись станицы сибирского казачьего войска. И память о мужественных сподвижниках Ермака, о воинских доблестях храброй его дружины навсегда сберегли в своем сердце верные русскому оружию старожилы этих станиц.

Вот почему с благоговением и трепетом смотрели мы в детстве и на грозный частокोल оцетинившихся над конницей казачьих пик, и на голубые вспышки обнаженных сабель, и на заплывавшего под всадником белого злого есаульского иноходца, и на стремительные крылья боевых знамен, взмывших над тронувшимися в поход полками, и на крупные горошины материнских слез, упавших в концы кашемирового подшалька в минуту прощания с уходящими на поле брани сыновьями.

В крестном знамении матери, благословлявшей на битву с врагами России сына, в грозном и торжественном шквале песни, поднявшейся перед походом на крыльях полковых знамен, в дробном рокоте кованых конских копыт, в сиянии дедовских седин и регалий — во всем этом впервые вставал перед нашим сознанием ясный, строгий и милый сердцу нашему облик никому не покорной, воинственной и свободолюбивой России.

Россия!

Святым, чистым и светлым было для нас с детских лет имя твое. Мы изучали твою биографию по маршрутам далеких, суровых и трудных походов сибирских казачьих полков, по сражениям и битвам наших предков с врагами отечества нашего времени от времен Плевны до грандиозного Брусиловского прорыва германского фронта в тысяча девятьсот шестнадцатом году. И недаром снились нам в детстве и пустынные поля былых баталий, несметные кавалькады воинских эшелонов, и веселые огни бивачных костров, озарявших пески Туркестана, туманные сопки Маньчжурии, холмы Восточной Пруссии, седые гребни Кавказа, крепостные контуры Перемышля и скалы Карпат.

Величественная панорама обширных владений отечества пастежь распахивалась перед нашим воображением в рассказах и песнях прадедов, дедов и отцов. И по бытующим в станицах сказаниям и древним походным казачьим песням мы на зубок с вами знали названия многих горных долин и перевалов и имена грозных неприятельских крепостей, павших под силой доблестного русского оружия и умноживших славу сибирского казачьего войска. И не количеством праздно прожитых лет измерялась цена длительной жизни наших предков, а победоносными битвами их с врагами русской земли, бранными подвигами и походами этих закаленных в огне штурмов и жарких битв, не подвластных ни воде, ни огню, поправших смерть воинов!

### 3

Кто из наших станичников не сберег в своем сердце теплое, ясное и строгое воспоминание о том, как мы впервые разучивали в детстве походные песни?!

Всем нам помнятся длинные зимние вечера, опрятные горницы с геранью на подоконниках, трогательная наивность убранства из стеклянных елочных шариков и китайских фонариков в простенках, запах жженных луковых перьев — запах семейного тепла и уюта под родительским кровом.

В оранжевом полумраке горницы, неярко освещенной заревом веселого огня, бушующего в печке, сидит на полу гурьба казачат. В центре этой притихшей оравы на табуретке — старик с пышной и чуть золотящейся от огненных отблесков бородой, с бровями, похожими на распластаные орлиные крылья. Мягко притопывая ногой, обутой в

белый шерстяной чулок, и ритмично размахивая рукой, как казачьей нагайкой, в такт песне, запевал он глухим, давно остуженным на походном ветру голосом любимую свою песню:

Чу, не в нас ли палят?!  
Не идет ли супостат?!  
Не в поход ли идти  
Нас заставляют?!

А мы, замирая от восторга, подхватывали вслед за де-дом слова песни, звучавшие, как команда:

Живо стройся в ряды!  
Атаман едет сюда —  
Предстоит нам поход небывалый!

И словно наяву выросал перед нашими глазами воин-ственный всадник.

Прилетел, как буря,  
Наш сибирский атаман,  
А за ним — ординарцы ликие.  
Он коня осадил,  
Черный ус накрутил  
И сказал нам:  
— Здорово, ребята!

И дед, довольный нашей прилежностью в спевке, пристально заглядевшись на ворох догорающих в печке углей, строго и задумчиво говорил нам затем поучительные свои речи:

— Молодцы вы у меня, варнаки! Тот, слышь, не казак, кто души в этой песне не чувствует... А вы с сердцем поете. И голоса у вас злые, каленые, как клинки. И слова — как пики. Орлы, орлы! По песне угадываю: настоящими казаками растете. Наши вы ребята. Сибиряки. Хваты!.. Ну, а вырастете — святых дедовских знамен не срамить! Чести нашего войска в будущих битвах с неприятелем на поле брани не позорить. Вот какая у меня будет к вам, внуки мои, наука!

И, прервав рассудительную речь, он тотчас же скреплял ее заветными словами навсегда запомнившейся нам песни:

Нам — под могильным спать курганом,  
А вам, сыны,— Руси служить.  
И если в битвах с басурманом  
Придется голову сложить,—  
Деритесь так, как ваши деды  
Дрались под знаменем Ермака,  
Чтоб трубный гул вашей победы  
Гредел над родиной века!  
Чтоб руки ваши не ослабли,  
Кромсая головы орды,  
Чтоб лезвием сибирской сабли  
Потомки были бы горды!  
Чтоб ни от пули, ни от пика  
Врагам России не уйти,

Чтоб только смерть при вашем гнже  
Могли в полях они найти!  
И если час пробьет для встречи  
С ордой коварного врага,—  
Пусть каждый ищет места в сече,  
Кому Россия дорога!

#### 4

И час пробил в мгlistый от зноя июньский день тысяча девятьсот сорок первого года.

Казачья Сибирь, издревле свыкшиеся с суровой походной жизнью, с малых лет приученные к невзгодам и лишениям, никогда еще не страшились ни врага, ни бога, ни черта. Сибирский казак всегда и во все времена прежде всего был воином, а затем уже — хозяином своего двора, отцом семьи, женихом, мужем. Ничто личное никогда не заслоняло великого чувства патриотизма: ни родительский кров, ни жена, ни дети, ни любимая. И как бы ни было близко и дорого все это отзывчивому казачьему сердцу, но, если пробил час боевой тревоги, если пала на родину черная тень врага, — в мгновение ока будет оседлан строевой конь. И подтянутый, бравый, на глазах помолодевший всадник вихрем помчится от родимых ворот туда, на пронзительный зов полковой трубы, к взмывшим над кавалерией боевым знаменам...

Так было всегда.

Так было и двадцать второго июня.

#### 5

Навсегда запомнится знойный и ветреный день, когда провозжали сибирские станицы на запад полки своих казаков.

Суровые, строгие, стояли они развернутым фронтом у братской могилы жертвам революции на просторной площади древней нашей станицы.

Много видела на своем веку боевых знамен, готовых к далеким походам и битвам казачьих полков эта открытая всем ветрам площадь!

И вот снова гудела она от дробного гула конских копыт. И строевые кони, грызя мундштуки, нетерпеливо тащевали под всадниками.

И снова здесь были пролиты слезы. Жаркие, чистые материнские слезы. Но не признаком слабости или малодушия служили они в этот час, а источником мужества и решимости для сыновей, вставших в походные стремена.

Я видел старую казачку Варвару Федоровну Старкову, провожавшую на фронт в этот день четверых своих сыновей. Маленькая, как подросток, в старинной — темных тонов — кашемировой шали, стояла она в кругу рослых своих богатырей, поспешно крестя каждого из них и полусе-потом повторяя при этом:

— Будьте, ребята, казаками! Будьте казаками!

А старый казак Сергей Яковлевич Родионов по-родительски сурово и строго наказывал сыну Мите:

— Только не трусь, слышь, на поле брани! Только не посрами в бою с немцами сибирской нашей породы!

Начался митинг.

И когда секретарь районного комитета партии объявил, что сейчас будет говорить старый георгиевский кавалер, участник знаменитого Брусиловского прорыва германского фронта в первую мировую войну, шпалеры войск и тысячная толпа провожающих, казалось, на мгновение затаили дыхание. И такая напряженная тишина воцарилась над переполненной народом площадью, что можно было услышать стук собственного сердца.

Когда же на трибуне показалась прямая и рослая фигура старика, станичники, узнав в нем колхозного сторожа Евсеича, встретили его взрывом рукоплесканий, а стоявшие в строю казаки грянули старому георгиевскому кавалеру стремительное, как вихрь, тоекратное «ура».

В лихо заломленной набекрень выцветшей казачьей фуражке старик стоял на трибуне прямо и неподвижно — руки по швам, как в строю. Молча, с достоинством выжидая, пока стихнет внезапно обрушившийся на него ураган бурных приветствий, пристально смотрел он не по-старчески ясными и полными слез глазами вдаль.

Наконец, когда в далеких кварталах станицы замер последний отклик гулко-го эха и напряженная тишина снова замкнулась над площадью, старик, глубоко вздохнув, внимательно огляделся кругом и приготовился к напутственной речи. Однако он тотчас же забыл, о чем хотел говорить, и только после большой заминки молвил наконец глухим, дрогнувшим от волнения голосом:

— Казаки! Одностанишники! Разрешите... Вот когда вы «ура» закричали, у меня аж в горле все пересохло. Слеза меня, станишники, душить начала. Ну, я окреп духом. Спас бог. Сдержался. И кровь во мне, как перед рукопашной атакой, ребята, взыграла. И мне стало ясно, что это не мне, а всему нашему сибирскому казачьему войску «ура»-то вы

грянули. Сердцем чую, не подведут в боях сибирские казаки!

И вновь голос его потонул в новом взрыве горячих рукоплесканий, в новом прибое «ура» словно вставшей на дыбы и ходуном заходившей площади.

— Казаки! Сибиряки! Братцы! — протрубил вдруг лихо и молодо голос его под гул приветственных возгласов. Распахнув полы ветхого своего бешмета, он показал блестящие на солнце три георгиевских креста.

— Вот видите! — проговорил он твердым, чуждым смущения и ложной скромности голосом. — Вот они. Три их имею! Один — за битву в армейском корпусе сибиряков под Вафангоу. Два — за лихую рубку неприятелей в доблестной армии их высокопревосходительства покойного генерала Брусилова... И вот скажу теперь миру, не хвастаясь: не зря я полный бант кавалера на грудь надел. За святое дело, ребята, надел. За верную службу России! И мне, старому казаку, стыдиться сих знаков отличия в такой час нечего.

Старика снова было прервали взрывы рукоплесканий, но он, клятвенно подняв над головой руку, крикнул:

— Не давать пощады фашистской орде — таков мой приказ вам, ребята! Насмерть драться с врагами земли нашей русской.

## 6

Когда отзвучали слова клятвы и ненависти старого георгиевского кавалера, прогремел трубный голос команды, и всадники стали стремительно разворачиваться на марш.

Казаки Горькой Линии начали свой великий поход на Запад. И лавина провожающих хлынула вслед за вставшими в походные стремяна сынами, проводив их по традиции далеко за станицу.

Я помню облако оранжевой от заката пыли. Взбитая копытами пришедшей в движение конницы, она поднялась над кровлями станицы и поплыла, колыхаясь, над головами всадников, над багровыми крыльями знамен.

Сибиряки уходили на запад по древней дороге верности и чести. И по-новому звучали теперь слова походной песни наших станиц:

Закрой, казак, часы стальные:  
На циферблате ровно пять.  
Заржали кони строевые,  
Поход почуявши опять.

В стремена — ноги! Сабли — к бою!  
 Трубит труба: «Пора! Пора!»  
 Уж, точно море в час прибой,  
 Гремит над площадью «ура!»  
 Казачьи сборы невелики:  
 Команда подана — в строю.  
 И заблестят на солнце пики —  
 Подружки верные в бою!  
 И зыпорохают шашки-птахи,  
 Рука казачья горича:  
 Заломим на виски папахи,  
 Чтобы ловчей рубить силеча!  
 Нам не впервые в час тревоги  
 На клич отчины дорогой  
 Лететь по воинской дорожке  
 На жаркий бой, на смертный бой.  
 Из-под Урала — горной кручи —  
 До берегов Иртыш-реки  
 На вражьи орды туча тучей  
 Поднимутся сибиряки!  
 Шуми же, знамя боевое,  
 Над правнуками Ермака.  
 Перед врагом на поле боя  
 Не дрогнет верная рука!

## 7

А полгода спустя встретились мы в землянках Северо-Западного фронта.

За многие тысячи километров, через всю огромную нашу страну бережно пронесли мы теплое дыхание далеких станиц Сибири с неповторимым и милым сердцу нашему запахом родимых степных просторов, с горьким ароматом неприхотливых цветов их и трав...

И в суровых мужских объятиях было то великое чувство кровного братства, любви и дружбы, узами которого прочно связываются при рождении сибирские казаки. Недаром взаимная выручка в мирной жизни и на поле битвы воспитывалась чуть ли не с колыбели. И только трус и предатель, только жалкий изменник Родины, позорно бежавший с поля боя под черные знамена врага, только такой выродок навеки лишался отклика и участия широкой, настезь распахнутой души сибиряка. Вот почему по неписаным законам наших степных станиц такого изменника может убить каждый при первой же встрече.

Н-ское соединение сибиряков, вступив с марша в ожесточенные бои с противником на подступах к Ленинграду, долгие месяцы держало фронт протяжением в несколько десятков километров. Сибиряки не только остановили орды врага, но и нанесли им тяжелое поражение. И зверь, заклеянный тавром сатанинской свастики, истекая кровью, глубоко зарылся от сибирских сабель и пуль в него-степримную для недругов российскую землю.

В битвах за неприступные твердыни города Ленина, в разгроме германских армий под Москвой, в кровопролитных сражениях под Курском — везде и всюду, где бы ни сражались с оружием в руках доблестные сыны Сибири, они навсегда упрочили за собой боевую славу достойных потомков Ермака.

Командующий армией говорил о наших сородичах:

— Львы — не ребята!

Крепко запомнили немцы удары сибирских штыков и сабель в первую мировую войну. Но еще крепче запомнят они сибирских стрелков.

## 8

Никогда прежде не говорили мы со станичниками так много, с душевной теплотой и сердечностью о нашей Родине, как в дни незабываемых фронтовых встреч.

По ночам, озаряемым холодным и мертвым сиянием вражеских ракет, все наши думы и чаяния были связаны со светлым именем нашей Отчизны, любимой и верной, близкой и дорогой.

И когда в час недолгих боевых передышек боец, не снимая с груди автомата, брался за гармошку и решительно, по-сибирски разворачивал перед нами малиновые ее мехи, мы хором на лету подхватывали знакомую песню. И в землянке звучали заученные нами с детства слова:

Ревела буря, дождь шумел,  
Во мраке молнии блистали,  
И непрерывно гром гремел,  
И ветры в дебрях бушевали.

Прислонившись к бревенчатым стенам укрытия, устало прикрыв приученные к бессоннице глаза, хорошо пели казаки. И теплей и светлей становилось в нашей землянке.

Но вот полилась трогательная и милая мелодия песенки о синем платочке. И перед глазами каждого из нас неясно выступал из полумглы блиндажа любимый облик. И за теплом ласковых девичьих рук, которое, казалось, ощущали мы, слушая эту песенку, за образом, овеянным дымкой сокровенных воспоминаний, воскресали в памяти родимые просторы сибирских равнин.

И одному, может быть, виделся в эту минуту старый ветряк на пригорке, под крыльями которого играл он в бабки в детстве и целовался с любимой девушкой в юности.

Другому мерещилась цепь жемчужных озер, как море, меняющих свою окраску утром, в полдень и вечером...

Очень нравится эта песня нашему одностаничнику пулеметчику Сереже Ваганову. Однажды, когда ринувшиеся на передний край немцы помешали ему допеть эту песенку в землянке, он закончил ее на огневом рубеже. Случилось, что вклинившиеся в нашу оборону фашисты отрезали пулеметный расчет Ваганова, и он, оставшись один, продолжал яростно поливать свинцовым огнем врагов. Взвод немецких автоматчиков, окружив отважного пулеметчика, намеревался, видимо, взять его живым. И тут, как на грех, вагановский пулемет смолк, захлебнулся. Фашисты, воспользовавшись этой заминкой, но не решаясь, однако, еще подняться из-за прикрытия, принялись было горланить со всех сторон:

— Рус, сдавайся! Капут! Капут!

И вдруг услышали песню. Торопливо выправляя привычной рукой пулеметную ленту, Сергей с поспешностью и досадой напевал:

Эх... нет прежних ночек!  
Где ж ты, платочек,  
Милый, желанный, родной?!

И вот ожесточенный клекот снова заговорившего пулемета заглушил охрипший голос Сережи. И немцы, напорвшись на непроходимую завесу огня и ненависти, откатываясь назад, смятенно и тупо твердили:

— Сибирские стрелки! Сибирские стрелки!

Они знали: здесь им не пройти.

## 9

Непривычно тихи и безлюдны были улицы станиц в горячую страдную пору тысяча девятьсот сорок второго года. Даже в часы заката не встретишь знакомой с детства стариковской фигуры, уютно примостившейся где-нибудь под окошком дома на вросшем в траву бревне. Ведь часы погожих летних закатов — это часы заслуженного за долгую трудовую жизнь отдыха стариков, часы для одиноких проникновенных и мудрых раздумий...

Но не до отдыха в эти грозные дни и нашим старикам, не до завалинок теперь нашим дедам, не до раздумий.

И если тихо, безлюдно и пустынно на сельских улицах, то далеко за станицами в полях, где поднимаются на ред-

кость густые, тучные и рослые хлеба, от зари до зари кипит работа.

Здесь трудовой фронт.

Как правило, прежде старики держались уже в стороне от колхозной работы. Но пробил час — и все они решительно потребовали для себя работу.

Шестидесятилетний С. Т. Трушин из колхоза «Жизнь», явившись к председателю колхоза, сказал:

— Отдохнул я, дорогой товарищ председатель. Хватит. А в такие дни без дела больше сидеть не могу. Не в моем характере. Согласный я на любую работу, где меня поставите. За любое дело отвечу. И лицом в грязь на старости лет не ударю.

Самоотверженно трудились оставшиеся в тылу. Но все они от мала до велика готовы были в любую минуту сменить штурвалы комбайнов и тракторные рули на грозные боевые машины.

Ежедневно поступали в районный комиссариат заявления от молодых и старых колхозников. Написанные нередко корявым, непослушным почерком, заявления эти проникнуты чувством горячей любви к своей Родине.

Вот, например, братья Павел и Петр Шиховы писали: «Мы работаем трактористами в колхозе «Путь к социализму». Трудимся честно. За последнее время подготовили хорошую смену из наших девушек. Мы знаем, что тракторы будут в надежных руках.

Отец еще может работать. В прошлом году он у нас заработал семьсот трудовней. Наш третий брат дерется сейчас с немецкими бандитами. Горячо просим отправить на фронт и нас двоих. Заверяем, что будем стойко защищать любимую нашу Родину».

## 10

Осень.

Снялись с окрестных озер и ушли на поиски зимнего приюта белоснежные лебеди-кликуны. Пролетели над станциями Горькой Линии с прощальным клекотом журавли. Косяки гусей покинули до весны гостеприимные наши займища. Куда, в какие края откочевала в эту вторую военную осень жившая в наших степных просторах птица? И найдет ли теперь она надежное пристанище в пору огненных смерчей и свинцовых бурь?

Тишина над обнажившимся лесом и степью. В глубоком

раздумье стоят деревья. Спокойно и холодно блестят на нежарком осеннем солнце окрестные озера. Огромный мир предзимнего величия, раздумья и покоя простирается над цепью линейных станиц.

Тихо в степи.

Но прислушайтесь к этой тишине, и ваше ухо уловит далекий ритмичный стук веялки, или ровный гул тракторного мотора, или глухой рев молотильного барабана на колхозном току.

По ночам над кровлями огромных хранилищ Заготзерна мерцает лимонно-желтое зарево электрических огней. Склады Заготзерна — самое оживленное место сейчас в станицах. Бесперывным потоком золотого дождя льется в просторные пакгаузы отборная колхозная пшеница.

## 11

Запах хлеба стоит в воздухе.

Меж брочек снует седой и осанистый старик в старомодном бешмете, в глубоких резиновых калошах, обутом на белый шерстяной чулок. Не по годам подвижной и суетливый дед, зачерпнув из ящика горсть пшеницы, как бы взвешивает зерно на ладони и по запаху и вкусу почти безошибочно определяет тут же кондиционные качества хлеба.

— Влаги — около пятнадцати. Сорность — не больше двух. Ядреное зерно! Сердце радуется такому хлебушку. Благодать!.. — говорит старик не то самому себе, не то сидящему на возу угрюмо нахохлившемуся подростку.

— Наш колхоз худого зерна государству ишо не сдавал. Не принято у нас такое дело, — бормочет парнишка.

— Эх, какой ты острый! — изумляется дед.

— Не тупой... — оговаривается парнишка.

— Ну-ну-ну! Мал ты еще с дедом так разговаривать, станишник! — сердито покрикивает дед на подростка, смыкая заиндевшие от седины брови.

Это Евсеич. Его все знают. Уважают. Побавляются. Целый божий день непоседливо кружится он около зернохранилищ. И ничто не ускользает от его острого, придиричьего взгляда. Сбрую найдет не в порядке — тут же заставит исправить и не отступит от возчика до тех пор, пока тот не выполнит у него на глазах справедливого и жесткого стариковского требования. Девки у веялок застоялись — при-

цыкнет на них. Соринку лишнюю в зерне обнаружит — к хранилищу такому транспорту дороги уже нет: непременно на перечистку пошлет. И хотя крутоват он характером и остер на язык, зато уж где надо найдется у него и теплое слово и веселая шутка.

А спустя некоторое время Евсеич, снова столкнувшись с хмурым на вид малолетком, устало присел рядом с ним на разостланный под бричкой зипун.

Не обращая ни малейшего внимания на деда, паренек кряхтел над обрывками веревки, хозяйственно сращивая конец с концом.

Старик, покуривая самодельную трубку, набитую крепким самосадам, долго наблюдал за старанием парня и наконец сказал:

— Лечишь?

— Приходится.

— Ну, а хлебец-то как? Приняли?

— Точно.

— А кондиции какой вышел?

— Кондиция ей высокая, дяденька. На влажность — четырнадцать, на сорность — два.

— Ядреное зерно! Стало быть, я на глаз не дал маху, станишник? Точно определил вашенское зерно? Ась?

— Как в аптеке...

— А откуда ты, станишник, из Ольговки, что ли?

— Тамошний.

— По коням и по спаси вижу. Самостоятельный ваш колхоз, с достатком.

— Нужды пока ишо не терпели...

— А с посевной как у вас нонче было?

— Как у всех.

— Га тыщи четыре осилили?

— Нету, деданько, бери выше! — сразу же оживляясь, говорит подросток. — Это план у нас до войны был такой — четыре. А мы без малого пять тыщ га в эту весну одолели.

— Ну, а с уборошной справились? — продолжает интересоваться дед.

— На буксир ни у кого не просились. Тыщ двадцать пудов уже сверх плана на оборону сдали.

— Крепко завернуто! По-нашенски. По-сибирски. Ничего не скажешь на такие речи — орлы! — восторженно говорит дед.

И снова помолчав, приправив указательным пальцем

слабо тлеющий огонек в полупотухшей за разговором трубке, рассудительно добавил в раздумье:

— А ночью, хвати, любая станица на Горькой Линии около ста тыщ пудов государству сдаст. Вот тебе и война! Германец-то там, поди, думал измором нашу державу взять. Что, дескать, сделают с пашней русские бабы, старики да малолетки! Не осилить, мол, им ни сеvu, ни урожайной страды. Такой расчет он себе на своем германском уме имел, когда на Русь подымался. Да недаром правильные слова в нашей песне поются: «Гладко вышло на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить!»

А и золотое же дно — Сибирь наша матушка! Золотое дно!

И старик опять умолк. Выбив пепел из трубки, он снова набивает ее самосадам и, попыхивая сизым дымком, внимательно следит за расторопными движениями проворных ребяческих рук, хозяйственно сматывающих ремешковые вожжи.

— А много ли годов-то тебе, станишник?

— Порядочно, деданько.

— Все же? Любопытствую...

— Да двенадцать уж с гаком...

— Орел! И казак, гляжу я на тебя, хозяйственный. Вот и сбруя у тебя в полной форме. И веревину на моих глазах срастил. И кони в транспорте у тебя справные. Побольше бы вот нам таких самостоятельных казачат в такую годину!

— У-у-у, а нас много! Мы всей школой летом в колхозе работали. Больше пяти тысяч трудодней имеем. Одного авансу больше ста пудов на нас приходилось. Да мы обратно весь этот хлеб на оборону отчислили.

— Хваты! Хваты! Хороший подарок нашей державе сделали. Хвалю за такую хватку! — ласково потрепав по плечу собеседника, сказал старый георгиевский кавалер. Затем, спохватившись и точно вспомнив о чем-то, Евсеич суетливо вскочил на ноги и стал прощаться с подростком:

— Ну, бывай здоров, станишник. Зарапортовался я с тобой, слышь, чисто. Чуть было и о деле не забыл.

— А ты бы отдохнул со мной, деданько, маленько.

— Нет, сынок. Извиняй. Побегу! А отдыхать будем, когда Гитлера в помойну яму свалят и осиновый кол в собачью могилу его забьют!

Дед ушел, а малолетний станишник, по-хозяйски оправив подвешанные к дышлу торбы с овсом для коней, лег на

разостланный под бричкой отцовский зипун. И хотя вот уже больше полутора лет не надевал ушедший на фронт родитель этого зипуна, а все равно одежина хорошо и тепло пахнет отцом, точно сейчас она сброшена наземь с родных могучих плеч...

## 12

Длинные и глухие ноябрьские ночи в Северном Казахстане.

Но далеко за полночь не гаснут огни в окнах добротных бревенчатых домов древней сибирской станицы. Вернувшись из далекой степи, с колхозных ферм, с дальних токов, из полеводческих бригад, собирается казачья семья после ужина в чистой, опрятно прибранной горнице. И до глубокой ночи тепло вспоминают здесь об отцах и сынах, о мужьях и братьях, коротающих эти ночи на огненных рубежах страны.

И каждый раз в эту глухую полуночную пору здесь снова и снова перечитываются уже наизусть заученные всеми, но по-прежнему глубоко и горько волнующие письма фронтовиков. А затем тут же пишется всей семьей и ответ.

Ответ пишут в большинстве случаев ребяташки. Пишут они под певучую родительскую диктовку. И старики требуют при этом с малолетних грамотеев, чтобы они не очень-то вольничали, а писали точно, как диктуют им, соблюдая строго-настроеного положенный слог и форму.

Старый георгиевский кавалер Евсич, хоть человек и неграмотный, а уж письма-то служивым диктовать хорошо умеет. И он строго говорит своему внуку Алеше:

— Хоть и боек ваш брат, Алешка, нонче на словах, а все же настоящего письма супротив нас, старых людей, вы составить не можете.

— Так уж и не можем! — обижаясь на деда, говорит Алеша.— А сочинения кто мне помогает писать, ты, что ли?

— Замри, варнак, когда с тобой старшие говорят! — вспыхив, прикрикивает на Алешу Евсич.— Пиши, говорят тебе, согласно моего артикула, как все добрые люди!

И Алеша, умолкнув, принимается покорно писать под неторопливую и несколько торжественную диктовку, строго соблюдая все требования придиричивого старика.

А дед, не спуская с внука хитро прищуренных пытливых глаз, ревниво следит за бойким движением руки мало-

летка, втайне завидуя его писарскому мастерству и словно читая каждую фразу. И хотя неграмотный старик не может, разумеется, прочитать написанное Алешей, однако обмануть деда в этом деле отчего-то никак нельзя. Бог весть, какими путями, но старый георгиевский кавалер тотчас же безошибочно угадывает самую незначительную фальшь и малейшую неточность.

...Как-то в конце сентября надумал Евсеич послать от своего имени письмо командиру части, в которой сражается с немцами на фронте младший из троих его сыновей — двадцатитрехлетний Яков.

Задумано — сделано.

Но, как всегда при начинании особо важного дела, Евсеич и в данном случае решил прежде всего посоветоваться насчет этой затеи со своей «полковницей», как он шутил привык называть за долгие годы совместной супружеской жизни старую Арсентьевну. Правда, советы эти часто приводили к шумным разногласиям, но тем не менее обходиться без них Евсеич положительно не мог.

Грехом кончился семейный совет георгиевского кавалера с «полковницей» и на этот раз. Вечером, оставшись с Арсентьевной с глазу на глаз, Евсеич, рискнув открыть перед ней свои замыслы, сказал:

— Я, полковница, дело одно задумал. Посоветоваться с тобой хочу.

— Ну,— насторожившись, откликнулась Арсентьевна.

— Я, слышь, решился письмо на фронт пустить одному командиру.

— Командиру?

— Так точно.

— Какому командиру? — спросила Арсентьевна.

— Командиру полка, при котором Яков наш состоит.

— Сбросило Ерему...

— А пошто бы и нет?

— А пото, что пора бы уж на старости-то лет перестать смешить добрых людей своей дурью.

— Здравствуйте, я вас не узнал! — насмешливо, кланяясь «полковнице» в пояс, сказал Евсеич.

— Милости просим,— ответила Арсентьевна тем же тоном.

— Ну, да я ведь так и знал,— неожиданно спокойно и рассудительно заговорил Евсеич.— Так я и знал, что ты и тут поперек дороги мне станешь. Что ж, старая песня! Слава богу, целый век с тобой маюсь. Вызнал твой нрав. Вы-

знал, а все за каким-то чертом за советами к тебе лезу! — опять теряя самообладание, заключил, сердито сплюнув в сторону «полковницы», георгиевский кавалер.

— Не лез бы. Все, глядишь, без тебя греха поменьше бы перед богом на душу намотала.

— Куды там! Без меня ты бы давным-давно в раю была. Прямо, слышь, с марша, прямым сообщением в чертоги бы поступила.

— Ведь это беда чисто! — всплеснув руками и словно обращаясь к кому-то третьему, проговорила Арсентьевна. — Ведь это куды только годно! Что ни день, то новая затея. Что ни затея, то новый грех из-за его фокусов на душу принимаешь. И подумать только, что ему опять в голову ни с того ни с сего взбрело: письмо он командиру полка пустит! Послушала бы я, что ты ему там набуровишь...

— А это не бабьего ума ишо дело в тому подобные письма соваться... Да рази в таких сурьезных делах с вашим братом совет держат?! Недаром сказано: баба — полный туес греха!.. А для тебя Яков кем будет? — совсем неожиданно спросил кавалер «полковницу».

— Не в укор господу богу, кровным сыном приходится, — с достоинством ответила Арсентьевна, не совсем еще понимая значение этого внезапно поставленного ей вопроса.

— Хорошо. Для тебя — кровный сын. Не спорю. Согласный. А вот для меня он есть перво-наперво — сибирский казак, воин!

— Что казак он у нас, это я и без тебя знаю.

— Мало знать, полковница. Надо ишо душой чутя! А у меня сердце за его воинскую честь болит. Я ночей не сплю — одну думу думаю: верен ли он там у меня святой присяге? Честно ли служит на поле брани нашей державе? Хорошо ли германцев в рукопашных битвах родительской саблей соборует? Вот об чем и надумал я письменно спросить самого командира полка, при котором состоит на службе наш Яков. Пусть он самолично на мою отцовскую тревогу за сына ответит.

— Ты бы ишо аж какому-нибудь там генералу письмо от себя отправил, — не унималась Арсентьевна.

— А что ты думала? И генералу не оробею.

— Ну, генералу-то письмо составить — не со мной побахлить.

— И это знаю. Я не тебе чета. Я с самим их высокопревосходительством покойным командующим всем фронтом

генералом Брусиловым словесную беседу на театре военных действий имел. Стало быть, ты меня, полковница, генеральскими чинами не пугай. Я с любым человеком обходительность имею.

— Ну, ладно,— безнадежно махнув рукой, сказала «полковница».— Ладно. Только ведь ему сейчас и делов, что на твои доплатные письма заказные ответы на гербовой бумаге слать. Разевай рот, станут с тобой генералы связываться, да ишо в такую пору!

13

Не найдя поддержки в своих замыслах у Арсентьевны, Евсеич в тот же вечер решил поговорить насчет письма с Алешей и сразу же нашел во внуке отзывчивого и верно-го в этом деле союзника. Не дав даже толком договорить деду до конца, Алеша пулей слетал на кухню за ученической тетрадью, на листках которой обычно писали они с дедом письма на фронт, и, приготовившись писать под диктовку, сказал:

— Давно бы нам надо было написать такое письмо генералу.

— Аж самому главнокомандующему? — шепотом спросил дед.

— Ну.

— А как, слышь, мы его составлять будем? Руководства по письмоводительскому делу у нас с тобой под руками нет. А без руководства опасно, Алексей, на имя высших чинов писать. Так мы черт те что набуровить ведь с тобой можем.

— Не набуровим,— уверенно сказал Алеша.— Ты только давай диктуй мне. Пусть генерал поймет, что пишет ему старый сибирский казак такой-то.

— Георгиевский кавалер такой-то,— поправил внука старик.

— Ну, факт. Так и подпишем: писал, дескать, это письмо георгиевский кавалер такой-то.

— Правильно. Это все хорошо будет у нас с тобой составлено,— сказал, подумав, Евсеич.— Только в одном я, слышь, Алешка, сумлеваюсь: как мы ему письмо откроем?

— Что значит: «как откроем»? — не понял внук.

— А то значит, как мы его величать будем, генерала-то? По прежнему-то артикулу в письменном прошении на имя

генерала надобно было полный титул правописать. А как мы напишем?

— Да так просто и напишем: «Дорогой товарищ генерал!»

— Просто товарищ генерал, и баста?!

— А то как же еще? — удивился Алеша.

— Неловко как-то мне, старому казаку, да ишо георгиевскому кавалеру, запанибрата с высоким армейским чином обращаться. Непривышно это, Алексей, для меня. Прежде бы их высокопревосходительством вывеличал. Дак ведь так-то оно куды звончее выходит!

— Ну, теперь этого нельзя, деда, — решительно заявил внучек и, нацелившись пером на графлений лист тетрадной бумаги, приготовился к добросовестному исполнению обязанностей писаря.

...Всю ночь, не смыкая глаз, трудились над письмом к генералу Евсеич и Алеша. Перешептываясь, как заговорщики, они трижды переписывали и десятки раз перечитывали уже наизусть заученное ими письмо, адресованное в личные руки командующего фронтом, на котором дрался с немецкими ордами Яков. Все это делалось сообразно решительному требованию Евсеича, в глубокой тайне от Арсентьевны, которая и в самом деле не ведала о том, чем заняты в эту ночь уединившиеся в горнице дед с внуком.

А рано утром Алеша сдал треугольный конверт на почту.

И потянулись долгие, томительные дни ожидания ответа.

Дед, как и прежде, проводил эти дни на складах Заготзерна, строго следя за качеством сдаваемого государству хлеба. Внук совмещал школьные занятия с трудом на воскресниках, помогал вместе с другими ребятами колхозу в молотье и хлебоотгрузке. Но ни тот, ни другой не только не выдали своей тайны Арсентьевне, но даже избегали теперь заводить разговор о письме между собой. А не говорили они об этом потому, что оба втайне, надо сказать, сомневались в получении ответа. И не дай бог, узнала бы прежде времени о письме бабка, пропали бы они тогда с дедом, со свету бы сжила тогда старуха своими насмешками георгиевского кавалера да и Алеше бы перепало...

Шли дни.

Алеша и Евсеич крепились, молчали, ждали.

И вот однажды — это случилось в первых числах ноя-

бря — две снохи и замужняя дочь Евсеича, вернувшись в сумерках с колхозного тока, были удивлены не совсем привычным нарядом деда. Он повстречался им на дворе. Одетый в черный парадный мундир с поблекшими на рукавах галунами, который он ревниво берег еще со времен полковой службы, в широкие, старомодного армейского покроя шаровары с лампасами, тоже парадные, из тонкого синего сукна, старик, заложив за спину руки, неподвижно стоял посреди двора. Словно к чему-то прислушиваясь и кого-то поджидая, он, казалось, не заметил даже внимательно оглядевших его с ног до головы и удивленно переглянувшихся женщин.

— Что это папаша-то у нас так снаряжился? Праздник у них сегодня какой, что ли? — спросила, входя в дом, у свекрови старшая из снох.

— Пойди спроси его, — насмешливо ответила Арсентьевна. — Я уж пытала. Как воды в рот набрал, молчит. Явился со склада нынче ни свет ни заря. Парадную форму потребовал. Перед зеркалом частым гребнем бороду начесал. И торчит вот битый час во дворе. Видать, поджидает кого, что ли...

Арсентьевна не ошиблась. Евсеич и в самом деле поджидал задержавшегося в школе Алешу, приказав не начинать ужина без внука.

А спустя полчаса, когда все были в сборе, старик, усадив с собой рядом Алешу, приказал Арсентьевне подать на стол лафитник вишневой настойки и пяток бирюзовых рюмок — по числу сидевших за столом взрослых членов семьи.

Почуяв что-то не совсем обычное в загадочном поведении своего деда, «полковница» на этот раз беспрекословно выполнила его требование и, поджав губы, присела к столу.

Евсеич сам не спеша наполнил веселенькие рюмки вишневкой, поочередно, по старшинству, расставил их перед каждой из женщин, а затем, расправив пышную бороду, сказал, кивнув внуку:

— Ну, Алексей, а теперь давай оглашай.

И Алеша, суетливо выхватив откуда-то из-за спины лист белоснежной, приятно хрустящей у него в пальцах бумаги, бережно расправил его на столе и высоким, срывающимся от волнения голосом стал читать:

— «Георгиевскому кавалеру, сибирскому казаку с Горькой Линии Тихону Евсевичу Реброву.

Дорогой отец!

Сердечное спасибо Вам за хорошее письмо, а главное, за то, что Вы сумели воспитать такого орла, бесстрашного истребителя фашистов, каким является Ваш сын—сержант Яков Ребров, находящийся в настоящее время в одной из гвардейских частей моего соединения. Воспитанный Вами на славных боевых традициях сибирского казачьего войска, сын Ваш является бесстрашным и храбрым воином нашей доблестной действующей Красной Армии. Вы, заслуженный воин России, можете смело гордиться Вашим Яковом, подлинным сибирским казаком, на груди которого горит орден Боевого Красного Знамени!

Крепко обнимаю и целую Вас, георгиевский кавалер!  
Командующий Н-ским соединением  
генерал-майор А. Степанов».

Впервые в жизни увидели в больших и прекрасных глазах деда по-детски крупные, светлые и чистые слезы, от обилия которых глаза эти казались в такую минуту еще больше и прекраснее.

## 14

Километрах в полутора от станицы на высоком увале призывно маячат белоснежные шатры лагерей. Высоко поднятое на флагштоке знамя гулко шумит и трепещет на вольном степном ветру. И пронзительные звуки сигнальных труб доносятся до станицы на ранней заре, в полдень и поздним вечером.

Все минувшее лето и осень шла в лагерях напряженная боевая учеба казаков призывного и допризывного возрастов. Под наблюдением и строгим руководством местных командиров запаса — прирожденных кавалеристов, под зорким контролем старейших казаков поставлены были в стремена целые подразделения казачьей молодежи линейных сибирских станиц. Старые кавалеристы Горькой Лнии воспитали превосходных наездников, лихих джигитовщиков, решительных ловких рубак.

Но, обучая кавалерийскому делу станичную молодежь, не бросают они привычной тренировки с винтовкой и саблей и сами. Не утратив осанки и выправки, прочно и молодод сидят они в седле, изумляя своим мастерством безусых сынов и внуков.

Строги и требовательны к молодежи старые казаки. Уж кто-кто, а они-то, с честью пройдя через огонь и воду

былых сражений за святость Русской земли, знают, что значит для воина закалка в учении, если предстоит впереди суровые маршруты дальних походов и ожесточенные рукопашные бои. Вот почему так настойчиво закаляют командиры в многокилометровых конных и пеших переходах своих сынов, неутомимо тренируя в них волю и мускулы, зрение и слух...

А в сумерках, когда казачки суетятся за управой домашних дел, возвращаются с боевых учений молодые всадники. Эскадроны конницы проходят, как встарь, по главной станичной улице, по той самой улице, которая издревле была дорогой чести и славы уходивших на поле брани сибирских казаков. Эта улица древних воинских традиций.

Всадники проходят с песней.

Гулко звенят кованые конские копыта о бронированную заморозками землю. И, как бубен, гудит дорога под глухим и ритмичным цокотом копыт, сопровождающим боевую походную песню:

То не бури с грозами  
Грянули, ребята,  
На брегах привольных  
У Иртыш-реки.  
За орлиной стаяй  
Поднялись орлята —  
Все в отцов родимых,  
Все сибиряки!  
Наши сабли острые;  
Наши кони — звери:  
Только гикни — ринутся  
Черту на рога!  
Сквозь огонь и воду,  
Вьюги и метели  
За отцами бросимся  
Мы громить врага.  
Не уйдет от конницы  
Вражеская стая;  
Сечь башку фашистскую  
Казаку с руки.  
Пусть помянет песней  
Родина святая,  
Как громили врага  
Мы, сибиряки!

Ярко, молодо звучат чистые голоса.

И старые люди, и дети, и женщины, и девчата — все от мала до велика, высыпав при звуках этой огневой песни на главную улицу, молча любуются шагом строевых лошадей, безупречной выправкой и посадкой всадников. И долго будут стоять у ворот эти люди, пока не скроется из глаз арьергардная колонна кавалеристов, пока не замрет где-то

вдали боевая песня, песня, властно зовущая к мужеству и решительности, к стойкости и к борьбе.

За края родимые,  
За станицы наши  
Мы в сраженья ринемся  
С дикою ордой,  
Чтобы жизнь привольная  
Стала наша краше,  
Когда мы с победою  
Двинемся домой!  
Казачки сибирские  
На стремени встали —  
Не спастись от гибели  
Подлому врагу...

## МОИ ВСТРЕЧИ С А. М. ГОРЬКИМ

Великий русский художник А. М. Горький сыграл огромную, решающую роль в судьбе многих наших советских писателей. Редкий из молодых литераторов да и писателей старшего поколения не обязан своим литературным рождением, творческими удачами и всем своим последующим развитием ему — родоначальнику пролетарской литературы, ему — блестящему, подчас очень суровому и умному критику, ему — превосходному редактору, учителю и проникновенному другу.

А. М. Горький горячо любил каждого, в ком ощутим был, может быть, еще пока дремлющий огонь дарования.

Помимо своего огромного творческого труда А. М. Горький проделал титаническую работу по организации литературных сил страны, по выявлению и воспитанию новых писательских имен, многие из которых выросли под его руководством в больших мастеров советской литературы.

Алексей Максимович любил нашу талантливую советскую молодежь, любил каждого молодого писателя с той огромной и чистой страстью, на которое было способно его большое сердце.

Нас, писателей, близко знающих Алексея Максимовича, всегда поражала его чудовищная работоспособность. В самом деле, ведь ни одна книжка, ни одно сколько-нибудь заметное произведение маститого, совершенно до сего неизвестного, впервые появившегося в литературе молодого автора, не прошли мимо удивительных горьковских рук, не остались не прочитанными, лишенными горьковского внимания.

Причем, как правило, Алексей Максимович успевал перечитывать продукцию наших издательств задолго вперед тех присяжных критиков, которым, казалось бы, следовало заниматься этим делом в первую очередь.

Я уже не говорю о той колоссальной редакторской работе, которую проделал Алексей Максимович над книгами наших писателей, старательно выправив их, отредактировав их в рукописях. И какая это была правка!

Не секрет, что зачастую Горький дописывал за автора целые абзацы, а то и страницы. Так, например, книга А. Авдеенко «Я люблю», получившая впоследствии довольно широкую известность у наших читателей, была решительным образом заново переработана Горьким. Много труда вложил Алексей Максимович, редактируя рукопись моего романа «Родина», ранее называвшегося «Поединком».

Стоит ли говорить о том, сколько неповторимой радости, огромного волнения испытывает каждый из нас, писателей, при выходе в свет своего первого произведения? Книжка вышла. А хороша ли она? Нужна ли читателю? Полезное ли дело сделал ты, молодой, неопытный автор? Что скажет о тебе наша печать, наша критика?

С замирающим сердцем долго ждал я первых критических замечаний и откликов на первую мою книгу «Горькая линия». И вот в конце апреля почтальон приносит мне голубой плотный конверт с адресом, написанным твердым, округлым почерком. Это было письмо Алексея Максимовича.

«Вы написали очень хорошую книгу,— писал мне Алексей Максимович,— это — неоспоримо. Читая «Горькую линию», получаешь впечатление, что автор — человек даровитый, к делу своему относится вполне серьезно; будучи казакom, находит в себе достаточно смелости и свободы для того, чтоб изображать казаков с беспощадной и правдивой суровостью, вполне заслуженной ими. Вам двадцать пять лет, а пишете вы о том, что видели, когда Вам было двенадцать, и, разумеется, Вы не могли видеть всего, что изображается вами. Но когда читаешь Вашу книгу, чувствуешь, что Вы как будто были непосредственным зрителем и участником всех событий, изображаемых вами, что Вы как бы подслушали все мысли, поняли все чувствования всех ваших героев. Вот это и есть подлинное, настоящее искусство, изображение жизни силою слова».

И дальше Алексей Максимович обстоятельно страницу

за страницей разбирает в этом письме «Горькую линию». Наряду с похвалой, указав мне на целый ряд недопустимых промахов, грубых стилистических погрешностей и явных срывов и недостатков.

Вот продолжение этого первого письма, адресованного мне Алексеем Максимовичем:

«Пишете Вы — на мой взгляд — в достаточной мере технически умело, фраза у Вас простая, четкая, и все слова почти всегда стоят на своем месте, не мешая читателю понимать и даже видеть все то, что Вы изображаете.

«Почти всегда», — говорю я. Это значит, что — не всегда. Порою, в поисках наибольшей яркости, а может быть, и по небрежности, Вы допускаете кое-какие промахи и даже нелепости. Например: на 1-й стр. «искрящийся свист», — не говоря о том, что слова эти, поставленные рядом, звучат плохо, они дают и неверное представление: свист — не смех, он не «искрится», это звук непрерывный, режущий ухо, металлический, он пронизывает воздух, как длинная острейшая игла. «Облако, похожее на беркута» — напоминает слова Треплева, одного из героев «Чайки» Чехова. «Полыхали заревом глаза озер» — это возможно видеть только с огромной высоты. «Ноздреватым яром в легком плясе кружились вихрастые, раскосые землянки» — это чепуха, непонятный набор слов. «Костистый творог» — тоже нелепица, такая же, как крупчатое молоко или рассыпчатое масло. «Колокольные кресты» — что это значит? Сказали бы проще и точнее — кресты колоколен. «Оприколенные кони» — это тоже очень плохо.

В чистом и широком потоке Вашего языка такие обмолвки и фокусы выделяются крайне резко и раздражают своей неуместностью, фальшью. Я рассматриваю Ваше дело, Вашу работу не с точки зрения мещанского, рафинированного эстетизма, а под углом той законной эстетики, в основе которой лежит биологическое стремление живого организма к совершенству формы, а язык есть — живой организм. Чем более экономно, точно, ярко Вы изобразите словами явления социальной жизни — тем более убедительной будет социальная педагогика Вашей книги. Цель у Вас — отличная, формулируете Вы её совершенно правильно: «показать рост классово-дифференциации — расслоения — в казачестве, показать, как национальная борьба перешла в классовую, социально-революционную» — это нелегкое и строгое дело! Судя по началу, по первой книге «Горькая линия», Вы должны бы достичь Вашей цели с

полным успехом. А поэтому — долой все словесные ухищрения, фокусы, затейливые красоты! Пишите строже, проще, Вы это умеете.

«Садвакас отбросил повод и, растопырив руки крыльями, выпорхнул из седла. Конь всхрапнул, осел на задние ноги и попятился».

Это я, читатель, вижу. Но — литератор — я не сказал бы — «растопырил руки»; растопыривать — медленное движение, я бы сказал: взмахнул, гочно крыльями. Затем: если конь осел на задние ноги, так он уже едва ли мог попятиться в тот же момент, когда вся тяжесть его тела опиралась на эти задние ноги.

Следите за собой, за своим пером; иногда бывает, что оно пишет механически. Ну, вот, я наговорил Вам достаточно.

Пришли лекаря лечить меня.

Хотелось бы повидаться с Вами.

Телефон мой 3-17-09. Позвоните, если хочется, и сговоримся о часе свидания.

Жму руку М. ГОРЬКИЙ.»

Не раз от писателей, встречавшихся с Горьким, я слышал, что он часто заводил обо мне разговор, хвалил мою книжку, интересовался, как и где я живу, как работаю, спрашивал, не нуждаюсь ли я в материальной поддержке, и хотел меня видеть.

Позднее об этом первом моем романе было напечатано немало развернутых критических статей в нашей прессе. Но ни одна из них не дала мне того, что получил я от этого сравнительно небольшого горьковского письма, сыгравшего во всей моей дальнейшей литературной практике огромную роль в смысле дальнейшего роста как писателя.

После появления в печати второго моего романа «Ненависть» я уехал из Москвы и поселился в станице Пресновской Северо-Казахстанской области. В Москве же бывал только наездами. Это обстоятельство затрудняло мою встречу с Алексеем Максимовичем, о которой я так горячо и жадно мечтал долгие годы.

Весной тысяча девятьсот тридцать третьего года я, будучи членом Оргкомитета Союза Советских писателей СССР, был вызван в Москву и на одном из заседаний Оргкомитета впервые встретился с Горьким.

Во время перерыва группа писателей окружила Алексея Максимовича. Кто-то из моих литературных друзей —

теперь уже точно не помню — напомнил Алексею Максимовичу обо мне. Горький, слегка откинув назад голову, чуть прищурился, на секунду задержал на мне свой взгляд и тотчас же протянул мне руку.

— А, вот вы какой! — сказал он, улыбаясь. — А я, понимаете, представлял вас немножко иначе. Ну, что ж, давайте-ка пока посидим, потолкуем.

И не выпуская из своей большой ладони моей руки, он повел меня в смежную с залом заседаний комнату. Войдя в комнату, Алексей Максимович усадил меня рядом с собой на диван.

Я разволновался и не в силах был в эту минуту вымолвить ни слова.

Не спеша Алексей Максимович закурил и, сердито покосившись на дверь, как бы про себя сказал:

— Терпеть, понимаете ли, не могу этих заседаний...

И мгновенно до сего суровое, казавшееся холодным его лицо вдруг озарилось той обаятельной светлой улыбкой, которую нельзя позабыть каждому, кто видел ее хоть один раз.

Удивительная скромность, простота и задушевность сквозили в этой улыбке; неясная вначале, она возникала из-под больших усов и озаряла все его большое, исчерченное глубокими морщинами, одухотворенное лицо.

И от одной горьковской улыбки я сразу же почувствовал себя проще, свободнее.

Да, я горячо, много и жадно мечтал об этой встрече и, как всегда это бывает, представил ее совсем иной, необычной, отнюдь не похожей на эту столь неожиданную, теплую и простую. А мечтая об этом первом свидании, я чуть ли не наизусть выучил те вопросы, которые хотел задать Алексею Максимовичу.

Конечно, это были вопросы творческого порядка.

Но вот я встретился.

Я сидел с ним совсем рядом, на одном диване. Я ощущал его дыхание. Я любовался его красивыми большими руками, его беспокойными пальцами. Странно, но от продуманных, выношенных мною вопросов в памяти не осталось и следа.

Я смотрел на Алексея Максимовича и решительно не знал, что ему сказать, о чем спросить его.

Но Алексей Максимович заговорил со мной первый. Его интересовало решительно все, и он мне начал задавать та-

кие вопросы, которые как будто на первый взгляд не имели прямого отношения к моему творчеству.

Он стал расспрашивать меня про станицу, в которой я живу. Потребовал подробного описания природы Северного Казахстана, расспрашивал меня про мой дом, про семью.

И я, едва успевая отвечать на его вопросы, так незаметно втянулся в беседу, что от бывшего волнения и неловкости, испытанных мною в первые минуты, вскоре не осталось и следа. В заключение нашей беседы Алексей Максимович сказал:

— Очень рад за вас. Вы хорошо растете. «Ненависть» — бесспорно настоящая книга. Это большой уверенный шаг вперед. Да. Очень рад за вас. Очень. Только спешить не надо. Вы ведь совсем еще молодой. Дарование у Вас настоящее, здоровое. А дарование и молодость — это все. Да. Все.

Возобновившееся заседание прервало нашу беседу. Алексей Максимович встал, протянул руку:

— Ну-с, мы еще повидаемся. Надобно повидаться. Да. Приезжайте как-нибудь ко мне. Вот и потолкуем. Нам там мешать не станут, — улыбнулся он, потрогав усы, кивнул мне и вошел в зал заседаний, заняв председательское место.

Взволнованный этой встречей, я едва высидел до конца и вряд ли что-нибудь понимал и слышал из того, что говорилось. Целый вечер просидел я в каком-то оцепенении, не спуская глаз с открытого, то улыбающегося, то недовольно нахмуренного, такого простого, ставшего родным и близким лица.

Следующей моей книгой после «Ненависти» был роман «Родина». Работа над этой книгой протекала у меня напряженно, тяжело и длительно. Я, отлично зная, с каким вниманием следит за моей творческой практикой Алексей Максимович, все же не рискнул послать ему новую рукопись. Не хотелось отнимать у него времени на чтение вещи, явно недоработанной.

Однако Алексей Максимович сам напомнил мне, что, если я испытываю какие-либо затруднения в работе и нуждаюсь в его советах, то без всяких стеснений должен прислать ему рукопись.

Я с большой радостью передал рукопись этого романа Горькому и ровно через два дня получил от него большое письмо, в котором он, обстоятельно разобрав роман, сде-

лал мне целый ряд ценнейших замечаний. В одном из писем ко мне, касающемся, между прочим, и этой рукописи, Алексей Максимович писал:

«Я прочитал Вашу рукопись, и вот каково мое впечатление:

Вы можете писать очень хорошо; разумеется, об этом и знал уже по «Горькой линии», по «Ненависти».

«Поединок» убеждает меня, что этой книгой Вы могли бы сделать весьма крупный шаг вперед от первых двух книг, «перекрыть» их. Могли бы, но — не сделали.

Посмотрите, как хорошо, уверенно и крепко сделаны Вами: начало «Поединка», опубликованная в «Переломе» сцена Дыбина и близнецов, как ярко даны Любка, гармонист, Азаров, Шмурыгин и еще многое.

Но сцена Дыбина — близнецов повторена в сцене Боброва — Конахина, беседа человека с собакой тоже повторена, а это признак невнимания к материалу или усталости и небрежности. Повторений — много, еще больше ненужных длиннот: длинна беседа Боброва — Татарникова, речь Тургаева, заседание и т. д., а вообще чувствуется торопливость, которая портит повесть. Портит ее и то, что Вы постоянно прерываете последовательность развития описаниями — при этом многословными — фактами прошлого времени. Все время читатель, сделав шаг вперед, принуждается Вами возвращаться за версту назад. Этим Вы разрушаете сложившееся впечатление читателя.

Обратите внимание на стр. 70, 129—130, 160 и последние стр. рукописи, все это требует сокращений, переработки, разработки.

Если вы напечатаете повесть в том виде, какова она есть, Вы ее погубите, а переработав, дадите ценную книгу, — в последнем я убежден.

Очень советую: не торопитесь печатать. Если Вам нужны деньги — возьмите у меня. Я немедленно начну хлопотать о квартире для Вас.

Вам следует работать над собой много и серьезно, у Вас хорошее, здоровое, революционное дарование, его необходимо расширить, углубить.

Кармацкая — шаблонна, ей следует придать какие-то черты своеобразия. Некоторые фигуры, напр. Катюша, являются неожиданно, неоправданно, некоторым, например Тузику, отведено слишком много места. Тузика — Геромогена повторяет сцену Боброва — Татарникова. Вообще повесть хаотична, и ясно видишь, что автор не разо-

брался в материале, недостаточно внимательно и логично распределил его.

Извините непрошеную критику и примите искреннее пожелание успеха в работе над повестью.

Жму руку М. ГОРЬКИЙ».

В третьем, последнем, своем письме Алексей Максимович писал мне:

«Очень бы хотелось помочь Вам и, разумеется, буду искать квартиру, но не надеюсь, что это удастся скоро. Странно поступил Оргкомитет по отношению к Вам, я этим «дельцем» займусь.

В равном с Вами положении находится добрый десяток литераторов, тоже заслуживающих серьезнейшего внимания, и летом совершенно необходимо построить дом для Вас, о чем уже хлопочу.

Начал читать «Поединок». По началу — весьма нравится: густо, просто, ясно.

Приветствую — А. ПЕШКОВ».

Естественно, что после получения такого письма многое мне пришлось передумать, многое перестроить в романе сообразно с теми замечаниями, какие мне сделал Алексей Максимович.

Как удались эти мои переделки — судить не мне. Во всяком случае я в меру сил и дарования старался сделать эту книгу. А это стоило мне немало трудов и усилий.

Вскоре после того как рукопись этого романа была прочитана Алексеем Максимовичем, в марте тысяча девятьсот тридцать четвертого года я приехал в Москву. И на второй же день после моего приезда мне сообщили, что меня хочет видеть Алексей Максимович.

В полдень восьмого марта мне позвонили и передали приглашение Алексея Максимовича побывать у него в тот же день вечером на даче. Алексей Максимович жил в это время в нескольких десятках километров от Москвы, в Горках.

В восьмом часу вечера за мной на квартиру заехал автомобиль, и я вместе с работниками Горьковского обкома партии, тоже приглашенными Алексеем Максимовичем, выехал в Горки.

Мягкий, пушистый снег уютно падал на верхушки дремотно покачивающихся по обочинам шоссеной дороги

елей и сосен. Приглушенно и ровно пел свою песню автомобильный мотор. Буйно и молодо плясали в молочно-белом отблеске фар сияющие снежные звезды. Бешено мчалась навстречу нам мгла мартовской ночи.

И опять я испытал уже некогда пережитое мною радостное волнение. И опять я думал только об одном, только о предстоящей встрече.

В Горки мы приехали в десятом часу вечера.

В вестибюле нас встретил сын Алексея Максимовича. Раздевшись, мы прошли вслед за Максимом в большую светлую залу, посредине которой за накрытым к ужину столом сидела вся семья Горького, за исключением внуков его Марфы и Дарьи.

Алексей Максимович поднялся из-за стола и пошел к нам навстречу.

Он был в светло-сером костюме, в темно-голубоватой шелковой рубашке, в мягких фетровых сапогах. Поздоровавшись с нами, Алексей Максимович усадил меня рядом с Максимом, а сам сел напротив нас.

И опять, как в первую нашу встречу с Алексеем Максимовичем, очень скоро от бывшего волнения у меня не осталось и следа.

В кругу горьковской семьи я почувствовал себя так легко и просто, точно все мне было здесь давно уже привычно, близко и дорого, как дома.

И под умиротворяюще ровный и грустный шум самовара, под легкий и вкрадчивый звон чайной посуды началась длительная беседа с Алексеем Максимовичем.

Товарищи из обкома партии, приехавшие вместе со мной к Горькому, стали рассказывать Алексею Максимовичу о книге «История Горьковского края», которую задумали писатели города Горького. Не то эти товарищи были взволнованы, не то они недостаточно хорошо продумали план книги и освоили материал, но впечатление от их доклада получилось незавидное.

Говорили они путано, прыгая с одной темы на другую.

Однако Алексей Максимович слушал их с исключительным вниманием. Попыхивая своей неизменной папиросой, складывая в пепельницу крошечные обломки спичек, потом поджигая их, он смотрел на весело мигающий огонек пристально, долго, изредка поднимая глаза на окружающих его собеседников. А потом, когда они кончили, сказал:

— Было, понимаете, в Нижегородской губернии такое село. Любопытное село. Мужики там занимались астроно-

мией. В тысяча восемьсот девяносто втором году добыли они себе где-то телескоп. Из Америки, говорят, выписали. Интересный народ. О них надобно рассказать в книге. Да. Очень любопытно...

И Алексей Максимович с присущим ему мягким юмором начал увлекательный рассказ из истории бывшего Нижегородского края, обнаружив в этом рассказе не только отличные знания истории своего родного города и всей бывшей Нижегородской губернии, но и исключительную, поразившую всех нас феноменальную память.

В это время на верхней половине горьковского дома было шумно. До нас доносились звонкие голоса, неясные звуки рояля, обрывочные мелодии веселой русской песни.

Во время беседы с нами Алексей Максимович, нередко неожиданно примолкнув, слегка запрокинув голову, прислушивался к приглушенному шуму, а потом, улыбаясь, говорил:

— Весело. Там у нас сегодня праздник. Хорошая молодежь.

Потом, легко барабанив пальцами по столу, он на секунду о чем-то задумался и, обратившись к Максиму, сказал:

— Слушай-ко, им бы туда патефон надо. Веселее будет. Максим Алексеевич тотчас же поднялся из-за стола и вскоре прошел мимо нас наверх с патефоном.

После затянувшейся беседы с горьковскими товарищами Алексей Максимович обратился ко мне:

— Ну-с, а теперь наша с вами очередь. Пойдемте, по-толкуем.

Он встал, и мы пошли в смежную с залой небольшую комнату.

Круглый палисандровый столик, несколько стульев вокруг — вот и вся несложная обстановка этой комнаты.

Алексей Максимович завел со мной разговор о прочитанной им рукописи «Поединок». Меня удивило, что он отлично помнил рукопись, хотя читал ее месяца два назад: перечислил по имени всех многочисленных героев этого романа и обстоятельно, подробно рассказал о моих промахах в композиции, в обрисовках тех или иных персонажей.

Беседуя со мной, Алексей Максимович продолжал складывать в большой плоской пепельнице спичечные костры, зажигал их и, когда шафранно-желтое пламя начинало весело плясать, его голубые пронизательные глаза устремлялись на этот танцующий огонек. Лицо его обретало сосре-

доточенное, слегка грустное выражение. О чем он думал в эту минуту, глядя на ликующий, то буйно вспыхивающий, то медленно угасающий костер? Вспоминались ли ему степные дороги Прикаспийских равнин, по которым шагал он когда-то? Воскрешал ли в его удивительной памяти этот маленький огонек былые вечера, проведенные им где-то на берегах Волги? Или, может быть, ассоциировалась с огнем древняя бурлацкая, когда-то слышанная им в пору его неприветливой горькой юности песня?

— Вам непременно надобно будет побывать за границей. Очень полезно съездить. Посмотрите на зарубежного крестьянина и вы многое поймете. Да. Надобно. Я вам помогу в этом,— сказал он после некоторого раздумья и потом характерным, чисто горьковским, сжатым, образным языком стал увлекательно рассказывать мне об Италии, о жизни и быте итальянских крестьян.

Беседа наша затянулась далеко за полночь. Я испытывал большую неловкость оттого, что так много времени отнял у Алексея Максимовича на эти разговоры.

Вот он поднялся и, улыбаясь, сказал:

— Вы терпеливый человек. Эвон сколько слушали меня. Ну-с, пойдемте к столу. А на дорожку еще и чайку надобно будет выпить.

И уже глубокой ночью, когда мы, не смея больше утомлять Алексея Максимовича, поднялись из-за стола и стали собираться к отъезду, он, несмотря на протесты близких, вышел нас провожать в вестибюль. В вестибюле было прохладно, и близкие Алексея Максимовича, боясь, что он простудится, стали уговаривать его вернуться в залу.

Но он не хотел и слушать. Было видно, что его сердили эти уговоры.

Насупив мохнатые брови, он отмахивался от окружающих его родственников и продолжал стоять в вестибюле до тех пор, пока мы не оделись и, простившись с ним, не покинули дома.

Уже садясь в автомобиль, я обнаружил, что забыл в вестибюле галоши.

Когда я вернулся, Алексей Максимович все еще продолжал стоять на том же месте. Я смущенно начал что-то бормотать о забытых галошах.

— Ну, это хорошая примета. Стало быть, мы еще увидимся с вами,— сказал он, улыбаясь.

Я вышел из дома, сел в машину и еще раз взглянул на зеркалальные двери дачи. В мягком печально- и призрачно-

матовом свете по ту сторону тяжелых дверей я увидел Алексея Максимовича. Он стоял, высокий, улыбающийся.

Вот приветливо махнул нам на прощанье рукой, и у меня с такой болью сжалось сердце, точно я почувствовал, что вижу его в последний раз.

Предчувствие меня не обмануло.



## **В ГОСТЯХ У Е. П. ПЕШКОВОЙ**

Екатерина Павловна Пешкова — жена и друг Алексея Максимовича Горького. В тысяча восемьсот девяносто пятом году, работая корректором «Самарской газеты», она впервые встретилась с Алексеем Максимовичем Пешковым, в то время безвестным начинающим литератором, и связала с ним свою жизнь.

В течение многих лет Екатерина Павловна была неутомимым помощником Алексея Максимовича. В последние годы жизни Екатерина Павловна работала сотрудником Архива А. М. Горького. Несмотря на свой возраст, она была полна энергии и принимала активное участие в подготовке к печати литературного наследия А. М. Горького, оказывала неоценимую помощь советским и зарубежным горьковедам.

В тысяча девятьсот пятьдесят пятом году опубликованы подготовленные Е. П. Пешковой письма Горького к ней за 1895—1906 годы (Архив А. М. Горького, Гослитиздат, М., 1955).

Незадолго до ее кончины в тысяча девятьсот шестьдесят четвертом году вышел в свет второй том писем (1906—1932 гг.).

Письма А. М. Горького к Е. П. Пешковой — одно из интереснейших явлений мировой эпистолярной литературы. Эта переписка возникла почти одновременно с началом литературной деятельности Горького и протекала с незначительными перерывами почти до самого конца его жизненного пути. Жизнь и деятельность Горького на протяжении сорока лет, его встречи, замыслы, духовные искания отражены в этих письмах. Их справедливо называют своеобразной летописью жизни и творчества Горького.

\* \* \*

Приехав несколько лет назад в Москву по делам журнала «Простор», я после долгих раздумий и колебаний все

же набрался решимости позвонить на квартиру жены А. М. Горького — Екатерины Павловны.

Не без волнения и робости набрал я номер телефона. Второпях — через пятое на десятое — объяснил секретарю Екатерины Павловны, кто я и что к чему. В ответ любезно попросили меня несколько подождать, не вешая трубки, пока обо мне доложат хозяйке квартиры.

Жду. И еще больше волнуюсь. Вдруг столь же любезный отказ в приеме под каким-либо благовидным предложением?!

Но нет. Через пяток минут мне говорят:

— Екатерина Павловна просит вас быть у нее завтра к четырем часам дня.

И вот на другой день ровно в четыре часа я у подъезда знаменитой московской квартиры в бывшем Машковом переулке, ныне ул. Чаплыгина. Старинный, типичный для старой Москвы многоэтажный доходный каменный дом, в каком жила в дореволюционные времена солидные с достатком квартирсыемщики.

На площадку четвертого этажа — к квартире Екатерины Павловны — можно подняться лифтом. Но я поднимаюсь по лестнице... По тем самым гранитным ступеням, на которые не раз ступала нога Горького. По этим же ступеням, посещая Алексея Максимовича, поднимался к нему Владимир Ильич Ленин...

Вот и квартира 16.

Звоню.

Меня приглашают подождать в просторной гостиной. Сажу, разглядываю комнату. В углу старинный вишневого цвета рояль. Посреди большой круглый стол, накрытый темно-вишневой скатертью.

С тревожным изумлением, со все нарастающим душевным трепетом приглядываюсь к окружающим меня вещам, и в воображении моем возникают живые образы А. М. Горького и В. И. Ленина, встречавшихся в этой комнате...

Но вот в дверях смежной с гостиной комнаты показалась хозяйка квартиры — Екатерина Павловна. Хрупкая, не по возрасту подвижная, приветливо улыбающаяся женщина. Странно, но матовое серебро строгой прически не старило, а неожиданно как-то молодило ее. А может быть, молодостью веяло от ее теплых карих глаз, которые и на склоне лет смотрели на мир с изумлением...

Был предложен черный кофе. И разговор наш сразу обрел доверительно-непринужденный, добрый тон.

Слушая Екатерину Павловну, я живо представил себе высокую, слегка сутуловатую фигуру Алексея Максимовича, и в памяти возникали мои встречи с ним в его московской квартире на Мало-Никитской и в бывшем загородном имении Саввы Морозова в Горках под Москвой.

Светлый мартовский вечер тысяча девятьсот тридцать четвертого года. Горки. Ужин за большим длинным столом в зале. Максим — сын Горького — сидел за столом против меня и с таким же увлечением и изумлением, как и все родные и гости, слушал удивительные, неповторимые, мастерские рассказы Алексея Максимовича из истории Нижнего Новгорода.

Во время устных горьковских рассказов часто возникал дружный смех, и заразительнее всех до слез смеялся Максим. Между тем Алексей Максимович то и дело с притворной строгостью своим знаменитым по-нижегородски окоающим баском поцокивал на сына:

— Ну-ко, ты не мешай-ко мне, не сбивай-ко с толку-то...

И Максим, с трудом сдерживаясь от хохота, продолжал все же смеяться, глядя в строгое лицо отца восторженно-сияющими, полными сыновнего тепла и света глазами...

Легко и непринужденно, так же доверительно просто и доброжелательно разговаривал тогда со мной, почти мальчишкой, великий Горький, как теперь, спустя три десятилетия, разговаривала со мною верный друг Алексея Максимовича — его жена.

— Сейчас я заканчиваю подготовку к печати второго тома писем,— рассказывала Екатерина Павловна.

И на мою просьбу предоставить нашему журналу хотя бы два-три письма из этой книги, Екатерина Павловна, подумав, с улыбкой сказала:

— Ну, что ж с вами сделаешь, придется, видимо, уважить. Завтра мы с моим секретарем отберем для вас несколько писем.

И письма эти, прокомментированные и завизированные Екатериной Павловной, на другой же день были мною получены из ее рук в точно названный накануне час.

Беседуя с Екатериной Павловной, я, конечно, не мог не спросить ее о посещении этой горьковской квартиры Владимиром Ильичем Лениным поздней осенью грозного 1919 года.

— Владимир Ильич был у нас здесь дважды,— сказала Екатерина Павловна.— Но первая наша встреча с ним, к сожалению, не состоялась. Это было в первых числах октября девятнадцатого года. Алексей Максимович, приехав из Питера, позвонил в Кремль Владимиру Ильичу попросить о приеме. Но Владимир Ильич сам захотел побывать у нас. Помню, как просветлело при этом лицо Алексея Максимовича и как радовался совсем как ребенок наш сын.

Помолчав, Екатерина Павловна продолжала:

— Год был, сами знаете, не из легких. И Питер и Москва голодали. Алексей Максимович привез нам из Петрограда три фунта гречки. И мы, готовясь к встрече с Владимиром Ильичем, наварили на скорую руку каши. Алексей Максимович очень волновался. Ходил взад-вперед вот по этой комнате. То и дело заглядывал к нам в кухню, и, предвкушая роскошный ужин в обществе Владимира Ильича, с удовольствием потирал руки...

Но время шло. А Ильича мы в тот вечер так и не дождались, но он позвонил. Оказалось, что Владимир Ильич приезжал в этот вечер к нам. Но у нас в эту пору не работал лифт. А подниматься по лестнице Ленину, еще не совсем оправившемуся тогда после перенесенного ранения, было запрещено, и он вынужден был вернуться в Кремль... А роскошный ужин наш, приготовленный в честь Ильича, прошел без него невесело. Алексей Максимович выглядел в тот вечер хмурым, и, вопреки обыкновению, был неразговорчивым.

— А когда Владимир Ильич слушал «Аппассионату»?— спросил я.

— Это было уже в конце ноября того же девятнадцатого года,— отвечала Екатерина Павловна.— Приехав на этот раз в Москву из Петрограда, Алексей Максимович в тот же день послал сына в Кремль узнать, когда Владимир Ильич сможет принять его.

Не минуло и часа, как взволнованный и возбужденный Максим ветром ворвался в квартиру, скороговоркой выпалил не менее взволнованному отцу, что нынче вечером Владимир Ильич придет к нам. И хотя лифт наш по-прежнему бездействует, на этот раз Ленину разрешено подняться к нам по лестнице.

Не стану повторять, как вновь переволновались все мы в тот вечер в ожидании Владимира Ильича. Он пришел в начале пятого.

Алексей Максимович, ожидая дорогого гостя, в этот вечер пригласил приехать к нам старого друга — пианиста Исаю Добровейна. Оба мы с Алексеем Максимовичем знавали этого «вундеркинда» еще ребенком — по Нижнему Новгороду, когда он с громадным успехом выступал во время Нижегородской ярмарки в концертном зале филармонии.

Исай Добровейн приехал к нам тотчас после звонка Алексея Максимовича. Узнав, что у нас сегодня будет Владимир Ильич, пианист растерялся и долго не мог прийти в себя от волнения. Потом он долго и нервно рылся в кипах нот, лежавших вот на этом рояле, и говорил нам, что он решительно не знает, что же ему сыграть для Ленина. Алексей Максимович как мог успокаивал пианиста и слегка подтрунивал над его почти ребяческой растерянностью.

Но вот приехал Владимир Ильич, и все вдруг стало столь просто, непринужденно, что успокоился и добрейший наш друг Исай Добровейн...

В этот вечер, — вспоминает далее Екатерина Павловна с заметным волнением, — Владимир Ильич пробыл у нас до глубокой ночи. За чаем Ленин долго разговаривал с Горьким, расспрашивал его о Питере, о жизни и быте ученых, литераторов, художников, композиторов.

Помню, когда зашла речь о вашем земляке — сибирском этнографе и литераторе Василии Ивановиче Анучине, Владимир Ильич заговорил о нем с особенным интересом и тут же рассказал нам о том, как на пути в Шушенское познакомился в Красноярске с Анучиным и благодаря ему получил там доступ в знаменитую библиотеку купца Юдина. Вообще в тот вечер Владимир Ильич был оживленным и много рассказывал о Сибири. Он с огромным волнением говорил о несметных богатствах этого обширного края России и о расцвете его в недалеком будущем.

Разговор между Алексеем Максимовичем и Ильичем, может быть, затянулся бы в тот вечер, так они оба были увлечены. Но Исай Добровейн, уловив время, сел за рояль.

Владимир Ильич и Алексей Максимович сразу умолкли и при первых же аккордах шопеновских прелюдий ушли в себя.

После Шопена Добровейн, выдержав небольшую паузу, начал «Аппассионату».

Владимир Ильич сидел вот здесь — чуть поправее от вас — за этим столом. Вот на этом стуле Алексей Макси-

мович, где сижу сейчас я. Максим стоял, облокотясь на крышку рояля...

Завтра меня приглашают на «Мосфильм». Будет просмотр нового, готового уже фильма об Ильиче и Алексее Максимовиче. Это — «Аппассионата»,— сказала Екатерина Павловна.

И потом тут же спросила меня:

— А вы, бывая у Алексея Максимовича, видели его внучек — Дарью и Марфу?

— Видел обеих — детьми. В Горках. Восьмого марта. В тридцать четвертом году.

— Да. Немало воды утекло... А знаете, Даша играет в «Аппассионате» меня,— сказала с чуть заметным смущением Екатерина Павловна.— Я видела пока отрывки, но думаю, что картина получится. Огромное впечатление оставляет образ Владимира Ильича в превосходном, талантливом исполнении Бориса Александровича Смирнова.

На прощание я с горячей благодарностью крепко пожал руку этой замечательной русской женщины — верного друга великого писателя.

**чужбина**

## ПЕРЕЛЕТ ЧЕРЕЗ АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН

Не берусь судить, как у девяти моих спутников по заокеанскому нашему путешествию, а у меня, впервые в жизни покидавшего родину, не шибко ладно, тревожно и грустно было на сердце в то безмятежно спокойное, умиротворяюще-кроткое августовское утро перед дальней дорогой. Просторные площади и проспекты, широкие улицы и уютные тихие переулки, тенистые сады и парки, бульвары и скверы столицы казались теперь — в их прощальном для нас значении — еще более нарядными, трижды прекрасными. И сердце щемило при мимолетном взгляде на молодые липы Тверского бульвара, на поникшую в глубоком раздумье бронзовую голову Пушкина, на неповторимое чудо национального нашего русского зодчества — храм Василия Блаженного, на неугасимые, жарко пылающие в ярком утреннем свете рубиновые звезды над вершинами шатровых и стрельчатых башен Кремля...

Была середина августа — венец среднерусского лета. Тучи скворцов, табуясь в подмосковных полях и рощах, собирались уже к отлету. Косяки лосей с возмужалыми в канун осени лосенятами мирно паслись по зеленым опушкам.

А в дремучих грибных лесах Подмосковья уже рдели багряные гроздья рябины. И осины, как жаркие свечи, кротко теплились рыжим пламенем зябко трепещущей при безветрии листвы...

Таким запомнилось Подмосковье — неяркая, навеки милая сердцу краса России — перед нашим отлетом за океан.

И, поднимаясь на борт воздушного лайнера, я бережно держал букет застенчивых полевых ромашек, сорванный накануне Александрой Александровной Есениной под Рязанью, в приокских лугах.

— Помню, когда я девчонкой провожала вместе с родными Сергея в Америку, я подарила ему на дорогу вот такой же букет ромашек. Бери — это к счастью! — сказала мне на прощанье Александра Александровна Есенина.

Кроме некрикливых, скромных рязанских ромашек увозил я с собой за океан и еще один такой же бесхитростный дар родных степей Северного Казахстана — хрупкий стебель молодой мелколистной полыньки. Чуть пряный нежный запах ее всегда сопутствовал мне в моей непоседливой прежде жизни. И этот томящий душу, напоминающий о родине аромат царицы былых целинных степей не раз потом вдыхал я украдкой в полутемных ущельях гранитных джунглей Чикаго и Нью-Йорка, и на побережье озера Мичиган, в тени пышных скверов и парков по провинциальному тихого Вашингтона, и на сверкающих неоновыми огнями улиц Филадельфии, у гранитных парапетов грозно ревущего и грохочущего Ниагарского водопада.

— Внимание, товарищи! — прозвенел голос нашей бортпроводницы Тани Боголюбовой, как только заняли мы в самолете свои места. — Внимание!.. От Москвы до Брюсселя — три часа перелета. При крейсерской скорости нашего лайнера — девятьсот пятьдесят километров в час — через Ригу, Амстердам, Копенгаген пройдем напрямую, без посадки. Таким образом, столицами Латвии, Дании и Голландии сможем мимоходом полюбоваться только с высоты восьми-девяти тысяч метров. Кстати, видимость на всей трассе — вплоть до Брюсселя — отличная. Через тридцать минут после взлета — завтрак. Прошу привязаться к сиденьям ремнями. Через пять минут вырливаем на старт...

— О' кэй! Ол райт! — хором отозвались многие из нас, наперебой щеголяя друг перед другом знанием английского языка, второпях почерпнутым из припасенных разговорников.

Молодая бортпроводница международных авиалиний безупречно, по словам сведущих наших спутников, говорившая по-английски, ответила нам какой-то шуткой. Но звонкий голос ее мгновенно погас, когда заревели вдруг заработавшие враз турбины нашего воздушного корабля.

Кипящий огненный шквал, бушуя в утробе турбин, вырывался из их опаленных раструбов вихревыми потоками

жарких струй, и сигарообразный корпус самолета нетерпеливо вибрировал, готовый к рывку.

Часы показывали при старте десять ноль-ноль. А через час с четвертью под скошенными крыльями корабля показалась потонувшая в старинных садах и парках, залитая сиянием солнца и ослепительным блеском взморья Рига.

Спустя еще три четверти часа мы увидели справа по борту Копенгаген, щедро прикрытый зеленью бульваров и парков.

И не успели мы как следует приглядеться с высоты девяти тысяч метров к колоритным, словно писанным акварелью пейзажам Дании, а потом — к похожим на заманчивые красочные детские игрушки знаменитым голландским ветряным мельницам, как наша стюардесса объявила:

— А теперь извольте любоваться Амстердамом!

Все мы прильнули к иллюминаторам, приглядываясь к контурам островерхих готических крыш голландской столицы. Но тотчас же прозвучала строгая команда:

— Прекращайте курить, товарищи! Подходим к Брюсселю!

Мы были немало удивлены. Да и было чему удивляться. Оказалось, что на полет от Амстердама до Брюсселя нашему «ТУ-104» понадобилось всего тринадцать минут!

Так через три часа — минута в минуту — после вылета из Москвы мы приземлились на бельгийской земле — в Брюсселе.

Бетонированные взлетно-посадочные дорожки Брюссельского аэродрома были проложены прямо среди лугов и пашен бельгийских крестьян. Здесь повсюду: то тут, то там маячили аккуратно заправленные стожки сена и коло-силы хлеба. И сразу было понятно, как недешево, видно, ценится в этой стране каждый клочок земли, любовно возделанной трудолюбивым ее народом!

Здесь нас встретили представители американо-бельгийской авиакомпании «Сабена», на лайнере которой нам предстояло совершить перелет через Атлантический океан в Нью-Йорк с посадкой в Монреале — Канада.

Вылет наш из Бельгии намечался в одиннадцать тридцать вечера по средневропейскому времени. Таким образом, мы могли провести в Брюсселе около двенадцати часов. И представитель «Сабены», весьма подвижный, не смотря на свою полноту, очень живой, не обиженный, как мы заметили, чувством юмора, общительный американский

бизнесмен мистер Хорейс Сименс любезно предложил нам познакомиться с бельгийской столицей. Бельгийских виз в заграничных наших паспортах не было. Но полицейские чиновники — белокурые молодые бельгийцы в голубых рубашках с черными галстуками — после некоторой заминки, сдержанного препирательства с мистером Хейресом Сименсом все же благосклонно разрешили нам выезд в город в сопровождении очень юного вежливого бельгийца, совсем не худо говорившего по-русски, — нашего гида и переводчика.

А мы в это время не спеша бродили по залам Брюссельского аэровокзала. Бросается в глаза лаконичная строгость линий. Никаких излишеств и украшательств во внутренней и внешней отделке. Обилие света и воздуха. Очень чисто. Много стекла. Даже сквозь прозрачную крышу иных залов виднеется спокойное бледно-бирюзовое небо.

В залах удобные мягкие кресла, где можно посидеть, передохнуть, а то и вздремнуть ненароком.

В зале таможенного досмотра целая галерея высоких узких конторок, похожих на клубные наши трибуны или на университетские кафедры, за которыми стоят чиновники в униформе.

Таких контрольных конторок тут добрая дюжина. Это для того, чтобы не допускать очередей при проведении пограничных формальностей при таможенном досмотре багажа. И это очень хорошо. Очень удобно.

Пассажиров в транзитном зале негусто. Четверо американских бизнесменов — наших спутников по предстоящему трансатлантическому перелету, как сказал нам об этом мистер Сименс, — дымя сигарами, деловито играли за низким круглым столиком в покер.

Трое немецких бюргеров блаженно дремали в низеньких креслах «модерн».

Две же сидевших в стороне от бюргеров католических монахини — одна из них пожилая с постным, отрешенным лицом, другая — совсем еще молодая, лукавоглазая, пухлогубая — заняты были каждая своим делом. Старшая монахиня, смиренно потупив полупотухшие очи, читала карманный молитвенник да то и дело, поднося к носу изящный розовый флакончик, нюхала какое-то снадобье. Младшая же, примостив на острых своих коленях портативную пишущую машинку, бойко, как заправская секретарша, что-то строчила.

В залах аэропорта много зеркальных витрин торговых

бельгийских фирм. Плавающие неоновые вывески: «Цены снижены!», «Распродажа без налогов!»

За стеклом прилавков — сувениры. Датский шоколад. Гаванские сигары в массивных деревянных коробках. Модные французские духи «Шанель». Броские яркие таблетки с американской жевательной резиной. Крошечные — на сто грамм — бутылочки с французским коньяком «Марти» и английским виски. Паркеровские авторучки. Сверкающие всеми цветами радуги глянцевые открытки с видами бельгийской столицы. Орлоновые дамские сумочки — последние творения Америки.

— Ба! Да тут, слышу по разговору, наш народ. Соотечественники?! — прозвучал вдруг за нашими спинами изумленно-веселый, певуче-русский голос.

Мы оглянулись.

— Мельников. Советник нашего посольства в Люксембурге. Будем знакомы. Здравствуйте, товарищи! — говорит, энергично пожимая нам руки, русоволосый крепыш с тронутыми седinou висками. Сразу же бросилось в глаза добродушно-деревенское его лицо. И своей внешностью он напомнил мне в первую минуту скорее секретаря сельского райкома партии, чем международного дипломата.

Однако за столь обыденной внешней его неброскостью перед нами раскрылся самобытно-яркий, энергичный, волевой характер, острый пылливый ум этого общительного, образованного человека.

Все это мы почувствовали за мимолетные полчаса, которые провели в обществе нашего дипломата за чашкой превосходного черного бельгийского кофе, поданного нам по его просьбе несуетливыми, пренсполненными собственного достоинства, но услужливыми и вежливыми гарсонами.

Больше того.

Мы успели привязаться к нему, и уже не хотелось так скоро расставаться с ним. Но нас и его ждали. Его — автомашина, нас — сервированный в ресторане аэропорта для завтрака стол. Завтрак этот давался в честь нашей группы советских писателей и редакторов столичных газет представителями авиакомпании «Сабена».

— Жалко, товарищи, что потолковали накоротке. Но я спешу засветло проскочить на автомобиле горную часть дороги на Люксембург. Там ездить ночью при здешних темпах и нравах автомобильного движения небезопасно, — сказал на прощание наш соотечественник, пожелав счаст-

ливого перелета через океан и благополучного путешествия по Америке.

Завтрак начался с хрустальных бокалов воды со льдом, на который не скупилась стоявшие за нашими спинами гарсоны в ослепительно-белых кителях с черными, украшенными замысловатыми золотистыми вензелями погончиками. Затем были поданы внушительные ломти ароматной дыни. Потом — апельсиновый сок. За соком — бифштекс. Ну и, разумеется, непременно в таких случаях американские виски с содовой водой. Были французский коньяк «Марти», бельгийский ром и на закуску — поджаренные земляные орехи. Из уважения к радушному гостеприимству любезных наших хозяев мы в меру все отведали.

Больше же всего, по правде говоря, понравился нам всем за этим завтраком великолепный черный кофе. Его искусно готовили у нас на глазах в старомодных спиртовых кофейниках священнодействовавшие, как жрецы, гарсоны.

Очень словоохотливый, сияющий мистер Хейрес Сименс говорил:

— В самом деле, если трезво подумать, зачем и из-за чего враждовать нам с великой Россией? Не лучше ли торговать нашим могучим мировым державам.

— Вы правы, мистер Сименс. Нам приятно слышать все это из уст американца,— с искренней любезностью отвечали мы, чокаясь по русскому обычаю бокалами с бизнесменом «Сабены».

— За прочную дружбу России и Америки, джентельмены!

— За мир во всем мире!

Завтрак, устроенный в честь нашей группы представителями «Сабены», завершился приятным сюрпризом: в аэропорт приехали бельгийские журналисты — представители брюссельских газет во главе с президентом Национального клуба прессы господином Арнольдом Крэггом. Они прибыли в аэропорт, по словам их президента, не только взять у нас интервью для своих газет, но и пригласить нас быть почетными гостями их клуба.

Познакомились.

Быстро сошлись. И нашли, как говорится, общий язык. Обменялись визитными карточками, автографами, сувенирами. И, особенно не мешкая, отправились затем на автомобилях любезных бельгийских коллег в путешествие по Брюсселю.

Город красив. Яркий. Шумный. Нарядный. Обилие зелени

и цветов. Много памятников национальной славы и... голубей.

На улицах чистота. Нам говорили, что многие ревниательные бельгийские хозяйки моют тротуары вблизи своих жилых домов с мылом. Этому можно поверить. Ни клочка бумаги, ни газетного обрывка, ни окурка под ногами на брюссельских улицах не увидишь.

Понравились тайники-автоматы — небольшие металлические сейфики, вмонтированные в стены иных домов бельгийской столицы. Вам, положим, причиняет неудобство сверток с покупкой. В таком случае опустите в любой из этих свободных металлических тайников монету, и в дверцах малогабаритного сейфа вы найдете ключик, на который и закроете до поры до времени свою покупку. Ничего не скажешь. Ловко. Спოდручно. Удобно!

С большим умением и вкусом представлен разнообразный товар, что называется, лицом, в роскошных зеркальных витринах магазинов, не забитых, как мы заметили, покупателями.

Вечером, после четырехчасовой прогулки по многолюдным улицам Брюсселя, по великолепному Королевскому его парку, по Большой площади, замкнутой в каре потемневших от времени дворцов, с балкона одного из которых читал Карл Маркс знаменитый свой «Коммунистический манифест», мы приехали в Клуб национальной печати.

Это весьма оригинальное по архитектурному решению, сравнительно небольшое, но довольно вместительное и уютное двухэтажное каменное здание было сооружено на средства бельгийских журналистов в послевоенные годы.

Знакомя нас со своим домом, хозяева не без заметного тщеславия подчеркивали, что в закладке их клуба приняла участие сама королева Бельгии — Елизавета!..

В клубе есть зал для пресс-конференций и просмотров кинофильмов. Здесь собрана превосходная библиотека.

На стенах одной из комнат портреты бельгийских литераторов и журналистов, погибших в годы второй мировой войны, замученных в гитлеровских лагерях смерти. В застекленных витринах хранится их личное боевое оружие, ордена и регалии, написанные ими книги, брошюры, статьи.

И когда мы в скорбном безмолвии стояли в этой тихой, мягко освещенной комнате, невольно подумалось: «Вот

традиция, достойная уважения. И никто не осудил бы нас, если бы мы ее переняли у наших бельгийских коллег!..»

Обстановка в клубе бельгийских газетчиков была сердечной, простой, товарищеской, не скованной никакими условностями. С открытым сердцем, начистоту расспрашивали мы друг друга о жите-бытье.

Дружеский разговор наш с гостеприимными хозяевами Национального клуба печати Бельгии в уютном их доме за чашкой непременно здесь кофе мог затянуться до глубокой ночи.

Но нам пора было поторопиться в аэропорт — приближалось время отлета. И мы, на прощанье обменявшись с новыми нашими приятелями крепкими рукопожатиями, покинули их радушный дом.

В условленный час вернулись в аэропорт. Между тем наш вылет затягивался. Близко к полуночи над Брюсселем приударил ливень. Озорной. Резвый. Веселый.

Нас не очень развеселило сообщение первого пилота американского турбовинтового лайнера «САС-913» капитана Арнольда Френди о том, что на нашей трассе, где-то в безбрежной дали Атлантического океана, в широтах Азорских островов, разбушевалась гроза.

Флегматично посасывая полупогасшую свою пенковую трубку, этот, видать, бывалый, пилот, не один раз пересекавший на воздушных трансатлантических кораблях грозные просторы беспокойного океана, внушал нам невольное уважение. И когда наконец пригласили на посадку, мы, несмотря на неунимавшийся шквальный ливень, оживились, уверовав в то, что с таким воздушным волком, каким выглядел Арнольд Френди, в океане не пропадешь!

В крошечно-аспидной мгле, при бушующем ливне поднялись мы в воздух с Брюссельского аэродрома. Минут десять были видны еще где-то далеко-далеко внизу смутно мерцающие под проливным дождем пунктирные цепи огней бельгийской столицы. Но вскоре они как бы мигом погасли.

Мгла плотно прижалась к стеклам иллюминаторов. И самолет, напряженно и глухо гудя своими турбинами и моторами, будто неподвижно повис над бездной.

Под нами был океан!

Трансатлантический наш перелет от Бельгии до побережья Канады начался.

Из кабины в салон вошел нерослый сухопарый человек в форме американского гражданского летчика. Это был

второй пилот, правая рука капитана Арнольда Френди Карро Телленгер, итальянец по происхождению. На тонкой жилистой шее Карро красовалось нечто вроде оранжевого хомутика или нагрудника с какими-то многочисленными шнурочками, кармашками и подвязками. Приняв театрално-картинную позу, развязно поигрывая одним из шнурочков своего нагрудника, Карро сказал довольно-таки беспечным голосом:

— Леди и джентльмены! Впереди — четырнадцатичасовой перелет через Атлантический океан... Прошу обратить внимание. Перед каждым из вас в кармане спинки переднего кресла имеется вот эта самая штучка. Это — аварийный спасательный пояс на случай вынужденной посадки нашего лайнера в открытом океане... Вот таким образом, — он продемонстрировал, как именно, — вы наденете этот пояс на шею. Вот так вы завязываете у себя за спиной эти шнурки. А затем надуваете этот пояс вот так — при помощи вот этой резиновой трубки. И все в порядке!

— Ол райт! — бодро сказал один из наших спутников — американский бизнесмен.

— Леди и джентльмены! — продолжал Карро наигранно-бойким голосом. — Вот в этом кармане, прошу обратить внимание, свисток. — В этом — электрический фонарик с сигнальной лампочкой. В этом — порошок от акул... В случае вынужденной посадки наш лайнер сможет продержаться на воде двадцать две минуты... После первого гонга тревоги леди и джентльмены разуваются и снимают верхнее платье. После второго гонга леди выходят на крыло лайнера через левые боковые люки, джентльмены — через правые. После третьего гонга можно смело прыгать в океан!

— А потом? — робко спросил кто-то.

И Карро бойко ответил:

— Не волнуйтесь, господа... Кроме того, с борта нашего лайнера будут спущены на воду надувные резиновые лодки. Вы можете продержаться на них несколько дней.

— Даже несколько дней?!

— О, да! До подхода спасательного судна. Мы же успеем радировать с борта нашего лайнера о катастрофе, — почти на патетической ноте завершил мрачный свой инструктаж Карро и тотчас же исчез, как призрак, за плотно захлопнувшейся дверью кабины.

Немолодая англичанка спросила своего соседа — американца:

— А если нам придется садиться на воду, мистер, в шторм?

— О! Тогда все эти дурацкие спасательные пояса и всякие там резиновые душегубки на борту нашего лайнера — сплошной вздор. Все это сущий блеф, мисс!

— Вы так думаете?

— Не думаю. Я все это твердо знаю... Во всяком случае, когда в прошлом году вот такой же, как и наш, трансатлантический пассажирский авиалайнер компании Эр-Франс вынужден был на пути из Парижа в Нью-Йорк опуститься в открытом океане на воду, то моему шурина не помогли тогда все эти идиотские атрибуты спасения. Ни паршивый этот нагрудник с полицейским свистком в кармашке. Ни игрушечный фонарик для детской забавы. Ни порошок от акул...

Уверяю вас, только одни моряки, терпевшие бедствия при кораблекрушениях, знают безмерную силу злобы расвирепешшего океана. А я — в молодости матрос американского военно-морского флота — не один раз испытывал на себе ярость этого старого грозного дьявола. Он всегда был, есть и будет непримирим и враждебен к человеку. Так по крайней мере утверждает в своих книгах и ваш соотечественник, крупнейший из английских морских писателей Джозеф Конрад. Так говорят об океане и бывалые морские волки — ветераны всех флотов мира. Точно подсчитано, например, что и в наше время ежегодно гибнет двести тысяч людей в морях и океанах, терпящих бедствия при кораблекрушениях.

— Двести тысяч? О! Это же ужасная цифра, сэр! — зябко кутая свои длинные ноги в нейлоновый плед, воскликнула с непритворным ужасом собеседница.

— И это неудивительно, — продолжал невеселые свои рассуждения американец. — В припадках слепой своей злобы и ярости океан способен в короткий срок разбить вдребезги душевную стойкость человека, лишить его воли к жизни. Помню, три года тому назад вблизи Азорских островов потерпело крушение западногерманское учебное судно. И американские газеты писали, что уже на второй день после кораблекрушения среди спасшихся в шлюпках матросов этого судна начались самоубийства.

— Ол райт! — поддакнул тут своему соотечественнику другой из американских пассажиров. — Французский доктор Ален Бомбар, переплывший Атлантический океан в резиновой лодке, доказал в итоге своих научных исследова-

ний, что люди, потерпевшие кораблекрушение, гибнут прежде всего от мистического страха перед океаном. И гибель эта происходит обычно на тринадцатый день.

— А вы думаете, что наши надувные лодки способны продержаться в океане до тринадцати дней? — спросила потусторонним голосом, не открывая глаз, англичанка.

— О нет, об этом я не хочу сейчас думать. И вам не советую, мисс. Ол райт. Спокойной ночи, леди и джентльмены! — заключил американский скептик и, прикрывшись нейлоновым пледом, почти тотчас же захрапел.

Но нам, десяти русским пассажирам американского воздушного лайнера, не спалось. Не спалось ни минуты за все эти бесконечно долгие четырнадцать часов полета над кромешной бездной незримого во мгле Атлантического океана.

Кстати сказать, трансатлантические американские воздушные лайнеры авиакомпании «Сабена», внешне напоминающие «ИЛ-18», не так комфортабельны, как наш красавец, в смысле простора, удобства и уюта пассажирских салонов.

Кресла в этом американском самолете настолько близко придвинуты друг к другу, что человеку даже среднего роста, полулежа на откинутых спинках сидений, трудно-ва-то расправить как следует полусогнутые ноги.

Наши часы показывали без четверти два московского времени, когда в пассажирском салоне нашего самолета появились с пластмассовыми подносиками в руках гибкие стюардессы.

Они поразили нас своим ошеломляюще-неправдоподобным внешним сходством. У обеих золотистые, коротко подстриженные — сразу и не разберешь, то ли завитые, то ли от природы выющиеся кольцо в кольцо — волосы. Голубые, залитые небесным светом глаза. Длинные и острые подрагивающие ресницы. Расточительные — на весь салон — прямо-таки неземные ангельские улыбки!

Глядя на этих картинных девушек-двойников, мы еще не подозревали в ту пору, что обе барышни эти являли собой живой рекламный образчик патентованно-стандартной американской красоты, дипломируемой на ежегодных конкурсах.

Из множества лакированных, многоцветно-ярких рекламных путеводителей и проспектов, которыми, не покупаясь, снабдили нас в изобилии в Брюсселе представители авиакомпании «Сабена», изо всех этих нарядных, отлично

изданных книжиц-буклетов мы уже успели кое-что вычитать про американских стюардесс. В этих рекламных изданиях говорилось, в частности, о том, что в Техасе имеется единственное в Америке специальное учебное заведение — колледж, готовящий стюардесс.

Далеко не всякая американская девушка может попасть в этот колледж и окончить его. Для этого надо иметь определенные данные. Возраст — от двадцати до двадцати шести лет. Рост — от пяти футов трех дюймов до пяти футов восьми дюймов. Предельный вес — сто тридцать пять фунтов. Светлые волосы. В скобках замечено, что цвет волос предпочитается золотистого меда. Глаза желательно голубые. Допуск в незначительном отклонении в зрении в ту или иную сторону — возможен, но только в том случае, если дело не доходит до очков!

Приглядевшись к стюардессам нашего лайнера, мы убедились, что обе они безоговорочно отвечают всем этим строгим требованиям.)

А барышни, продолжая озарять наш салон отлично освоенными в техасском колледже профессионально-жизнеутверждающими улыбками, с изысканной любезностью сообщили нам о том, что пришли подать ленч — завтрак.

Мы с Ираклием Чхиквишвили — грузинским литератором — недоуменно переглянулись.

— Завтрак?

— Да, сэр.

— Среди глубокой ночи?!

— О! Ведь в Америке сейчас девять часов утра, сэр!

— О!

— Да, сэр! В пути через океан мы живем по нью-йоркскому времени...

— В таком случае надо завтракать.

— Сделайте одолжение, сэр.

— Сенк ю, спасибо, мисс.

— Ол райт, сэр!

Завтрак по-американски. Сперва-наперво — бокал студеной до ломоты в зубах воды со льдом. Потом — апельсиновый сок. Затем салат из бледно-зеленых капустных листочков вперемишку с какой-то мудрой заморской травкой, совершенно лишенный вкуса и запаха. Ко всему этому — два крошечных ломтика белого хлеба.

После салата нам было подано по ломтю консервированной, но не утратившей аромата превосходной дыни.

И только за дыней — увесистый кусок полупрожаренного бифштекса. Без гарнира.

— Вот это — вещь! — сказал, подмигивая мне, заметно повеселевший мой сосед Ираклий.

— Да, — охотно согласился я, убедившись наконец, что тут и в самом деле можно позавтракать.

И когда мы довольно проворно и дружно расправились с внушительными порциями этого аппетитного американского блюда, в завершение ранней трапезы стюардессы подали черный бразильский кофе. Это тоже было нехудо. Чашкой горячего ароматного кофе можно немного согреть настороженно-зябкую в эти часы полета притихшую душу...

А между тем время как бы остановилось. Пространство исчезло. И мраку атлантической ночи, казалось, не будет конца.

Не спалось.

Не разговаривалось.

Не читалось.

Все время томило какое-то полузабывчиво-полудремотное состояние, когда ты не спишь и все же видишь мимолетные, сбивчивые тревожные сны...

Вдруг появившийся в дверях кабины второй пилот Карро негромко проговорил:

— Леди и джентльмены! Кому не спится, может полюбоваться ночной грозой над океаном. Посмотрите в иллюминаторы вниз. Редкое зрелище!

И тотчас же прильнув лицом к иллюминатору, я обмер, потрясенный феерической поэмой огня, бушевавшего под нами.

Почти непрерывные цепные молнии, на мгновение вдруг озаряя то ли громады грозových туч внизу, то ли вздыбившуюся в штормовом разгуле океанскую пучину неправдоподобно ярким слепящим светом, создавали поистине фантастическую картину грохотававшей под нами обвалами преисподней.

И было приятно и жутко до оторопи любоваться с высоты восьми тысяч метров неземным этим грозным великолепием яростно безумствующей стихии. Все это похоже было на битву каких-то гигантских чудовищ, обнаживших пылающие во мраке огненные мечи.

Рассвет нас настиг только на двенадцатом часу перелета. Но океана, надежно и плотно прикрытого облаками, мы так и не увидели вплоть до побережья Канады.

Ровно через четырнадцать часов после вылета из Брюсселя мы опустились на канадскую землю — Монреальский аэродром.

Было хмурое раннее утро. Накрапывал мелкий, будто сеянный сквозь частое сито дождь.

Нас слегка всех пошатывало от пережитого в пути душевного напряжения, от бессонницы, от смещения времени и пространства, от предельной усталости, когда мы спускались по трапу на канадскую землю.

После Брюсселя здание аэровокзала в Монреале показалось нам убого-провинциальным — по крайней мере снаружи.

Длинный, голубовато-серый приземистый корпус его напоминал скорее малоприветливую воинскую казарму или невзрачный жилой барак какой-то глухой городской окраины, и уж никак не походил на современный аэровокзал в таком оживленном аэропорту международного значения, каким является Монреаль, — преддверие Нью-Йорка.

Ничем не удивил нас монреальский аэровокзал и внутри. Невысокие потолки. Узкие коридорчики. Тесновато. Не очень просторный, малоопрятный транзитный зал с такими же низкими, как и в Брюсселе, креслами «модерн».

Не ахти как велик и зал таможенного досмотра. Зато пассажиров в здании — битком. Суетливо. Шумно. Разноязычно. Вперемешку с английской звучит там и тут французская, итальянская, немецкая речь.

Проходим обычные для иностранцев таможенные формальности. Правда, багажа у нас здесь не досматривают — чемоданы оставлены в самолете.

Канадская полиция, неторопливо перелистав наши заграничные паспорта — внушительные красные книжицы с золотым гербом Советского Союза, — нашла все документы в порядке и наконец оставила нас в покое.

И мы, подкрепившись вскоре в портовом баре чашкой горячего кофе, внутренне собрались, ожили, приободрились, снова готовые к новому трехчасовому перелету из Канады в Америку — из Монреаля в Нью-Йорк.

Между тем до отлета мы вольны были заниматься чем угодно в течение целого часа. Потолкались среди разноплеменных пассажиров аэровокзала.

Что понравилось в монреальском аэропорту, так это его камеры хранения багажа — автоматы. Опустив в прорезь такого автомата монету. Тотчас же дверь нараспашку. Внутри камеры ключ. Ставишь в камеру свой чемодан.

Закрываешь на ключ. И гуляй себе подобиру-поздорову все свободное твое время. Никаких квитанций. Ни очереди.

Потолкавшись возле киосков с сувенирами, мы накупили цветных, отлично изданных почтовых открыток с видами Атлантики, Монреаля, Канады. Настроичили на скорую руку первые письма домой. Я написал все адреса по-русски. Бросил открытки в почтовый ящик. Но совершенно не был уверен при этом, что послания мои из-за океана дойдут по крайней мере прежде, чем мы вернемся. Но уже через неделю почтовые открытки с канадскими марками и заморскими штемпелями, второпях написанные в аэропорту Монреаля, читались моими родичами и в бесконечно далекой от берегов Атлантики, затерянной в былых целинных степях Северного Казахстана станице Пресновской, и в приютившейся у подножья снежных вершин Заилийского Алатау, потонувшей в садах и парках Алма-Ате...

Наступил час — и мы снова в воздухе. Сделав разворот над Монреалем, ринулись на ревущем лайнере прочь от океанского побережья в глубь материка.

И бескрайние равнины Канады с раскиданными по ним тут и там невеликими лесными островками, похожими на наши западно-сибирские «колки», с позолотевшими нивами пшеницы и зарослями кукурузы показались мне сверху сродни оставшимся теперь где-то за тридевять земель родимым североказахстанским просторам...

Время в полете на этот раз прошло почти незаметно. А на исходе третьего часа после нашего старта с монреальского аэродрома капитан лайнера сказал нам с доброй, приветливой улыбкой усталого человека:

— Желаю вам, джентльмены, счастливого путешествия по Америке!

Мы в свою очередь горячо поблагодарили командира воздушного корабля за благополучный перелет через океан, одарив его бутылкой нашей «Столичной» и русскими сигаретами «Тройка». И подарки эти из рук советских людей были приняты американским пилотом Арнольдом Френди с нескрываемой радостью, близкой к восторгу.

Самолет слегка покачулся. Голубой огонь жаркого приатлантического неба пылал в иллюминаторах.

И, взглянув в окно, я увидел внизу косо вставшую перед моими глазами панораму гигантского города со скалистыми пиками тесно сгрудившихся в сердцевине его, опоясанных голубой водной лентой прямоугольных башен.

Это был Нью-Йорк!

Впервые увидел я Нью-Йорк давно — в раннем детстве. Девяти лет отроду. Учеником второго класса Пресновского начального училища. И увидел совсем по дешевке — всего-навсего за медный пятак!

Было это на осенней ярмарке в станции Новорыбинской — самолюбивой и ревнивой соседки древней нашей казачьей крепости Пресновки. Отец мой, продав семь фунтов поярковой шерсти с доморощенных наших овецек, дал мне пять барышных копеек на базарные гостинцы, и мама повела меня в таинственный брезентовый балаган веселых ирбитских зазывал-балагуров глядеть «туманные картины».

И я был в восторге от этого необыкновенного, сразившего меня зрелища. Поток света, брызнувший сгустком лучей из трубы по-колдовски зажужжавшего за нашими спинами проекционного фонаря, показался мне волшебством, а красочные картины на натянутом полотне — чудом!

Невыразимый душевный трепет охватил меня при виде этих «туманных картин». И весь сеанс я просидел с закушенными губами, не шевелясь, почти не дыша.

Показывали Полтавскую битву. Царя Петра Великого. Бородинский бой. Фельдмаршала Кутузова. Казнь Стеньки Разина. Колокольню Ивана Великого. Бегство Наполеона из объятого пожаром Кремля. Русского богатыря Ивана Поддубного. Собор Василия Блаженного...

И толмач — наторевший в грамоте парень в алой сатиновой рубахе — бойко толковал ошарашенным зрителям что к чему.

Когда же в конце сеанса нам показали в числе прочих улиц и площадей знаменитых городов земного шара одну из главных улиц города Нью-Йорка, то толмач категорично-кратко сказал:

— Есть такой город в заморской державе — в Америке. Она находится на краю земли. Это подальше аж даже Индии — черт знает где. Одним словом, по ту сторону свега! Понятно?!

Не совсем, правда, было понятно, но все же здорово — Америка! И нью-йоркская улица эта ошеломила тогда до предела возбужденное детское мое воображение громадами сказочно-высоченных домов, невиданным многолюдьем, скопищем диковинных самоходных повозок. Ошеломила. Но не очень понравилась. Она показалась тогда мне такой же угрюмой, мрачной и малоприветливой, каким выгляде-

ло Дарьяльское ущелье, которое я увидел в то же самое время на волшебном балаганном полотне...

Во второй раз я увидел Нью-Йорк — и теперь уже в широко развернутом объемном панорамном плане — в синерамном театре на Американской выставке в Москве в канун нашего отлета в Соединенные Штаты.

Но и это многоплановое, объемное, очень красочное и нарядное изображение огромного заокеанского города не затмило, не погасило изначальных, живущих и по сей день в душе непосредственных детских моих впечатлений.

И в третий раз — вот теперь уже наяву — довелось мне в течение шести дней и ночей колесить из конца в конец по этому необыкновенному городу на зеркальных американских автомобилях, плавать на борту пароходов по Гудзону мимо исполинских небоскребов, хаотически сгрудившихся на побережье залива Манхаттана, и бродить, бродить часами пешком по множеству из семи тысяч пятидесяти бесконечных полутемных, как пропасти, угарных и жарких его улиц.

Нью-Йорк — величайший город Америки — сравнительно молод. Разве только в праправнуки он годится таким древним, овеянным романтикой прошлого столицам мира, как Москва или Рим, Лондон или Париж. Возраст этого гранитного, железобетонного исполина пока не дотянул еще и до двухсотлетия. И там, где ныне вздыбились к приатлантическому небу одетые в камень, стекло и дюралюминий небоскребы Рокфеллер-пласа и Уолл-стрита, ютились в первой половине семнадцатого века некорыстные первобытные шалаши-вигвамы аборигенов Америки — индейцев племени ирокезов. У этих-то доверчивых, бесхитростных и наивных людей и купил в тысяча шестьсот двадцать шестом году ловкий голландец Питер Мануит гранитный остров Манхаттан — теперешний деловой центр Нью-Йорка — по сходной, мягко говоря, цене: за двадцать четыре доллара и бочонок рома!

— Самая крупная торговая сделка была совершена в Нью-Йорке еще при его закладке! — любят к слову подшучивать теперь по этому поводу предприимчивые, деловитые американцы.

Но шутки индейского племени ирокезов, оставшись звучать в веках, оказались куда более горькими. Продав за дарма свой остров ловкому, тароватому голландцу, они позднее назвали этот остров Манахаттом. А Манахатта на их языке означает: «Нас обманули».

Таким образом, «самая крупная торговая сделка» была, по сути дела, чистейшим обманом, граничащим с грубым, едва прикрытым грабежом коренных обитателей американского материка нахлынувшими из Европы к берегам Нового Света изворотливыми и жестокими барышниками — предками современных бизнесменов Америки.

Город, обосновавшийся в устье реки Гудзон — громадном естественном водном канале, доступном в течение круглого года для океанских судов, — скоро превратился в один из крупнейших портов мира.

Тысячи и тысячи эмигрантов навсегда осели в этом преддверии Нового Света. Все смешалось здесь. Нации. Расы. Языки. Наречия. Недаром же теперь на любой из улиц этого города-космополига звучат речи всех «двунадесяти языков». Английская и испанская. Итальянская и французская. Китайская и немецкая. Еврейская и норвежская. Ирландская и исландская. Греческая и португальская. Финская и японская. И многие иные, непривычные для русского слуха, неведомые нам, клокочущие, певучие, гортанные говоры.

И за это великое смешение наций, рас, племен и языков Нью-Йорк не зря называют именем ветхозаветного города Вавилона.

Собственно, современный Нью-Йорк — это скопище четырех огромных городов — Манхаттана и Бруклина, Бронкса и Ричмонда. Весь же так называемый Большой Нью-Йорк, вместивший в городскую черту и все его одноэтажные деревянные пригороды, насчитывает сейчас около четырнадцати миллионов жителей. А стоимость одного квадратного метра земли в Манхаттане, некогда купленном за двадцать четыре доллара, теперь оценивается в сорок тысяч долларов.

Впрочем, столь баснословно высокая цена на каждую пядь земли держится сейчас не только в одном, заросшем дремучими небоскребами Манхаттане, но и во всех прочих районах центрального Нью-Йорка.

Так за полтора ста с лишним лет своей стремительно бурной жизни Нью-Йорк продолжал из года в год расти и расти, лихорадочно воздвигать на Манхаттане башни гранитно-стальных и дюралюминиевых небоскребов — самых высоких зданий в мире, в которых никто не живет.

Да. Да. Самые высокие зданий в мире в самом гигантском городе на земле, значительная часть жителей которого, как и большинство всех прочих американцев, подвласт-

ны лишь одному железному закону жизни: второпях, впопыхах успевать, урывать делать одно главное дело — деньги!..

Американцы одержимы фанатической любовью к цифрам, страстью к статистике.

Еще пролетая над Атлантическим океаном из феерически-красочных туристских проспектов, программ, рекламных путеводителей, мы знали уже о том, что в Нью-Йорке одиннадцать тысяч ресторанов и десять тысяч такси. Тридцать шесть тысяч промышленных концернов и двести сорок три тысячи предприятий. Двадцать пять тысяч астрологов-шарлатанов, предсказывающих по звездам человеческую судьбу, и пятьсот шаек вооруженных малолетних преступников. Четыре тысячи семьсот различных церквей и пятьсот тридцать кинематографов. Одна тысяча сто пятьдесят парков и спортивных площадок для игры в теннис, бейсбол и гольф и девять миллионов крыс. Триста тысяч собак.

Точно подсчитано, что каждые три минуты в Нью-Йорке происходит свадьба. Каждые пять минут появляется здесь на свет новорожденный ребенок. Три четверти всех издающихся в Америке книг и журналов печатаются в Нью-Йорке. Половина всего населения Соединенных Штатов носит костюмы, сшитые в этом городе. В Нью-Йорке свыше четырех миллионов телефонов, по которым около четырнадцати миллионов его жителей разговаривают по делу или же несут вздор на ста двадцати шести языках мира!

Ежесуточно этот исполинский город поглощает тридцать четыре с половиной миллиона фунтов пищевых продуктов, один миллиард двести миллионов галлонов воды и сжигает в утробах топок девяносто восемь тысяч тонн угля.

В Нью-Йорке находится самое грандиозное здание в мире — стодвухэтажный Эмпайр стейт билдинг. Здесь же находится и самый большой на земном шаре и самый роскошный по богатству внутреннего убранства театр — Радио-сити, расположенный в сердцевине этого гигантского города на площади Рокфеллер-плас.

Рокфеллер-плас, или Рокфеллер-центр, как его чаще всего именуют американцы, — это город небоскребов, воздвигнутых в центре Манхэттана миллиардером Нельсоном Рокфеллером и безраздельно принадлежащих ему одному. И самые большие универмаги находятся в этом городе.

Но во всех этих парадных справочниках и проспектах ни слова не говорится о том, о чем мы узнали позднее, в дни наших странствий по городам и дорогам Америки.

...Мы прилетели в Нью-Йорк ровно в двенадцать часов пополудни. Голубым огнем пылало над головой высокое небо Атлантики. Ломило глаза от тревожного сияния и блеска. Воздух, насыщенный океанской влагой, близок был к жару хорошо истопленной нашей сибирской бани.

Между тем в громадном, лишенном каких бы то ни было украшательств, но очень опрятном и удобном, залитом светом здании аэропорта Айдлуайлд нас обдало волной отрадной прохлады. Здесь работали незримые аппараты кондиционного воздуха.

Позднее мы вдвойне, так сказать, оценили благотворное значение таких эр-кондишен, как называются установки кондиционного воздуха. Ибо они не раз спасали нас от немилосердного в августовские дни парного воздуха Атлантики в отелях Чикаго, Буффало, Филадельфии, Вашингтона или Нью-Йорка. Они обдавали нас благодатной прохладой в иных квартирах гостеприимных американцев или в вагонах железнодорожных экспрессов, в быстроходных трансмагистральных автобусах или в комфортабельных автомобилях. Характерное жужжание аппаратов эр-кондишен слышалось в магазинах и ресторанах, в редакциях крупнейших столичных и провинциальных газет.

Не успела невеликая наша группа советских писателей и журналистов показаться в дверях просторного холла таможенного досмотра международного аэропорта Айдлуайлд, как все мы тотчас были с ходу атакованы толпой расторопных, точно выросших из-под земли, вертких, как дьяволы, репортеров американских газет. Забегая вперед, то привставая на цыпочки, то приседая на корточки, они бойко щелкали своими фотоаппаратами, толпясь потом вокруг нас все время, пока проходили мы таможенные формальности.

Рослые, бравые полицейские чиновники с золотыми орлами на груди и с буквами «У. С.» на позолоченных пуговицах своей униформы внимательно изучали наши паспорта с американскими визами на въезд в США, тщательно проверяя при этом и международные наши свидетельства о прививке оспы.

Затем, когда мимо бдительных этих чиновников в униформе медленно поплыли поставленные на транспортер наши раскрытые чемоданы, американские полисмены принялись за привычную свою работу.

Ловко переворачивая в чемоданах дорожные наши пожитки, они зорко приглядывались к тому, не запрятаны ли

связка запретных корней жизни жень-шеня, пригоршни бриллиантов, или припасенного впрок кокаина, или еще чего-то такого, что запрещено ввозить из Европы в Америку законами этой страны.

У меня лично был отобран при этом роскошный аргентинский апельсин, поданный к завтраку стюардессой еще на борту американского самолета во время нашего перелета через Атлантический океан,— ввозить фрукты с европейского материка на американский тоже, оказывается, запрещено.

Все мы, искоса поглядывая на таможенный досмотр нашего багажа, втайне опасались, как бы атлетические полисьмены не изъяли из наших чемоданов бутылки заветной «Столичной» вместе с банками драгоценной нашей российской зернистой икры, что мы прихватили в дальнюю дорогу с прочими отечественными сувенирами и подарками.

Но бог милвал. Ни «Столичной», ни икры бдительные таможенные чиновники Айдлуайда нас не лишили. Однако при виде их лица блюстителей американских законов засияли завистливыми улыбками.

— О! Рашен виски! О' кей!

— Водка России! О! Хорошо! — восклицали они.

А тем временем нью-йоркские журналисты, замкнув в глухое кольцо нашу группу, завели оживленный разговор и на английском и на русском языках, расторопно работая при этом автоматическими карандашами и вечными паркеровскими ручками, занося наши слова в свои блокноты.

Обмениваясь с нами по-мужски энергичными, крепкими рукопожатиями, американские газетчики дружно, поперебой приветствовали нас пылкими русскими возгласами:

— О!.. Россия!

— Москва!

— Спутник!

И при этих словах доброжелательно настроенных к нам нью-йоркских журналистов мы не могли не заметить доверительных, сочувственно-теплых улыбок на лицах множества окружавших нас в эти минуты простых американских людей — рабочих и служащих аэропорта Айдлуайлд, одобрительно кивавших нам в знак солидарности с приветствовавшими нас репортерами.

После, встречаясь с фермерами штата Огайо и докерами Чикаго, литераторами и учеными, шоферами такси и служащими отелей, мы отмечали весьма приятные, импони-

рующие нам, советским людям, общенациональные черты характера американского народа. Его трудолюбие. Строгую деловитость. Чувство юмора. Склонность к незлобивой шутке. Добродушие, гостеприимство. ✓

Что же касается преклонения этих простых, общительных, отзывчивых на чужую беду и на шутку людей перед магической властью доллара, заслоняющего подчас перед ними все прочие земные блага и радости, то виною тому отнюдь не национальный характер американского народа, а социальное его бытие...

Первый вопрос, заданный нам репортерами, был вопрос об Американской выставке в Москве.

— Удалось ли вам побывать на ней, джентльмены?

— Да, разумеется. Мы посетили ее в канун нашего отъезда в Соединенные Штаты, всего два дня тому назад...

— И как она вам понравилась?

И наши ответы на этот вопрос в общем сводились к следующему. Не все нам понравилось на этой весьма интересной выставке.

Мы все восхищены были, например, талантливой фотопоэмой-экспозицией фотографий, собранных Эдуардом Стайкеном под названием «Род человеческий». Это — гуманистическая по идее песня крупнейших мастеров мира о жизни людей на нашей древней планете. Полтысячи работ, собранных в этой впечатляющей коллекции, сделаны фотографами шестидесяти восьми стран. В том числе девять в этой коллекции принадлежат нашим советским мастерам.

В художественном отношении многие из этих полтысячи фотографий восхитительны, безупречны, безукоризненны. Все это так.

Но с принципами, положенными Эдуардом Стайкеном, в основу этой коллекции, нам, советским людям, согласиться довольно трудно. Стайкен, по нашему мнению, рассматривает жизнь человека вне социальных условий, вне социальной среды. Вот почему некоторые из снимков, представленных в этой замечательной, повторяем, коллекции, у нас вызвали недоумение, граничащее с досадой.

— А что вы скажете об американских автомобилях, представленных на выставке в Москве, джентльмены? — продолжали допрашивать нас неугомонные репортеры.

— Да, мы видели там ваши «форды» и «шевроле». На этот ваш вопрос, господа, отвечаем без оговорок. Машины хорошие.

— Что еще вам понравилось, джентльмены? — допытывались корреспонденты, не переставая работать авторучками.

— Стенд, где рассказывается о широком применении в вашей стране пластических масс. Это очень заинтересовало советских людей. И здесь мы видели весьма интересные экспонаты.

— А что вы скажете о знаменитой нашей чудотворной кухне? — спросил корреспондент «Нью-Йорк таймс».

— Хорошая кухня. Еще бы, если она сама готовит пищу, сама моет посуду, сама подает блюда к столу! Но много ли таких кухонь в Америке? Мы спросили об этом на вашей выставке мистера Джула Рэнома, который как бы выполнял роль домашней хозяйки. И мистер Рэном нам признался, что кухня эта уникальная. По его словам, ее называют у вас в Америке кухней будущего. Верно ли это? — спросил один из наших спутников по путешествию представителя газеты «Нью-Йорк таймс».

— Правильно, сэр. Это — кухня будущего. Кухня-мечта, — охотно подтвердил тот.

Обобщая свои впечатления об американской выставке в Москве, мы высказали корреспондентам нью-йоркских газет такие соображения.

Да, на выставке видели мы немало интересных экспонатов. Но если говорить откровенно, то в целом мы, как и большинство наших соотечественников, считаем ее малоудачной. Во-первых, у нас создалось впечатление, что организаторы ее имели, по-видимому, весьма смутное и во многом просто искаженное представление о нашей стране, об интеллектуальном уровне ее народа, о наклонностях, вкусах и интересах советских людей...

Во-вторых, при знакомстве с экспонатами трудно было представить себе современный уровень развития американской техники. Неужели же только одни цветные телевизоры, «чудотворные кухни» и хорошие автомашины характеризуют лучшие производственно-технические достижения Соединенных Штатов Америки?

Мы видели работы художников, которых, как нам было известно из печати, комиссия Конгресса по расследованию антиамериканской деятельности грозила привлечь к ответственности в связи с экспозицией их работ на московской выставке. Речь идет о картине Джека Левина «Добро пожаловать» — очень острой и выразительной сатире на военную американскую аристократию, об «Аллегории» Бэна

Шаана, о реалистическом полотне Эвергуда, изображающем бытовую сценку на американской улице.

Мы считаем, что ни в одной из этих картин никакой опасной «крамолы» для Соединенных Штатов Америки нет.

То же самое можно сказать и о талантливой, запомнившейся нам картине Гранта Вуда «Басня пастора Вимса».

На этой картине изображен эпизод из детства президента США Джорджа Вашингтона. Гид рассказывала нам о том, как однажды маленький Джордж Вашингтон срубил вишневое дерево, но не нашел в себе мужества признаться в этом. «Будь же всегда правдивым» — такова идея этой картины. Об этом завете Джорджа Вашингтона знает каждый американский школьник.

— Однако не в пример американским школьникам некоторые организаторы этой выставки, кажется, позабыли об этом завете первого президента Соединенных Штатов Америки! — заметил к слову один из наших спутников Николай Александрович Абалкин.

И нью-йоркские журналисты, любезно улыбаясь, дружно занесли в свои блокноты это язвительное замечание, сопроводив его дружными кивками и возгласами:

— Ол райт!

— Таким образом, господа, — заключил нашу первую пресс-конференцию в аэропорту Айдлуайлд Н. А. Абалкин, — не получив достаточно ясного представления о Соединенных Штатах Америки на выставке в Москве, мы и предприняли это дальнейшее путешествие за океан, чтобы поглядеть на жизнь вашей страны, на быт, на культуру ее народа что называется своими глазами — воочию!

— Счастливого путешествия по Америке, джентльмены! — напутствовали нас дружными возгласами корреспонденты нью-йоркских газет, когда в надежном сопровождении наших товарищей — сотрудников Советского посольства в Вашингтоне мы направились к поджидавшим у здания аэровокзала автомобилям.

Бетонированная автострада, ведущая из аэропорта Айдлуайлд в Нью-Йорк, говорят, сравнительно недавно — всего лет двадцать тому назад — пролегла среди холмистых полей полупустынного, малообжитого пригорода.

Теперь же дорога эта походила на широкий проспект в центре нарядного и вольно раскинувшегося окрест какого-то европейского города. Я не оговорился. Именно европейского! Потому что ничего пока специфически американско-

го не бросалось в глаза — ни в архитектурном облике двухэтажных, а чаще всего — одноэтажных деревянных, похожих один на другой стандартных домов, ни в примыкающих к ним неогороженных приусадебных участках.

Может быть, это отсюда и начиналась та самая «одноэтажная Америка», о которой знали мы до сей поры по описаниям И. Ильфа и Е. Петрова?

И только невероятные скопища по ту и другую сторону автострады разноцветных автомобилей, похожих издали на сбившиеся в загонах стада коров, да стремительно-бурные потоки таких же многоцветных машин по широкому полотну автострады, красноречиво напоминали нам о том, что мы в Америке!...

Уже на этих, еще довольно не близких подступах к Нью-Йорку было заметно, что город этот все продолжает расти и теперь.

О непрерывном росте этого гигантского города говорят даже... кладбища. Огромные, по-американски масштабные, эти погосты со строгими бесконечными рядами плоских надгробий, некогда отнесенные за много миль от Нью-Йорка, ныне оказались в черте города.

За рассеянным озирением нью-йоркских окрестностей, за сбивчивыми разговорами с посольскими нашими товарищами, мы не сразу заметили, как машины с ходу влетели в бесконечный, облицованный кафельной плиткой, ярко залитый электрическим светом тоннель, проложенный под Гудзоном. Когда же вместе с попутным бурным автомобильным потоком мы вырвались из этой подводной путевой трубы, в мгновение перед нами возникли гранитные джунгли — небоскребы Манхаттана!

И тотчас стало не то что темнее, а сумеречнее. И ясный до этого августовский день мгновенно поблек. Запахло бензиновым перегаром, горячим гранитом, нефтью. От непривычного беспрерывного дня, от калейдоскопического мелькания таких же многоцветных и ярких встречных автомобилей у меня зарябило в глазах. А от сладковато-угарного жаркого запаха улицы слегка поташнивало. Душа за-таилась.

До предела обострилось чувство покинутости, одиночества, оторванности от родной земли, ощущения чужого неуюта...

Между тем, подхваченные неудержимо бурным, стремительным автомобильным потоком, мы продолжали нестись и цестись в бесконечную глубь мрачного, расцвеченного не-

спокойными мерцающими огнями ущелья нью-йоркской улицы. И улице этой, казалось, нет и не будет конца.

По тротуарам расторопно шагали, а то сломя голову, бежали, американцы в сизых соломенных шляпах набе-крень.

Мимо сверкающих зеркальными стеклами витрин снова-ли, как полусонные, какие-то потусторонние длинноногие американки, многие — в разноцветных шортах, в туфельках на тонких и высоких каблучках или в тапках на босу ногу.

В этой запрудившей тротуары быстротекущей толпе то и дело мелькали, как вороны, в черных своих одеяниях католические монахини с ханжески-постными лицами. Мчались полицейские автомобили. Они ревели и выли так, что казалось, при этих воплях на мгновение даже меркли и гасли огненные созвездия бушующей на фронтонах домов рекламы.

Но вот наконец мы остановились у подъезда одного из небоскребов на скрещении Седьмой авеню с Бродвеем против Пенсильванского вокзала.

Отель «Говернор Клинтон». Здесь уже ждали нас отведенные номера на двадцать пятом, двадцать седьмом и на двадцать девятом этажах.

В тот момент, когда мы получили в холле отеля ключи от комнат, нам поспешно представился элегантный молодой человек с очень уж стекловидными глазами. Робкий, но, видать, хорошо вышколенный, быстрый в движениях, он обладал отличной военной выправкой.

Молодой человек предъявил нам визитную свою карточку.

Это был мистер Паркс — представитель «Америкэн экспресс компани», под надежную опеку которого, как выяснилось, отныне переходили все мы на американской земле.

— Меня зовут Николай Николаевич, господа. Мы даже немножко с вами сродни. Моя мама тоже родилась в России,— проговорил, представляясь нам, мистер Паркс с едва уловимым акцентом, по-русски.

— Очень приятно, мистер Паркс. А папа ваш? Тоже из России? — учтиво спросил его утонченно вежливый Иракий Чхиквишвили.

— С меня, сэр, хватит и мамы,— уклончиво отшутился мистер Паркс с промелькнувшей по жестким тонким его губам улыбкой.

В это мгновение я успел поймать на себе взгляд его холодных, быстрых глаз, и мне вдруг стало не по себе от непрошенного присутствия в нашей группе этого человека.

И снова сердце защемило ощущением чужбины, чужим, почти враждебным показался мне сумрачный холл, устланный пышными нейлоновыми коврами.

Между тем мистер Паркс, умевший, как мы потом убедились, входить в роль этакого рубахи-парня, услужливо усадив нас вокруг низенького столика «модерн», сказал нам почтительно, в струнку вытянувшись:

— Если вы не станете возражать, господа, то компания «Америкэн экспресс» доверяет мне сопровождать вас в вашем путешествии по Америке. Мы посетим Филадельфию, Балтимору, Чикаго, Вашингтон, Буффало, Ниагарский водопад. Ознакомимся, согласно программе, с достопримечательными местами и памятниками национальной славы всех этих американских городов. Побываем в Маунт Верноне, музее-усадьбе Джорджа Вашингтона и в имении Франклина Рузвельта вблизи Нью-Йорка, где покоится прах бывшего президента. Не минуем, разумеется, господа, Национального музея науки и искусств в Чикаго и Национальной галереи в Вашингтоне. Знакомство же с Америкой начнем с Нью-Йорка. С утренней прогулки на пароходе вокруг Манхаттана, с осмотра панорамы города со стороны Гудзонова залива. Затем посещение здания ООН и, разумеется, подъем на вершину высочайшего здания в мире — Эмпайр стейтс билдинга.

— А в Гарлеме, мистер Паркс, мы будем? — спросила Марина Бугаева — редактор журнала «Советское фото».

— Вам угодно в Гарлем, господа? — с наигранным изумлением проговорил мистер Паркс, обводя всех нас своими холодными глазами.

— О да, да. Безусловно угодно.

— Даже непременно, мистер Паркс.

— В программе Гарлема нет, господа. Но если вы настаиваете... впрочем, я это уточню. Постараемся показать вам и Гарлем, — довольно вяло пообещал нам мистер Паркс.

— И еще один вопрос к вам, — сказал я. — Некоторым из нас очень хотелось бы побывать на обыкновенной средней ферме. Это возможно?

— Вероятно, да, если согласовать с департаментом...

— Для посещения рядового американского фермера необходимо специальное разрешение госдепартамента?!

— Для иностранцев да, сэр.

— Для всех иностранцев?

— Как переводчик и гид «Американ экспресс компани» я обслуживаю только русских, прибывших в Соединенные Штаты из России. И касается ли это правило госдепартамента иных иностранцев, сказать не могу,— уклонился мистер Паркс от прямого ответа.

— Но вы, позвольте надеяться, не забудете о нашей просьбе?

— Постараюсь, сэр...

— Заранее благодарен...

— Должен вам сказать еще, господа, что я в совершенстве говорю по-английски. И «Американ экспресс компани» ценит меня как гида и переводчика,— совсем уже вне всякой связи с предыдущим разговором вдруг вымолвил мистер Паркс.

Было видно, что он, норовя закруглить поскорее свою первую беседу с нами, хотел избавиться от новых, мало-приятных для него наших вопросов, ставивших его в довольно затруднительное положение. Мы поняли это.

— Ол райт, господа,— сказал мистер Паркс, потирая руки.— Договорились. А теперь вы свободны. По крайней мере добрых три часа в полном вашем распоряжении. Полагаю, что их вам хватит для ванны, обеда и отдыха после столь дальней дороги?

— Сенк ю. Благодарим, мистер Паркс.

— А к пяти часам вечера вас приглашает мистер Сульцбельгер — президент и главный редактор «Нью-Йорк таймс», крупнейшей, как известно, газеты Америки. Впрочем, вам будут вручены лично от мистера Сульцбельгера именные официальные приглашения. Автомобили вас будут ждать в пятом часу у подъезда отеля.

В свой номер на двадцать девятый этаж отеля «Говернор Клинтон» поднялись мы с профессором-литературоведом Виктором Осиповичем Перцевым на скоростном лифте, который, кстати сказать, называют в Америке элеватором.

— Ап, плииз! — Вверх, пожалуйста! — произнес полусонным голосом лифтер, негр в серо-голубой униформе, распахивая перед нами двери лифта.

Пропуская нас в лифт, негр в первое мгновение был с нами сухо предупредителен, как всякий слуга. Не больше. Но как только мы оказались наедине с ним в просторной кабине бесшумно взмывшего вверх элеватора, лифтер вдруг

просветлел, озарив нас ослепительным блеском сахарно-белых своих зубов, обнаженных в доверительно-широкой, приветливой, задущевой улыбке.

Мы с Виктором Осиповичем тоже невольно улыгнулись.

Оказалось, что он уже от кого-то узнал в отеле, что мы — русские из Советской России, и это, видимо, тронуло, взволновало его.

— О! Совет! О!... Хау ду ю ду, джентльмены! — приглушенно-взволнованным голосом выпалил он в один миг, не переводя дыхания, и крепко пожал нам при этом руки за время минутного нашего взлета в кабине бесшумного лифта на наш двадцать девятый этаж.

В скобках скажу. За все последующие пять суток, проведенных нами в этом нью-йоркском отеле, нам так и не удалось очутиться наедине с этим негром в лифте. В присутствии же других пассажиров-американцев он не только ни разу не заговорил с нами, но даже не смел поднять на нас своих огромных агатово-темных печальных глаз, делая вид, что он и знать-то не знает нас.

Поднявшись на свой этаж, мы огляделись. В коридоре, устланном толстыми темно-малиновыми нейлоновыми коврами, было тихо и пусто — ни души. Ни дежурных по этажу, ни горничных. Столик с телефоном. Над столиком небольшое зеркало.

В номере все впритирку. Не разгуляешься. Невысокие потолки. Гладкие, лишенные украшательства спокойные стены. На полу пылающий огненными красками, такой же толстый и пышный, как и в коридоре, нейлоновый ковер. Удобные шкафы в стенах. На письменном столе стопки почтовой бумаги и конверты для писем — все с рекламными изображениями отеля «Говернор Клинтон».

Громадный том с телефонными номерами Нью-Йорка, и рядом — такого же веса и объема — библия на английском языке. Новенькая. Год издания 1959. Нью-Йорк.

Я заглянул в окно. Оно не раскрывается, а поднимается вверх, как в наших трамваях или троллейбусах. И там, внизу, на дне бурлящей автомобильными потоками бездны, увидел я в перспективе скрещение Седьмой авеню, на которой находился наш отель, с Бродвеем и так называемым Таймс-сквером — сердцевиной, средоточием торгово-рекламной жизни этого громадного города.

Несмотря на парную жарюшу на улице, в номере было прохладно. На подоконнике глухо рокотал похожий на радиоприемник аппарат эр-кондишен. В ванной комнате мы

обнаружили три крана — с горячей, холодной и ледяной водой. Последняя — для питья, с которой американцы начинают любую трапезу.

Вообще, приглядевшись к обстановке в номере, мы вполне оценили прославленный американский сервис.

После мы собрались с нашими товарищами в холле. Выбрали укромный уголок вокруг низенького столика в глубоких покойных креслах. Занялись просмотром нью-йоркских и прочих американских газет, закупленных нами в киоске. Было любопытно узнать, что волновало в этот день американскую прессу.

Верный привычке ни на минуту не расставаться со своей записной книжкой за все время нашего путешествия по Америке, я и на этот раз не преминул воспользоваться ею, записав некоторые из газетных сообщений.

Привожу эти записи.

*Нью-Йорку грозит поражение в борьбе с крысами, — сообщала на первой своей полосе газета «Нью-Йорк джорнэл Америкен». — Сейчас, по прошествии года, в течение которого усилилась борьба с грызунами, крыс в Нью-Йорке, по-видимому, не меньше, чем в то время, когда кампания только начиналась.*

*По скромным подсчетам, «крысиное население» Нью-Йорка насчитывает, примерно, около полутора миллиона, то есть одна крыса приходится на каждые восемь жителей.*

*Существует много причин увеличения числа грызунов в городе. Вина падает в разной степени на беспечных домовладельцев, квартиростъемщиков и на городские власти.*

*Но каковы бы ни были причины, крысы создают не только серьезную проблему для здравоохранения, но и делают жизнь многих семей невыносимым кошмаром.*

*Корреспонденты нашей газеты обнаружили, что родители, чьи дети были укусаны крысами, дежурят по ночам в своих квартирах, чтобы предотвратить нападение этих хвостатых гангстеров.*

*Крысы величиной с кошку наводят ужас на взрослых людей, выгоняя их по ночам из квартир. Поэтому нью-йоркские женщины отказываются оставаться одни в квартирах, смертельно боясь нападения крыс.*

*Детям, подвергшимся нападению крыс, по ночам снятся страшные сны и кошмары. Одному, например, четырехлетнему мальчику родители вынуждены давать на сон люминал, после того как он был укусан крысой.*

Еще сообщение:

*Полиция города Кливленда после длительных поисков наконец нашла след и схватила известного на всю Америку жулика, носившего тридцать пять разных фамилий. При обыске в его вещах была обнаружена книга с названием «Куда мне направлять воображение, чтобы разбогатеть».*

Еще и еще:

*Телефонная станция в Сан-Франциско ввела необычайное новшество. При наборе номера, обозначенного в телефонной книжке под рубрикой «Потерянные псы», автоматически включается магнитофонная пленка, на которой записан лай собак, пропавших за последнюю неделю. Услышав лай своей собаки, хозяин может прийти по адресу и забрать ее домой.*

*Начальник морского штаба адмирал Бэрк сделал заявление о том, что Россия обогнала Соединенные Штаты Америки в области конструирования подводных лодок, способных запускать баллистические снаряды.*

*Мистер Отто Мтандке славится на всю Америку как специалист по борьбе со скворцами. Скворец, как известно, очень шумная птица. Живя огромными стаями, они производят невероятный, ужасный шум, который мешает людям спать и, кроме того, пачкают легковые автомобили.*

*Скворцовому нашествию подвергся город Маунт-Вернон в штате Нью-Йорк. Десятки тысяч этих птиц наводнили его, свив свои гнезда на вершинах деревьев в городских скверах и парках. Чего только не предпринимал деятельный мэр Маунт-Вернона мистер Ваккарелла, чтобы избавиться от скворцов. Увы! Все было тщетно!*

*Но вот наконец кто-то из жителей этого города вспомнил про Отто Мтандке, постоянно проживающего в штате Канзас. Доложили об этом мэру. И мэр послал Отто Мтандке телеграмму с просьбой пожаловать в Маунт-Вернон и спасти жителей города от скворцового нашествия.*

*Отто Мтандке не замедлил откликнуться, и мэр подписал с ним контракт, обязавшись уплатить четыре тысячи долларов, если ему удастся выгнать скворцов из пределов городской черты Маунт-Вернона.*

Совершенно уверенный в своем успехе, мистер Отто Мтандке приступил к операции. Когда над Маунт-Верноном сгустились вечерние сумерки, мистер Отто Мтандке вышел на излюбленную скворцами Коммонвель-авеню. В руках у него были две металлические пластинки, при помощи которых принял ся он производить особые звуки.

Заслышав эти звуки, тысячи скворцов мгновенно умолкли. А через четверть часа они начали стаями сниматься с вершин деревьев и исчезать в неизвестном направлении.

Опыт мистера Отто Мтандке продолжался в течение сорока пяти минут и будет повторен в ближайшие дни еще дважды. А через три дня, по уверениям Отто Мтандке, в Маунт-Верноне не останется ни одного скворца!

В церкви маленького норвежского городка Сонье, насчитывающего всего четыре тысячи жителей, состоится бракосочетание младшего из сыновей Рокфеллера — Стивена с бывшей горничной в доме Рокфеллеров — Анной-Марией Расмуссен. В связи с этим событием в Сонье ожидается большой наплыв любопытных, съезжающихся со всех концов Норвегии. Мэр города Йорген Лоне полагает, что приедет не менее пяти тысяч человек. Принимая во внимание, что порядок в городе поддерживается только одним полицейским, в ратуше царит большое волнение. Городское управление в спешном порядке обратилось за помощью в ближайший к Сонье город Кристиансаунд, где имеется сорок полицейских.

Напротив здания церкви в Сонье, где будет происходить венчание, устроен на всякий случай пункт Красного Креста для оказания первой медицинской помощи пострадавшим.

В Норвегии твердо держатся обычая, что перед свадьбой жених не должен видеть невесты. Не желая нарушать этого обычая, Стивен Рокфеллер, живший в доме родителей невесты, переехал в отель.

В церкви во время свадебной церемонии будет играть органист Скарпейд, с которым недавно случился сердечный припадок. Врачи рекомендовали Скарпейду отказаться от этого выступления, но он не захотел последовать их совету. Он заявил журналистам, что играл на свадьбе родителей невесты и будет поэтому играть и на свадьбе Анны-Марии Расмуссен.

Газета «Стар», издающаяся в американском городке Фейет Парк, на днях начала выходить увеличенным фор-

матом. По этому поводу редакция дала следующее разъяснение своим читателям: «Раньше в нашу газету нельзя было завернуть бутылку кока-кола или виски. Зато теперь — извольте, пожалуйста!»

Вчера благополучно закончилась эпопея жены чикагского коммерсанта Офелин Шеверд, которая была похищена гангстерами. Ее похищение, по сообщению полиции, было совершено бандитами на одной из уединенных чикагских улиц вблизи банка. Угрожая женщине пистолетами, головорезы втащили ее в автомобиль. Завязав глаза, они доставили ее к какому-то дому на окраине Чикаго, подняли на второй этаж и заперли в пустой комнате. Двое юношей и одна девушка, сторожившие миссис Шеверд, не давали ей спать.

На другой день муж похищенной мистер Шеверд получил анонимное письмо с требованием выкупа в размере тридцати тысяч долларов. В случае своего согласия мистер Шеверд должен был дать в вечернем выпуске газеты «Чикаго трибюн» объявление следующего содержания: «Все в порядке. Жду указаний!»

Однако в минувшую пятницу похитители миссис Шеверд, вновь завязав ей глаза, отвезли ее в автомобиле на противоположную окраину Чикаго и там высадили из машины. С большим трудом, не имея при себе ни одного цента, женщина добралась до дому.

Освобождение миссис Шеверд последовало без выкупа. На этот раз гангстеры, видимо, были чем-то напуганы, и операция, начатая ими столь удачно, неожиданно сорвалась!

Банда малолетних преступников, вооруженных пистолетами, открыла огонь по толпе, слушавшей в Хагар-сквере проповедника Джорджа Хурта. В результате — трое убиты наповал, четверо ранены. Полиции удалось задержать пятнадцатилетнего главаря банды Генри Карлтона. Остальные скрылись на автомобиле.

В Принстоне арестован подросток Кэйт Ричмонд. Он отнял у престарелой миссис Эвелин Хики десять долларов пятьдесят шесть центов и задушил ее.

Подобными уголовными новостями в изобилии переполнены все газеты. И подаются здесь эти новости не под от-

дельной рубрикой уголовной хроники, а вразброс по всем страницам, вперемешку с научной, экономической или международной информацией. Так, например, из одной и той же газетной страницы «Нью-Йорк геральд трибюн» мы узнали в первый день нашего пребывания в Нью-Йорке следующее.

Акции на нью-йоркской фондовой бирже держатся пока по-прежнему высоко. Но несколькими дюймами ниже сообщалось о том, что американский народ ждет дальнейшего роста инфляции и неизбежного падения покупательной способности доллара. Это подтверждалось итогами широкого опроса населения Америки, проведенного Институтом общественного мнения, возглавляемого известным его президентом Геллапом.

Здесь же было опубликовано сообщение о предстоящем визите в Соединенные Штаты начальника Британского генерального штаба лорда Маунбэтгена для совещания с американскими и канадскими военачальниками.

Говорилось о прибытии в Вашингтон голландской принцессы Беатрис на торжества, посвященные памяти знаменитого мореплавателя Хенри Ходсона.

Затем следовала информация о самоубийстве безработного клерка из города Буффало, бросившегося вниз головой в кипящую пучину Ниагарского водопада. Накануне семья сорокавосемилетнего Хенри — жена и трое детей — была выброшена домовладельцем на улицу за неуплату в течение девяти месяцев квартирной платы.

Нашлось место на этой же газетной полосе и для кратких сообщений о нашей далекой в ту пору родине — о Москве, о Советском Союзе.

Ссылаясь на источники ТАСС, газета писала, что Россия дала согласие оказывать научно-техническую помощь Ираку в области атомных изысканий. Говорилось о том, что при содействии советских ученых специалистов в Ираке будет сооружен атомный реактор.

Кроме того, мы узнали из этой же газетной полосы «Нью-Йорк геральд трибюн» о том, что в Москве вчера было плюс восемьдесят градусов по Фаренгейту. Стало быть, по Цельсию, как у нас принято считать, там было плюс тридцать.

А затем на трех четвертях всего объема газеты — реклама. Реклама торговых фирм, театров, кино, кабаре, ресторанов, церквей. Рекламируются в том числе и православные русские церкви.

Публикуются фотографии престарелых епископов, архиереев, протоиереев с календарными расписаниями пышных их служб и проповедей в церквях и соборах Сан-Франциско и Филадельфии, Чикаго и Нью-Йорка.

Впрочем, рекламируются русские церкви не только на страницах американской прессы. В Филадельфии, например, мы с Мариной Бугаевой видели православный собор с крутящимися на куполах вокруг своей оси сверкающими от электрических гирлянд ярко иллюминированными крестами. То была тоже реклама, и реклама в ультраамериканском духе.

Что же касается католических, протестантских и прочих американских церквей, то, судя по газетной рекламе, в зданиях их происходят не только одни богослужения, но разного рода собрания, митинги и даже танцы при условии выплаты установленного количества долларов за аренду такого богоугольного заведения. Таковы уж, видно, нравы американского образа жизни!

Бросилось нам в глаза и такое объявление в рекламном разделе одной из нью-йоркских газет: «Русский погребальщик Петр Ярема. Самые лучшие похороны по самой дешевой цене в Нью-Йорке, Бронксе, Бруклине. Телефон ОР 4-2568».

Это же не очень веселое, но весьма привлекательное объявление с эмблемой угрюмого погребального катафалка под текстом заверстано было среди реклам зубной пасты, дамских подвязок, эликсира вечной молодости, самого прочного в мире клея и полураздетых стандартных американских красавиц, натягивающих на ноги нейлоновые чулки.

Таково было наше первое знакомство с некоторыми большими и малыми американскими газетами. Различные по формату, по внешнему облику, все эти газеты — столичные и провинциальные — по чудовищному месиву более-менее серьезного со всяким невероятным вздором, глупостью и пошлостью мало чем отличались одна от другой.

И только по тону иных передовых и редакционных статей, посвященных внешней политике, по явно тенденциозным подборкам международной и внутренней информации можно было безошибочно определить, волю каких своих подлинных хозяев выражают эти газеты: диктаторов с Уолл-стрита, авантюрной клики из пресловутого Пентагона — сторонников продолжения «холодной войны» или же

твердила с любезной улыбкой супруга старейшего газетного короля миссис Сульцбергер.

— К тому же проведение различных месячников, недель или даже дней в нашей стране дело настолько привычное, обыденное, господа, что вряд ли стоит придавать всему этому сколько-нибудь серьезное значение,— говорил старый Сульцбергер.— Это, так сказать, одна из национальных особенностей американского образа жизни. И все это довольно тонко подметил финский писатель Мартти Ларни в своей остроумной книжке «Четвертый позвонок», выпущенной на английском языке у нас в Нью-Йорке. Да, у нас действительно проводятся недели самообороны и безопасности, национального остроумия или вообще игры в бейсбол, защиты бродячих собак или помощи Турции!

— О! Даже неделя коктейля «Атомный гриб» или нейлоновых подтяжек! — добавила с благосклонной улыбкой миссис Сульцбергер.

— Таким образом, господа, в калейдоскопе таких недель могла промелькнуть и неделя, о которой вы говорите. Но я лично во всяком случае ее не заметил,— заключил старый Сульцбергер, так и уйдя от прямого ответа.

— Ол райт, сэр! — произнес трафаретную фразу Генрих Зиманс, как бы в знак формального удовлетворения окольным ответом Сульцбергера.

«Все новости достойны напечатания!» Таков девиз этой старейшей газеты Америки.

Газета — это мы узнали со слов мистера Сульцбергера — гордится своим, так называемым аристократическим происхождением, и тут мистер Сульцбергер не преминул напомнить нам о том, что одним из ее главных редакторов был... отец американской красавицы номер один — матушки самого Уинстона Черчилля!

Госпожа же Сульцбергер заметила, что газета по праву гордится тем, что именно на ее страницах в тысяча девятьсот шестнадцатом году была опубликована «Теория относительности» гениального Альберта Эйнштейна.

«Что ж, хвала и честь!» — подумали мы, и не только подумали, но и вслух сказали об этом госпоже Сульцбергер.

У «Нью-Йорк таймс» десять тысяч корреспондентов — репортеров, рассеянных по всем странам мира.

— Кремль выписывает двадцать шесть экземпляров нашей газеты! — заявил с явной гордостью мистер Сульцбергер.

Между тем, не прерывая завязавшегося разговора, мы

перешли по приглашению любезного хозяина из приемного зала в рабочий его кабинет.

Гладкие вишневого цвета стены этого кабинета были щедро украшены фотопортретами с дарственными надписями знаменитых людей Америки.

То были портреты известных ученых и конгрессменов, бизнесменов и литераторов, генералов и кинозвезд, художников и актеров, прославленных мировых пилотов и автомобильных гонщиков.

Особое место среди этой своеобразной фотовыставки знаменосцев национальной славы занимали портреты двенадцати очаровательных, как все дети в мире, внуков шефа — сыновей молодого казначея «Нью-Йорк таймс», наследника газетного короля Артура Сульцбергера.

Разглядывая портреты знаменитых людей — личных друзей и знакомых, когда-то посещавших оффис владельца «Нью-Йорк таймс», мы все вдруг разом изумились, увидев большой групповой фотопортрет троих молодых, доверительно улыбающихся здоровяков в свободно сидевших на них светлых штатских костюмах. Точно три русских богатыря, красовались на фото эти веселые, непринужденно развалившиеся в креслах ребята.

— Братцы! Да ведь это наши! — не удержался от восторженного возгласа в строгом сульцбергерском оффисе Валентин Гольцев.

И все мы узнали Валерия Чкалова с Георгием Байдуковым и Александром Беляковым.

— О!... Мистер Чкалов! Мистер Байдуков! Мистер Беляков! Это мои хорошие друзья. Они были гостями нашей газеты после своего знаменитого героического перелета из Москвы через Северный полюс в Америку. Я принимал их вот в этом же оффисе. Они сидели со мной за тем же столом, за которым только что беседовали и мы с вами, господа... Я очень дорожу этим портретом национальных героев России — портретом с автографами самых знаменитых пилотов своего времени! — сказал на прощание нам мистер Сульцбергер, передоверяя при этом нас своему сыну Артуру Сульцбергеру, который должен был с дозволения полномочного хозяина газеты познакомить нашу группу с работой ее редакции и полиграфической базы.

Со слов Сульцбергера-младшего мы узнали, что в «Нью-Йорк таймс» пять тысяч сотрудников. Из них — одна тысяча журналистов, непосредственных сотрудников редакции.

Одна тысяча — работников бизнеса, ведающих рекламой. И три тысячи типографских рабочих.

У газеты — три выпуска. Утренний. Дневной. Вечерний. По воскресеньям «Нью-Йорк таймс» выходит на двухсот пятидесяти страницах и весит при таком объеме два килограмма!

Показывая нам один из воскресных номеров своей газеты, Артур Сульцбергер категорически заявил:

— В этом выпуске у нас полкилограмма новостей и полтора килограмма рекламы!

— Ол райт! — сказали мы.

В редакции имеется только один отдел. Это отдел новостей. И все восемьсот сотрудников этого отдела, не считая, разумеется, иногородних репортеров и собственных корреспондентов, — все они до единого, не исключая и главного редактора этого отдела Кетлич Тернера, — работают в одном громадном, похожем на фабричный цех зале.

Ничего не скажешь, тесновато сидят тут ребята, вприкурку. Все — в крутящихся креслах на колесиках. Перед каждым телефон на малогабаритном рабочем столике. Портативная пишущая машинка.

Работа идет тут довольно бойко.

Некоторые из сотрудников, как мы заметили, прижав телефонную трубку плечом к уху, одновременно делали два дела: разговаривали с кем-то по телефону и печатали очередную свою корреспонденцию на машинке.

От непрерывных телефонных звонков, от сорочьего стрекота не одной сотни пишущих машинок, от булькающего и квакающего клеткота полуторасот телетайпов, уставленных вдоль стен этого же громадного зала, — аппаратов, принимающих новости со всех концов мира, — от всего этого трудно вообразимого хаоса звуков у нас с непривычки голова шла кругом. И, признаюсь, не совсем было понятно с первого взгляда, как в таких условиях можно что-то творить, продуктивно работать?!

Однако, как видно, американские газетчики не замечали вокруг решительно никаких неудобств, как, видимо, не замечали в эти минуты даже и нас, захваченные невероятно азартным, бешеным ритмом своей работы.

— Наш отдел ежедневно выдает миллион слов, — сказал нам редактор этого отдела мистер Тернер, флегматично пожевывая дымящуюся сигару. — Но в номер из этого миллиона проходит, в лучшем случае, до ста пятидесяти ты-

сяч слов — пятнадцать процентов. Таков у нас строгий отбор информации!

— Каков же принцип отбора, мистер Тернер?

— По степени сенсационности того или иного материала.

— Сюда входит и международная информация?

— О да, конечно, господа. Наш отдел выдает и международные и внутренние новости. Нью-Йорк обслуживают пятьсот наших репортеров. В их число входят и фотокорреспонденты. Как правило, все они работают синхронно с журналистами. Поэтому каждую значительную информацию мы обычно снабжаем снимком фоторепортера. Так, например, в сегодняшнем вечернем выпуске нашей газеты мы даем сообщение о прибытии в Нью-Йорк вашей группы советских писателей и журналистов, печатая и фотографию. Отличная фотография, господа!

— Ол райт, мистер Тернер!.. А не назовете ли вы, какой самый читабельный материал, с вашей точки зрения, в газете?

— Самое значительное место занимают у нас так называемые женские новости. Это — хроника светской жизни. Приемы. Рауты. Описание парадных балльных нарядов влиятельных леди, знаменитых невест, кинозвезд... Ну, конечно, не последнее место занимает в отделе новостей и уголовная хроника. Ограбления банков. Пожары. Убийства. Самоубийства. Грабежи. Налеты. Изуверства гангстеров. К сожалению, всего этого у нас еще достаточно много в Нью-Йорке...

— Только ли в Нью-Йорке, мистер Тернер?

— Нью-Йорк в этом смысле самый американский город в Америке...

В эти дни как раз вся американская пресса была полна сенсационных описаний предстоящей свадьбы сына Рокфеллера-младшего, о чем я уже рассказал. И некоторые из американских газет, комментируя это событие, связывали этот брак сына архимиллиардера с бедной норвежской девушкой не с чем иным, как с предстоящей предвыборной кампанией нового президента Соединенных Штатов Америки...

В канун венчания Стивена Рокфеллера с Анной-Марией Расмуссен в маленьком норвежском городке Сонье «Нью-Йорк таймс» добрую четверть страниц своего отдела новостей посвятила этому семейному событию династии миллиардеров. Печатаемая размером во всю страницу портреты молодоженов, а на следующих страницах именитых и мало-

именитых их родичей, солидная газета подробно, во всех деталях, взхлеб расписывала свадебный церемониал в норвежском городке, вдруг ставшем центром внимания всей американской прессы.

В те же дни Соединенные Штаты были охвачены грандиозной всеобщей забастовкой рабочих сталелитейной промышленности. Бастовали сотни тысяч сталелитейщиков. Вторую неделю бездействовали все металлургические заводы страны и в том числе заводы Дюпона в Буффало — промышленном городе вблизи Ниагарского водопада, куда мы попали несколько позже.

Однако об этом огромном социальном событии в стране ни «Нью-Йорк таймс», ни другие крупнейшие и влиятельнейшие газеты Америки так и не обмолвились ни одним словом!

— Отражается ли в подборе и публикации новостей мнение самой редакции? — спросили мы Кетлич Тернера.

— Мнение редакции по тем или иным вопросам международной политики или внутренней жизни страны отражают статьи редакционной страницы. Что же касается новостей, то в подборе и публикации их мы объективны.

— Так ли уж объективны?

— Стараемся...

Визит наш в «Нью-Йорк таймс» завершился посещением линотипного цеха типографии этой газеты. Мы с особенной охотой приняли приглашение Сульцбергера-младшего посетить этот цех, втайне надеясь потолковать по душам с рабочими типографии.

Около полуторасот рабочих-линотипистов, узнав о том, что мы из Советского Союза, с интересом смотрели на нас, некоторые приветливо кивали нам, улыбались.

Однако разговора у нас не получилось. Было совершенно очевидно, что присутствие в цехе хозяйского сына отнюдь не располагало рабочих к беседе с нами — «красными журналистами».

Когда же мы пытались затеять самый невинный разговор с одним из пожилых линотипистов, он отозвался на него с заметной душевной готовностью, даже привстав при этом со своего рабочего места и сняв перед нами с седой головы похожую на польскую конфедератку довольно поношенную невзрачную кепку.

Но в это время подошел на минуту куда-то отлучавшийся Артур Сульцбергер.

И старый линотипист вдруг сник, сжался. Улыбка его

тотчас погасла. И он, порывисто опустившись на свой стул, принялся с подчеркнутым рвением за привычную свою работу...

Все было ясно.

И мы, приглядываясь к занятым своим делом рабочим-полиграфистам, продолжали разговор с молодым Сульцбергером о его газете.

— Каков же тираж «Нью-Йорк таймс»?

— В воскресные дни — один миллион триста тысяч экземпляров. В будни — несколько меньше... Наша газета не имеет подписчиков. Весь тираж расходуется в розницу. Мы сдаем ее оптовикам по три цента за номер. Оптовики продают в свою очередь владельцам газетно-журнальных киосков на один цент дороже. А читатель платит в киосках уже по пять центов за экземпляр.

Тут кто-то из наших спросил Артура Сульцбергера о генеральной линии «Нью-Йорк таймс». Но он, пожав плечами, ответил на это с наивной улыбкой:

— Об этом вам мог бы сказать мой отец. Я же ведь не шеф. Не президент. Не редактор. Мое дело узкое, господа, — бизнес!

Откровенно говоря, нам очень хотелось вновь спросить Сульцбергера-младшего о том, про что он скромно умолчал, а Сульцбергер-старший уклонился от ответа на наш вопрос, сославшись на большую компетентность в этих делах своего сына — казначея газеты. Нас все же интересовала нынешняя стоимость предприятия Сульцбергеров, некогда купленного за двести пятьдесят долларов.

Но повторять этого так и оставленного без ответа вопроса мы все-таки не стали из чувства такта к молодому хозяину, любезно сопровождавшему нашу группу по всем тринадцати этажам своей обширной, весьма влиятельной в Америке, могущественной державы, какой является по сути дела эта старейшая в Соединенных Штатах газета.

Мы покинули царствующее над площадью Таймс-сквер уютное здание редакции «Нью-Йорк таймс», когда наступала душная атлантическая ночь.

Огни в амбразурах гранитных башен Уолл-стрита померкли. Завершился очередной день большого бизнеса. И тупоголовые пики небоскребов Манхэттана — делового центра Нью-Йорка — едва угадывались теперь в бездонном пепельно-мглистом небе.

Светящиеся во мраке циферблаты громадных часов,

установленных на поднебесных вершинах контор Уолл-стрита, казались повисшими в воздухе.

Снова гнетущее чувство подавленности, одиночества и затерянности испытывал я, бредя со своими соотечественниками по дну ущелья худо освещенной пустынной улицы — Уолл-стрита. Это улица, на которой никто никогда не жил. Здесь не было ничего, что говорило бы о жизни огромного города.

Ни пылающих неоновыми огнями реклам, ни фешенебельных магазинов. Ни заманчивых кинематографов. Ни кабака. Ни театров. Ни ресторанов. И по ее тротуарам не текли, как по Пятой авеню или Бродвею, бурлящие потоки толпы.

По вечерам ущелье Уолл-стрита мертвело. Днем оно тоже не оживленное. Лишь за гранитными стенами угрюмых небоскребов идет в дневную пору неслышная и незримая для стороннего слуха и ока таинственная работа крупнейших финансовых акул — некоронованных королей Соединенных Штатов Америки.

В тиши оффисов этой улицы ежедневно, ежечасно, ежеминутно умножают миллионные свои барыши те сто пятьдесят пять семейств богатейших людей этой страны, состоящие каждой из которых оценивается, по утверждению американского журнала «Форчун», в пятьдесят миллионов долларов.

Сами же американские экономисты подсчитали, что один процент населения этой страны владеет двумя третями всего национального богатства Америки. Но и этот один процент архимиллионеров имеет свою вершину — семейства нефтяных, стальных, алюминиевых, химических и прочих королей, в руках у которых находится до миллиарда долларов.

А богатство, например, династии Рокфеллеров оценивается в два миллиарда долларов. Близки к тому накопления, хранящиеся в личных сейфах Меллонов и Дюпонов, Гетти и Фордов.

Владимир Ильич Ленин, разоблачая идеологических прислужников буржуазии, доказал около полувека тому назад, что в эпоху империализма монополистический капитализм перерастет в государственно-монополистический капитализм, то есть монополии становятся всевластными, деспотически неограниченными, по сути дела, хозяевами в стране. Они целиком и полностью подчиняют себе все промышленные предприятия, все сельское хозяйство, концен-

трируют во всевластных своих руках торговлю, банки. Более того, они практически подчиняют своей воле весь государственный аппарат, превращая правительство в свой политический филиал.

Все это налицо в Соединенных Штатах Америки. У власти здесь стоит не конгресс, заседающий время от времени под куполом Капитолия в провинциально-тихом Вашингтоне, и не ее многомиллионный народ, как это пытается утверждать поруганная воротилами Уолл-стрита конституция Америки, а финансовые короли и магнаты, в руках которых находится львиная доля всего огромного национального богатства страны.

Программу этих некоронованных королей, подлинных хозяев Соединенных Штатов, довольно-таки прямо и точно изложил со свойственной этим людям предельно циничной откровенностью один из крупнейших американских банкиров-миллионеров Фредерик Мартин.

«Нет, мы не являемся ревнителями общественной пользы! Мы — богачи! — воскликнул он однажды в порыве откровенности. — Америка принадлежит нам. Мы — ее хозяева. И мы готовы пустить в дело решительно все наши политические связи, наших продажных сенаторов, наших растленных конгрессменов, всех наших демагогов против любой законодательной акции нашего правительства, против любой политической платформы, против любой кандидатуры в президенты — против всего того, что может угрожать незыблемости нашего государства!»

Таков девиз хозяев, владык, диктаторов современной Америки.

И они используют властное свое могущество до предела.

За пятилетие первой мировой войны — с тысяча девятьсот четырнадцатого по тысяча девятьсот восемнадцатый год — американские архимиллионеры положили в свои сейфы тридцать пять миллиардов долларов чистой прибыли. А наиболее изворотливые из них умножили свои доходы за эти годы более чем в десять раз.

Во время второй мировой войны барыши американских магнатов увеличились с трех миллиардов трехсот миллионов долларов в тысяча девятьсот тридцать восьмом году до двадцати трех миллиардов трехсот миллионов долларов в тысяча девятьсот сорок четвертом году.

А за двенадцать последних послевоенных лет их доходы достигли четырехсот тридцати семи миллиардов долларов!

О сверхприбылях некоторых богачей Америки можно

судить по таким примерам. Годовой доход президента «Бетлехем стил корпорейшин» Арни Хомера достигает полумиллиона долларов. А так называемый почетный президент этой же компании Юрок Грейс «зарабатывает» около одного миллиона долларов.

Это, так сказать, еще средние миллионеры.

Состояние нефтяного короля Америки миллиардера Давида Гетти, проживающего в Париже, оценивается в несколько миллиардов долларов. Он получает ежегодно прибылей гораздо больше, чем зарабатывает в течение года один миллион американских рабочих!

Автомобильный король Форд наживает с каждого своего рабочего по три доллара в час. А буржуазные учёные-экономисты без умолку твердят о том, что-де ценности создаются не только трудом рабочего, но и капиталом. Отсюда они делают такой вывод: продукты производства надо делить пропорционально между трудом рабочих и капиталом. И раз капитал выражается в миллиардах долларов, то ему, стало быть, должна принадлежать соответственно этому и большая доля доходов. Такова философия американских экономистов — теоретиков так называемого народного капитализма!

\* \* \*

Безмолвен, темен, угрюм и мрачен был в этот вечерний час Уолл-стрит. И только там, впереди, над кварталами торгового центра Манхаттана полыхало жаркое зарево никогда не виданного мной грозного, потрясающего пожара. То мерцающие, колеблющиеся, как при землетрясении, столбы огня, то слепящие брызги гигантских бушующих его фонтанов поминутно взмывали над пиками небоскребов в темное небо, озаряя феерически-ярким трепетным светом громады домов этого неизмеримо огромного города.

Мы были ошеломлены видением грандиозного пожара, бушующего вдали над вершинами небоскребов торгового центра Нью-Йорка.

Однако огненный этот прибой за пожар приняли мы по неопытности. То были всего-навсего рекламные огни Бродвея!

А угрожающе яростный, душераздирающий вой сирен полицейских автомобилей, проносившихся то и дело мимо

нас с вихревой скоростью по пустынному Уолл-стриту, дополнял эту поражающую воображение картину пожара — стихийного бедствия, вдруг обрушившегося в ночи на поднебесные кровли Манхэттана.

Но никакого стихийного бедствия на этот раз в Нью-Йорке не было. А бросавший нас в оторопь рев сирен ничуть не смущал, как мы заметили, ко всему привыкших, видимо, нью-йоркских старожилов. Он напоминал им лишь о том, что с наступлением сумерек принимались за свое привычное дело ночные хозяева Нью-Йорка — гангстерские шайки налетчиков, грабителей и громил.

Завтра из утренних выпусков местных газет будет известно все: сколько за минувшую ночь было совершено в этом городе преступлений, ограблений банков или страховых контор, убийств и сколько было схвачено полицией гангстеров, малолетних преступников во время очередной перестрелки.

Известный американский писатель Джованни Скьяво — автор нескольких книг о преступном мире Соединенных Штатов — после многолетнего всестороннего изучения им этой национальной проблемы пришел к выводу, что гангстеризм неотъемлем от американского образа жизни, где насилие возводится в культ.

Гангстеризм, утверждает Джованни Скьяво, это та же политика силы, только обращенная внутрь общества. И гангстеры — это чистейший продукт Америки, продукт образа ее жизни, образа ее действий, как и преступность среди несовершеннолетних.

Только в одном Нью-Йорке насчитывается несколько десятков банд малолетних преступников. По одним американским источникам их здесь около двухсот, по другим — около полутысячи. Все эти шайки несовершеннолетних правонарушителей находятся между собой в состоянии непрерывной вражды. То и дело объявляя и затеывая междоусобную войну, они буквально терроризируют весь этот огромный город.

Американский журнал «Юнайтед стейтс ньюс энд уорлд рипорт» для того, чтобы выяснить причины бурного роста преступности среди подростков, поручил своему нью-йоркскому корреспонденту, давно специализировавшемуся на этой тематике, изложить на своих страницах эту проблему так, как она ему представляется. Корреспондент выполнил поручение, опубликовав на страницах журнала пространную статью. Не говоря по существу о причинах роста дет-

ской преступности, а описывая только лишь факты, автор рассказал о страшной жизни американских подростков, этого «потрясенного поколения», как метко окрестила его сама же американская пресса.

«Во всех крупных городах Соединенных Штатов Америки,— писал корреспондент,— банды подростков убивают, насилюют, грабят население. Число полицейских все увеличивается. Сенатская комиссия по детской преступности расследует причины ее роста».

На третий день нашего пребывания в Нью-Йорке все газеты были заполнены описаниями кровавой драки подростков.

В завязавшейся драке обе банды пустили в ход ножи, а затем и огнестрельное оружие. Один четырнадцатилетний подросток поджег фитиль в бутылке с бензином и бросил ее в группу своих противников.

Газеты сообщали, что двум схваченным полицией во время этой кровавой драки подросткам предъявлено обвинение в убийстве. И пока городские власти Нью-Йорка обсуждали планы, как ликвидировать наконец эту непрерывную междоусобную войну малолетних правонарушителей, в Нью-Йорке произошло между подростками новое побоище. Объектом раздора явилась небольшая спортивная площадка между Девятой и Десятой авеню, в районе, известном в Нью-Йорке под названием «Чертова кухня». В результате этого побоища было убито двое подростков, трое тяжело ранены.

Главарь одной из этих банд, схваченный полицией, ранил при завязавшейся перестрелке троих полицейских и, по словам американской прессы, ему, разумеется, будет обеспечен электрический стул.

В дни нашего пребывания в Нью-Йорке газеты писали, что комиссар нью-йоркской полиции Стивен Кеннеди бросил тысячу четыреста полицейских на борьбу с малолетними гангстерами. А мэр Нью-Йорка Роберт Вагнер потребовал увеличить численность полицейских сил против вооруженных банд несовершеннолетних преступников еще на одну тысячу.

Губернатор штата Нью-Йорк Рокфеллер и мэр Вагнер, выступив в сенатской подкомиссии, настаивали на установлении более жесткого контроля над наркотиками и огнестрельным оружием с тем, чтобы они не попадали с такой легкостью в руки подростков. Они говорили, что при-

страсти к наркотикам играет большую роль в бурном росте детской преступности в Соединенных Штатах.

Между тем представитель федерального органа, занимающегося наркотиками, заявил специальный сенатской комиссии, что около сорока процентов всех наркоманов Америки живет в Нью-Йорке.

Но ни губернатор Рокфеллер, ни мэр Вагнер ни словом не обмолвились об истинных причинах возникновения и резкого обострения этой национальной проблемы Америки. Оба они сделали вид, что не замечают того, как весь мир, окружающий американских подростков, пронизан духом насилия, грабежа и обмана.

Американский гангстеризм и, в частности, детская преступность — это не позор, а несчастье молодого поколения Соединенных Штатов. Роковая печать этого позора целиком ложится на капитализм, духовно опустошающий, растлевающий юное поколение.

Нам рассказывали, что в Нью-Йорке, в Чикаго и других городах Америки есть немало добровольцев-энтузиастов, пытающихся отвлечь молодежь от преступности, чем-то заинтересовать ее.

Вот что писала при нас газета «Нью-Йорк джорнэл Америкэн» об одном из таких энтузиастов некоем миетере Томасе Гише.

«Этот человек, — сообщала газета, — изучил за свой век причины преступности до самых ее корней. Он хорошо знаком с покрытыми сажей и хламом перекрестками своего района в Нью-Йорке, где кишат разные расовые группы, не смешиваясь, подобно воде и маслу, где стены старых домов скрывают трущобы похуже знаменитого у нас Ист-сайда, где подростки, наблюдая за бездомными бродягами, постоянно задают себе страшный вопрос: неужели и я стану когда-нибудь таким же?!»

Мистер Томас Гиш передает, что в беседе с ним главарь одной из гангстерских шаяк малолетних сказал ему: «Я очень боюсь, что, когда стану взрослым, то не найду себе никакого посильного дела и стану голодать. Мне шестнадцать лет. Но я ничего не знаю и ничего не умею делать. Как я смогу заработать на жизнь? Я знаю, что многих сверстников у нас в Америке беспокоит этот вопрос. А если ты не можешь заработать, то что же тогда делать тебе и как жить? В таком случае известно что: грабить, воровать, убивать!»

Не вся, разумеется, молодежь Америки, зараженная ядом преступности, находится на грани духовного распада. Среди молодого американского поколения немало здоровых — физически и духовно — сил. Однако армия «потраченного поколения» катастрофически продолжает расти и рассти в этой стране, полной контрастов и противоречий, каких не найдешь, пожалуй, ни в одном капиталистическом государстве Европы.

— Нет, я не узнаю, господа, своего Нью-Йорка. Это уже совсем не тот город, каким знал я его хорошо лет двадцать тому назад, — говорил нам однажды репортер по уголовной хронике Джон Уайл. — Тогда я тоже вел уголовную хронику в нашей газете. Но теперь, наблюдая за непрерывным ростом преступности, я, право, испытываю чувство недоумения. Что же случилось с нашим великим городом? Теперь он выглядит совсем по-иному. Улицы, которые когда-то были оживленными, на которых по вечерам было так же много людей, как сейчас на Бродвее, эти самые улицы теперь тихи и пустыньны после наступления темноты.

— Почему?

— Потому что нью-йоркцы боятся показываться на этих улицах ночью. Пустыньны не только улицы, но и все городские парки. А такой наш прекрасный центральный парк Нью-Йорка, как Хагар-сквер, не считается теперь безопасным даже в дневное время.

Еще по дороге из аэропорта Айдлуайлд в Нью-Йорк мы, проезжая по Пятой авеню мимо огромного зеленого массива Хагар-сквера, видели кружившие над этим парком вертолеты. И теперь, вспомнив об этом, к слову спросили нашего собеседника:

— С какой целью кружатся над парком эти машины?

— О, это же воздушные полицейские патрули, господа! — ответил Уайл. — Они контролируют парк с птичьего полета. Правда, и эта мера не всегда спасает некоторых малоосторожных посетителей парка даже от дневных нападений великовозрастных и малолетних гангстеров... Черт знает, до чего мы все-таки дожили, господа! — заключил Джон Уайл с непритворной горечью.

Позднее мы с Мариной Бугаевой и Валентином Гольцевым все же отважились заглянуть среди бела дня в Хагар-сквер. Он нам понравился. Роскошные тенистые деревья. Много спортивных площадок. Много прудов с лодками. Здесь не худо могли бы отдохнуть в летние дни от угарного чада душных, узких, запруженных машинами улиц оглу-

шенные грохотом, одурманенные бензиным перегаром и парным зноем нью-йоркцы.

Но великолепный громадный зеленый массив, раскинувшийся в центре гранитно-стального города, был почти совсем пуст. Пусты были и спортивные площадки. Пустынны были и берега зеркальных прудов с сиротливо оприколенными лодками. Редки были прохожие на тенистых аллеях. Чаще всего мелькали только то тут, то там дюжие фигуры полицейских с резиновыми дубинками в руках, с тяжелыми пистолетами на поясе,



### АМЕРИКАНЦЫ ПОНИМАЮТ НАС

В очередную программу знакомства с Нью-Йорком входило посещение нами здания Организации Объединенных Наций, а затем прогулка на пароходe по Гудзону, чтобы мы могли увидеть Нью-Йорк со стороны Гудзонова залива.

Утром тотчас же после легкого завтрака усаживаемся в черные длинные, как ракета, автомобили и мчимся в густом потоке машин мимо Пенсильванского вокзала через Таймс-сквер и бушующий, невзирая на ясный божий день, рекламными огнями Бродвей к зданию ООН на набережной Ист-ривер.

Миновав Бродвей, сворачиваем на одну из бесчисленных рядовых нью-йоркских стрит — мрачноватую, захлавленную обрывками газет и прочим мусором улицу.

Здесь уж не видно роскошных зеркальных витрин фешенебельных универсальных дворцов-магазинов с Пятой авеню, с красующимися на манекенах умопомрачительными бальными нарядами. Не спят глаз и рекламные трюки Бродвея. Сумрачно. Невзрачно. Провинциально. Зато то и дело мелькают в окнах магазинчиков и лавчонок знакомое уже нам слово «Сейл». Оно означает распродажу товаров по ценам, сниженным против подлинной их стоимости, если поверить ярлыкам, на добрую половину, а то и на все три четверти!..

Но вот автомобили выносят нас на набережную Ист-ривер. И мы вдруг оказываемся у подножия необычайного небоскреба, издали похожего скорее на гигантский элева-

тор. Две боковых поперечных узких стены сооружены из белого мрамора, две продольных — из подкрашенного в голубовато-зеленый цвет стекла. Это и есть тридцатидевятиэтажный дворец Секретариата Организации Объединенных Наций.

У подножья этого сооружения простирается другое, схожее с положенным плашмя спичечным коробком, прикрытым грибообразной шляпой, мраморно-известковое здание Генеральной Ассамблеи ООН. Перед нами на высоких флагштоках, выстроившись в парадно-стройную шеренгу, полоскались в жарких лучах атлантического солнца разноцветные национальные флаги восьмидесяти двух государств—равноправных членов Организации Объединенных Наций. Флаги установлены в алфавитном порядке названий стран. Государственный флаг Советского Союза жарко пылает по соседству со звездным флагом Соединенных Штатов Америки.

И, обнажив головы перед собственным флагом, мы, говоря начистоту, не без некоторого душевного волнения переступили порог громадного вестибюля.

Здесь нам представилась высокая, гибкая русоволосая девушка в синем форменном платье гида. Внешне в ней не было ничего такого, что бы роднило ее с примелькавшимся уже нам в Нью-Йорке стандартным типом американских девушек. Голубые изумленно смотрящие на мир глаза. Открытое, мягко очерченное лицо. Непринужденная простота в обращении.

— Здравствуйте, господа из России! — сказала она, протягивая поочередно каждому из нас руку.— Меня зовут Наташей. Мне очень будет приятно сопровождать вас по залам ООН. Тем более, что я тоже русская. Мой папа москвич. С Таганки. Мама иркутянка. И хотя я родилась и росла в Австралии, в Сиднее, я много слышана от моих родителей о России. И вообще я всегда очень рада видеть русских людей. Очень, господа, рада!

— Охотно вам верим, Наташа. А вы что же, американская подданная?

— Родители — да. А мне еще нет двадцати одного года, когда я, по американским законам, смогу себе выбрать подданство.

— И какое же выберете, когда вам минет двадцать первый?

— О, я об этом еще не успела подумать как следует, господа...

— А то приезжайте к нам в Москву. На Таганку,— шутим мы с Наташей.

— Спасибо, господа. Я бы очень хотела увидеть Россию. Москву. И даже эту самую там Таганку, о которой так любит часто вспоминать папа...

— Отец ваш работает?

— Да. Он инженер. Электрик. Ему наконец повезло: недавно он получил работу на заводах Форда в Детройте.

— А ваша матушка?

— Она дает уроки русского языка в одном детройтском колледже и в трех семьях видных тамошних бизнесменов. О, изучение русского языка с недавних пор стало модным делом в Америке! — заявила Наташа.

Русская по происхождению девушка, прошедшая американскую школу гидов, начала рассказ о достопримечательностях здания ООН в чисто американском духе и стиле — с цифр, с того, сколько тут что стоит. Под территорию владений ООН было продано восемнадцать акров баснословно дорогой нью-йоркской земли, когда стоимость одного квадратного метра в иных местах этого города достигает сорока тысяч долларов. Строительство здания, начатое в конце тысяча девятьсот сорок восьмого года и законченное в тысяча девятьсот пятьдесят втором году, обошлось в шестьдесят восемь миллионов долларов. Было подчеркнуто при этом, что Рокфеллер пожертвовал восемь с половиной миллионов долларов.

На тридцати девяти этажах небоскреба Секретариата ООН работает три тысячи триста сотрудников. Гаражи, устроенные под зданием, способны вместить около двух тысяч автомобилей. В разработке архитектурных проектов этого дворца принимали участие архитекторы многих стран, в том числе и наши советские зодчие.

Впечатляюще громаден зал заседаний Генеральной ассамблеи с его куполообразной шатровой крышей над амфитеатром двух тысяч ста кресел — мест для членов Ассамблеи, для представителей прессы и для гостей. Здесь во время заседаний речи ораторов одновременно переводятся на пять языков, и каждый присутствующий на заседании может слушать любой из этих переводов, взяв висящие перед ним наушники...

— Прошу обратить внимание, господа, на арку парадного входа в зал Ассамблеи,— говорит Наташа, указывая нам рукой в противоположную от стола президиума сторону, откуда пролегалла посреди зала устланная пышным ма-

линовым ковром дорога к Почетному креслу за столом президиума.

— Это вход для почетных гостей Ассамблеи, — продолжала свои объяснения наша миловидная проводница.

Поминутно пересыпая свою речь многозначными цифрами, Наташа водила нас по залам дворца, привлекающим внимание не только различием и оригинальностью их внутреннего убранства и отделки, но и размещенными в них произведениями искусства — дарами скульпторов и художников, народных мастеров и умельцев многих стран мира.

Зал Ассамблеи украшает панно французского художника Фернана Леже.

Кстати. Позднее мы посетили художественную галерею в Вашингтоне. И там было немало полотен абстракционистов. О художественной значимости таких произведений можно судить по оценке, которую дает им прогрессивная буржуазная пресса Европы. Так в дни нашего пребывания в Филадельфии мы прочли в газете «Вашингтон пост» заявление президента Английской королевской Академии художеств Чарльза Уилера, который, подвергая резкой критике абстрактное искусство, сказал:

«Так как это нечестно, то мы никогда не станем показывать образцы последнего трюка, когда обнаженную натурщицу покрывают краской, а затем художнику предлагается протащить ее по полотну, расстеленному на полу студии. Мне сказали, что получающиеся в итоге картины — так называемые — будут выставлены в Париже. Неужели нет границ этому абсурду?»

До каких пор мы позволим этим смехотворным трюкам и экстравагантностям моды подменять подлинное и заслуженное искусство?

Я полагаю, до тех пор, пока находятся люди, которые ставят сенсацию выше чувства, и пока произведения искусства превращаются в предметы торговли, качество которых принимается покупателями на веру и не подвергается сомнению, потому что это последняя новинка.

Это действительно будет продолжаться до тех пор, пока мы будем доверчивы. Этот абсурд в современном искусстве я бы назвал лихорадочным хаосом. Он является, по моему, частью всемирного движения, направленного на то, чтобы дискредитировать и уничтожить бог знает для чего традиционное и представительное искусство.

Он продолжает существовать не потому, что приемлем для всех — фактически девяносто процентов считают их

подчас нелепыми и смешными, — а потому, что, как это случается в области политики и промышленности, чтобы вызвать страшный хаос в изобразительном искусстве.

Они добились своего, но это пройдет...»

Хорошо запомнился оригинальной внутренней отделкой зал заседаний Совета Безопасности. Просто не верилось, что одна из стен этого зала была столь изящно, мастерски-тонко отделана золотистой соломой, а две боковых — не менее изящной декоративной шелковой тканью — даром народа Норвегии.

В зале Совета по опеке бросается в глаза работа датского скульптора Генрика Старке. Женщина держит в руках синюю птицу, как символ надежды на счастье и мир всего человечества. Здесь же выставлена написанная в реалистической манере картина доминиканского художника Вела Занегги, посвященная борьбе за мир народов земного шара.

Зал Социально-экономического Совета украшает огромный — во всю застекленную стену — роскошный декоративный занавес ручной работы — произведение талантливой, не по годам, видать, трудолюбивой шведской школьницы!

В коридорах и фойе этих залов здания ООН можно увидеть бразильские панно и бельгийские гобелены, персидский ковер пятисотлетней давности и мраморную статую Зевса, подаренную Грецией.

Японский народ прислал в дар дворцу ООН древний буддийский колокол — символ вечного мира. Канадцы украсили одну из дверей фойе национальным орнаментом.

Американские дети сделали своими руками фонтан, от мерного безмятежного журчания которого веет благодатным покоем...

— Чем конкретно занимается, например, Совет по опеке? — спросили мы нашего юного гида.

— Не так давно, — отвечала Наташа, — он разбирал жалобу десятилетней девочки из Южной Африки. Девочка эта просит, чтобы с нее не брали по двадцать франков за приход на базар. Совет, рассмотрев эту детскую жалобу, отменил закон Южно-Африканского правительства о взимании с местного населения платы за приход на базар.

О том же, чем заняты на тридцати девяти этажах здания ООН три тысячи триста его сотрудников, мы уже спрашивать Наташу не стали. Вряд ли она могла дать нам ответ на этот вопрос.

В вестибюле торговали сувенирами — безделушками многих стран мира. Продащица, признав в нас русских, пожаловалась:

— Самый ходкий товар у нас — русские сувениры. Знаменитые изделия Палеха. Они всегда нарасхват. Очень жаль, господа, что мы так редко их получаем. Передайте, пожалуйста, об этом в России.

— О' кэй. Передадим, мадам.

Плавно движущиеся эскалаторы поднимали и опускали с этажа на этаж людские потоки. Звучала разноязыкая речь. Щелкали затворы туристских фотоаппаратов. Гудели, как молотильные барабаны, установки кондиционированного воздуха, и было похоже, что мы находились в каком-то солидном музее, среди праздной толпы зевак, искавшей в нем лишь убежища от тропической жары.

Американские девушки и юноши слонялись по фойе, толкались возле киосков с сувенирами, около автоматов с прохладительными напитками кока-кола и пепси-кола.

Мы знали, конечно, что во время очередных сессий Генеральной ассамблеи под шатровым куполом ее зала не перестают звучать речи о разоружении и мире.

Но мы были и свидетелями того, как во время нашего пребывания в Соединенных Штатах творец американской водородной бомбы Берри Теллер ратовал на страницах газеты «Нью-Йорк геральд трибюн» за продолжение подземных ядерных испытаний. А президент в своем послании конгрессу требовал на военные расходы сумму, которая составляет, по признанию американской прессы, почти восемьдесят процентов всех бюджетных расходов страны.

В связи с оснащением американской армии ракетным оружием и баллистическими снарядами, а также созданием новых видов вооружения, военные расходы в Америке растут не по дням, а по часам.

Бешеная гонка вооружений, которая ведется в Соединенных Штатах под шумок демагогических речей о мире, тяжелым бременем ложится на плечи американского народа, который, как и всякий другой народ нашей планеты, не хочет войны.

Не ахти как светло было у нас на душе после посещения оригинального небоскреба на берегу Ист-ривер — дворца ООН. Он воздвигался и украшался руками многих народов земного шара, как символ мира. Однако есть еще в Америке силы, которые стремятся превратить это полное глубокого гуманного смысла общечеловеческое творение в

Вавилонскую башню рухнувших однажды людских надежд...

Тепло распрощавшись у подъезда здания ООН с нашим юным любезным гидом, мы подарили ей сувенир — одну в другой мал мала меньше наших русских ярко раскрашенных матрешек.

Вспыхнув как маков цвет, Наташа долго благодарила нас за подарок.

А когда мы, усевшись в автомобиле, тронулись в дальнейший путь, направляясь в нью-йоркскую гавань, девушка — это было уже на манер иных экспансивных американок — послала нам вслед на прощанье воздушный поцелуй!

Час спустя, покинув шумную, разноплеменно-многоязычную нью-йоркскую гавань, мы отправились на белоснежном туристском судне «Никкер Боккер» в плавание по Гудзону.

Был в разгаре уже жаркий солнечный полдень. Над скалистым скопищем небоскребов Нью-Йорка, над изумрудным заливом пылало голубым пламенем бездонно-высокое, словно отражавшееся в зеркальном космосе самого океана, знойное небо. Стаи чаек, купаясь в потоках света, провожали наш пароход в глубь залива.

Пассажиров было немного: десятка два американцев и немногим больше французов и англичан — туристов из Европы — да два семейства негров с детьми, отчужденно державшихся от тех и других в сторонке у левого борта палубы, не защищенного от палящего солнца.

Оглядевшись, мы облюбовали для себя довольно уединенное и укромное место на корме палубы, усевшись компанией под тентом в удобные плетеные кресла.

Мистер Паркс, сопровождавший нас в этой прогулке, пристроился рядом с нами:

— Мы пройдем, господа, по Гудзону под восемнадцатью цепными мостами. И в том числе под знаменитым Бруклинским мостом — чудом инженерного сооружения Америки. Вы увидите со стороны залива грандиозную панораму небоскребов Манхэттана. И я смею заверить вас, будете потрясены их величием! — объявил нам для начала торжественным голосом мистер Паркс.

— Ну-ну. Давай. Поглядим, — пробормотал Ираклий Чхиквишвили, всегда подчеркнуто-иронически относившийся к любому слову не в меру прославлявшего все американское мистера Паркса. Но, впрочем, тут же с оживленной заинтересованностью он вдруг спросил у гида:

— А что это за флотилия кораблей красуется вон там, на другом берегу Гудзона?

Мистер Паркс сделал вид, что он не сразу разглядел рельефные контуры кораблей, неподвижно маячивших на далеком противоположном берегу широкой реки, подернутой призрачной знойной дымкой.

— Ах, это вот там? Однако у вас хорошее зрение, сэр!..— промолвил с плохо скрытым ехидством гид, косясь на Ираклия.— Это, господа, суда «Либерти», которыми во время второй мировой войны Соединенные Штаты одалживали своих союзников по ленд-лизу.

— Каково же их назначение теперь?

— Вот уж несколько лет они стоят на причале. А в их трюмах хранятся продовольственные излишки Америки.

— Продовольственные излишки? И много?

— Не могу знать, сэр... Америка — богатая страна. Не бедна она, стало быть, и такими излишками...

— Для кого же берегутся эти излишки?

— Просто, видимо, правительство пока не знает, куда их девать.

— Недогадливое же у вас правительство, сэр Паркс!

— Допустим... А что бы вы предложили?

— Раздать эти излишки семьям четырех миллионов безработных Америки.

— Извините, сэр. Такого количества безработных у нас в Америке нет. Это пропаганда.

— Извините, мистер Паркс,— энергично вмешался в разговор наш знаток английского языка редактор литовской республиканской газеты Генрих Зиманс.— Такую цифру безработных в Соединенных Штатах называют ваши экономисты. Вот видите у меня в руках книгу? Она издана в Нью-Йорке. И называется «Сборник фактов о труде в США». Издание так называемой Рабочей исследовательской ассоциации Америки. И вот здесь, извольте взглянуть вот на эту страницу, прямо сказано, что на протяжении 1958—1959 годов, согласно официальным подсчетам, число полностью безработных в Америке ни разу не опускалось ниже четырех миллионов, а в отдельные периоды оно достигало и шести миллионов. Таковы документальные данные об американской безработице. Что вы можете возразить против этого, мистер Паркс?

— Не всякая книга — документ,— хмуро отговорился Паркс.

— Хорошо. В таком случае я позволю себе сослаться

еще на один пример,— продолжал наступать на гида Генрих Зиманс.— Вот вы говорили нам о высоком жизненном уровне так называемого среднего американца. Но кто он, по-вашему, этот «средний американец»?

— Рабочий, фермер. Рядовой служащий...

— Сегодня утром в нашем отеле я купил номер газеты «Вашингтон пост энд таймс геральд»,— сказал Генрих Зиманс, разворачивая газету.— И представьте себе, вот что я читаю в редакционной ее статье. Послушайте.

И Генрих Зиманс, прочитав абзац из этой статьи по-английски, затем перевел его и по-русски.

«Так много было сказано и написано об американском процветании,— писала эта газета,— что почти повсеместно как у нас в Соединенных Штатах, так и за рубежом, многие полагают, будто каждый американец имеет двухэтажный дом, роскошный автомобиль, что он сыт, одет и пользуется медицинским обслуживанием. Однако многочисленные факты свидетельствуют о том, что очень много людей, занятых физическим трудом, не имеют даже представления обо всех этих материальных благах, о здравоохранении и отдыхе.

Кто же эти люди? — спрашивает далее газета.— Кто эти люди, которые не фигурируют ни в одной нашей кинокартине, ни в одном журнале, освещающем жизнь в Соединенных Штатах Америки? Это — рабочие. Это — мелкие фермеры. Словом, это все те простые люди Америки, которые своим трудом создают материальные блага — национальное богатство страны».

— О чем это говорит? — спросил затем Генрих Зиманс мистера Паркса, процитировав эти строки газеты.

— О том самом, господа, что в Америке можно писать все, что угодно. У нас — свобода! — заносчиво отозвался Паркс.

— Позвольте. Вот вы, мистер Паркс, относите к числу этих самых «средних американцев» и заводского рабочего. Говорят, еженедельный заработок такого рабочего — девяносто долларов. Это верно?

— Да, это так. Примерно, девяносто-сто долларов.

— Вы что-нибудь слышали про комитет Геллера?

— Да. Есть такой исследовательский комитет у нас при Калифорнийском университете в Сан-Франциско.

— Вы знаете, чем занимается этот комитет?

— Знаю. Он ежегодно рассчитывает бюджет для аме-

риканской семьи в составе четырех человек — мужа, жены, двоих детей: тринадцатилетнего мальчика и восьмилетней девочки. Такой бюджет Геллера считается у нас в Америке стандартным для всей страны. Он обеспечивает скромный уровень жизни для здорового существования, — категорически заявил мистер Паркс.

— Ясно, — удовлетворенно откликнулся на это Валентин Гольцев. — Но вот я читал в «Нью-Йорк таймс» на днях, что «бюджет Геллера» в августе этого года составлял шесть тысяч восемьдесят семь долларов в год. Это сто семнадцать долларов в неделю. Так? Тогда как же будет сводить концы с концами такой «средний американец», как заводской рабочий, при его стодолларовом заработке в неделю?

— Бюджет Геллера — стандарт. Но не все в Америке экономят такого рода живут по стандарту, разработанному экономистами из Калифорнийского университета, — попробовал прикрыться туманной отговоркой мистер Паркс и предложил нам посмотреть на панораму взмывших в небо небоскребов Манхэттана.

Со стороны залива скопище этих небоскребов выглядело теперь более внушительным и грандиозным, чем с воздуха, когда мы впервые увидели Нью-Йорк с борта воздушного лайнера.

Эти гранитные, сверкающие в лучах жаркого солнца прямоугольные башни, точно вставшие над бирюзовой водой прямо со дна залива, — зрелище необычное, впечатляющее.

Мы долго, словно загнипнотизированные, смотрим, не отрывая глаз, на эти скалистые гребни и пики.

Мистер Паркс, заметив, что мы поглощены этим непривычно для нас броским зрелищем, тщеславно восклицает, потирая руки:

— Вот, господа, что такое Америка! Колоссально!

— Ол райт. Внушительно...

— Страна самого большого богатства в мире. Это факт?

— Факт.

— Страна самого высокого в мире жизненного уровня. Это тоже факт, господа?

— Также факт.

Вдруг все умолкли. В это самое время наш пароход проходил мимо Элис-Айленда — «острова слез», на котором отбывают невеселый свой, иногда очень затяжной ка-

рантин иные малозадачливые искатели призрачного счастья.

Затем мы увидели в непосредственной близости статую Свободы с чадным ее светильником в простертой к небу руке.

В тяжелой, ниспадающей с плеч тоге, увенчанная похожей на терновый венец короной, равнодушно взирала она на окрестный мир окаменело бесстрастными, давно, видать, ко всему на свете привыкшими глазами.

От парного дыхания Атлантики воздух был горяч и влажен. Глаза ломило от обилия света, от сияния неба, от бирюзовой, пронизанной солнечными лучами воды. Мимо нашего судна — и справа и слева по борту — сновали туда и сюда такие же белоснежные, как и наш, туристские пароходы с пассажирами на прикрытых тентами палубах. Стремительно проносились быстроходные катера, спортивные яхты, моторные лодки. Плыли подталкиваемые буксирами лесные плоты.

Вдали, над нью-йоркской гаванью, забитой океанскими судами под флагами многих стран мира, видны были парящие над портом, стрекотавшие, как стрекозы, вертолеты — воздушные посты портовой нью-йоркской полиции.

После долгого молчания мистер Паркс, вспомнив, видя, о своих обязанностях гида, сказал:

— Прошу, господа, запомнить, что нью-йоркский порт — самый большой в мире. А через весь его рейд будет сооружен в скором времени гигантский висячий мост — тоже самый длинный мост на земном шаре!

Ну, конечно. В Америке все самое большое. Или самое высокое. Или самое длинное. Как все здесь «проблема номер один». Безработица. Детская преступность. Гангстеризм. Высокие налоги. Трущобы. Негритянский вопрос. Инфляция. Все это «проблемы номер один»!

Когда наш пароход, огибая Манхаттан, проходит под Бруклинским мостом на обратном пути в портовую гавань Нью-Йорка, к нам подошел высокий седоволосый человек, по внешнему облику — типичный американец.

— Я слышу русскую речь. Здесь можно присесть? Благодарю вас. Вы из России? Очень приятно встретиться. Очень приятно для меня поговорить на русском языке с русскими людьми из России,— небыстро заговорил он, произнося подчеркнуто правильно каждое слово.

Затем он тотчас представился нам. Рассуэл Фримэн. Инженер-экономист из Буффало. Служит в управлении

сталелитейных заводов Дюпона. Сносным знанием русского языка более всего обязан своей супруге Марии Муравьевой, русской по происхождению. Она — учительница русского языка в одном из колледжей Буффало.

Впрочем, изучать русский язык он начал еще в колледже, а затем позднее в Колумбийском университете. Тогда он, конечно, еще не думал, что придет такое время, когда изучение русского языка станет, как теперь, модным занятием в Америке. Ведь сейчас введен даже час русского языка по телевидению. И тысячи американцев ведут себя во время этих уроков, как весьма прилежные школьники...

Рассуэл Фримэн — участник второй мировой войны. Служил в чине лейтенанта американской морской пехоты. Встречался на Эльбе с офицерами и солдатами великой русской армии. О, замечательный это народ — русские солдаты и офицеры! Широкая душа. Открытое сердце. Храбры. Великодушны.

На всю жизнь сохранит он в душе самые теплые, светлые воспоминания об этой памятной встрече с русскими воинами на земле побежденной фашистской Германии!

Что мы можем сказать в общих чертах об Америке? О, он очень хорошо понимает нас. Страна, разумеется, очень противоречивая. Очень. Все — на кричащих контрастах. Неслыханное богатство и изобилие — это да.

Но в трущобах жизнь на грани полного обнищания — это тоже одна из величайших социальных проблем американского государства, нации. Сенатор Дуглас не был голословным, когда утверждал, что в Америке есть мужчины, женщины и дети, которые медленно умирают с голоду.

Да, он, Рассуэл Фримэн, знает такие семьи. Они есть и в рабочих кварталах Буффало — города сталелитейщиков, которые третью неделю бастуют сейчас, требуя повышения заработной платы. Конечно, помимо династии архимиллионеров хорошо живут государственные служащие или преуспевающие фермеры, рабочие высокой квалификации или люди интеллектуального труда, ловкие бизнесмены или удачливые торговцы. Но материальное благополучие и всех этих людей нестойкое. Оно катастрофически может рухнуть от любого экономического потрясения, которое неизбежно в этой стране.

Тут Рассуэл Фримэн процитировал нам в переводе на русский язык один абзац из статьи известного американ-

ского публициста Рестона, опубликованной в «Нью-Йорк таймс».

«В стране с невероятным личным ежегодным доходом в триста девяносто три миллиарда долларов,— писал Рестон,— все еще имеется более тридцати двух миллионов человек, живущих меньше чем на пятьдесят долларов в неделю с семьей в четыре человека. В эти тридцать два миллиона включена одна пятая детей нации и восемь миллионов человек старше шестидесяти пяти лет».

Такова, как говорится по-русски, обратная сторона золотой медали капитализма. Нет, он, Рассуэл Фримэн, не коммунист. Он очень далек от политики. Но он и не из тех его соотечественников, которые не любят говорить про эту неприглядную сторону.

Хотя он не меньше этих людей любит свою страну и гордится многими деяниями американской нации. Превосходными автомагистралями и мостами. Высокой строительной техникой. Широким внедрением автоматизации в промышленности, в быту, в торговле. Блеском технической культуры. Изобретательностью в рекламном деле. Комфортом, знаменитым американским сервисом. Наконец, трудолюбием простых американских людей — создателей всего национального богатства Соединенных Штатов Америки.

— Кстати, не собираетесь ли вы, господа, побывать в нашем Буффало? — спросил нас мистер Фримэн.

— Да. После Чикаго в нашем маршруте — Буффало. Ниагарский водопад.

— О, очень хорошо. Ниагарский водопад — великое чудо света. Это — национальная святыня Америки. Наш народ совершает туда паломничество, как народы Азии в Мекку... Я полагаю, что вы остановитесь в лучшем отеле Буффало «Ниагара»? Это всего в полумиле от нашей квартиры. Позвольте оставить вам мой телефон. Я запишу его на своей визитной карточке. Мы с женой были бы очень рады видеть свсими гостями людей из России. Вы знаете, у нас даже есть настоящий русский самовар. Старый никелированный самовар. Весь в медалях. Из Тулы. Это — приданое моей жены. Семейная собственность ее родителей — выходцев из России. Приезжайте, господа, в Буффало. Мы будем пить у нас в доме чай из настоящего русского самовара!

Все это время, пока словоохотливый и общительный Рассуэл Фримэн оживленно разговаривал с нами по-русски, мистер Паркс заметно нервничал. Читая какую-то

книгу в глянцевиной обложке, он то и дело бросал на разговорчивого инженера из Буффало косые, недобрые взгляды.

Видимо такие встречи выходили за рамки программы нашего знакомства с Америкой и ее народом. И это не могло не раздражать мистера Паркса — официального представителя «Американ экспресс компани».

Однако помешать нашим встречам с американцами было все же не в силах мистера Паркса. Узнав о том, что мы из Советской России, они тотчас же сами охотно завязывали разговор.

Все эти люди были не только вежливы и любезны с нами, но и доверительно-откровенны, радушны. Чувствовалось, что не ради одного простого любопытства тянулись они к нам. Многие из них искали в этом общении большего — душевных контактов, взаимопонимания, простой человеческой дружбы.

И было очевидно, что антисоветская пропаганда далеко не всегда достигала прямой своей цели в Америке. Она не затмила, не погасила в душе простых, честных американских людей их живого интереса к нашей великой стране, их сердечных порывов к дружбе с нашим народом, их страстного желания жить в мире с нами.

Когда наше судно возвращалось из плавания по Гудзону и уже подходило к яркой, пестрой и шумной нью-йоркской гавани, к нам подошел капитан парохода Фрэнк Мартинас в сопровождении молодой белокурой американки Нормы Холлинг — гида американских туристов, ехавших вместе с нами.

Представившись нам, капитан сказал:

— Я был в России. В Архангельске. Это было в годы войны. Мы сопровождали в Архангельск суда с грузом, предназначенным для России по ленд-лизу. Я служил в американском военном флоте. Мы были в то время с вами союзниками. Мы очень дружили с русскими моряками. Хорошие парни — русские ваши матросы!.. И с тех пор я всегда рад видеть у нас в Америке людей из России. Но, к сожалению, я вижу их очень редко. И вот когда нам с мисс Холлинг сказали, что на палубе нашего парохода находятся писатели и журналисты из России, нам захотелось пожать вам руки. Это — в знак нашей хорошей дружбы, господа, с Россией!

— А еще нам с мистером Мартинас очень хотелось снять на фотография всех нас с вами, господа из России! —

неожиданно заговорила с нами по-русски Норма Холлинг.

— Мисс Холлинг знает русский язык?! Однако нам сегодня везет на американцев, говорящих по-русски. Это очень приятно.

— О, я знаю даже оди́н хороший маленький русский поэма, господа! — весело воскликнула Норма Холлинг.

— Даже целую русскую поэму?! Наизусть?! Это уж совсем восхитительно, мисс Холлинг!

— Конечно, наизусть, господа. Этот русский поэма я хорошо запомнила, когда училась в колледж.

— Может быть, вы прочтете ее нам, мисс Холлинг?

— О да, с удовольствий, господа! — сказала она, задорно сверкая бирюзовыми юными глазами. И тут же, не переводя дыхания, выпалила:

Чижик-пыжик, где ты был?  
На Фонтанка водку пьил.  
Выпил рюмка, выпил два,  
Закрутилась колова!

Все мы тут дружно наградили Норму Холлинг за бесподобное исполнение этой «маленькой русской поэмы» не только горячими аплодисментами, но и нашими отечественными сувенирами, привезенными нами из далекой родной Москвы,— изящными, красочными русскими безделушками.

Тут были все те же наши, приводившие американцев в восторг матрешки, расписные деревянные ложки, различные эмблемные значки.

А Марина Бугаева, сняв с себя красивую брошку, приколола ее к груди Нормы и этим щедрым даром совсем уже потрясла сияющую от восторга юную американку.

Наши фотографы Генрих Зиманс и Марина Бугаева, чередуясь, сняли всю нашу группу с капитаном Фрэнком Мартинасом и Нормой Холлинг на борту уже пришвартовавшегося к пирсу нью-йоркской гавани туристского судна.

Тепло распрощавшись с новыми нашими американскими друзьями этого дня, мы покинули порт в самом отличном расположении духа.

И капитан Фрэнк Мартинас, и юная Норма Холлинг, пленившая нас не только знанием русского языка, а еще вдобавок и «маленькой русской поэмой», — оба они, стоя рядом на палубе своего судна, долго приветливо махали нам вслед руками. А Норма Холлинг, конечно, посылала нам свои воздушные поцелуи.

Самый старший из нас по возрасту — Виктор Осипович Перцов — не преминул в шутку заметить при этом:

— Полагаю, что воздушные поцелуи прелестной Нормы относятся не ко всем нам, дорогие мои товарищи!

— А к кому же из нас, вы думаете, персонально? — с тревогой спросил пожилого профессора доктор литературоведения критик Владимир Владимирович Ермилов — коллега Перцова, почти равный ему по возрасту.

— Ну, разумеется, к самому молодому и самому красивому из мужчин нашей группы — Ираклию Чхиквишвили. Как вы думаете, друзья? — спросил нас Перцов.

И все мы, скрепя сердце, вынуждены были признать:

— Факт — Ираклию...

— Наверняка, ему...

— Определенно ему, понимаешь!

И это несколько развеселило до сих пор мрачно отмалчивающегося мистера Паркса. Заметно оживясь, он сказал:

— А что, господа, мистеру Чхиквишвили при его внешних данных прямая дорога в Голливуд у нас в Америке!

— Сколько дадите? — деловито, без намека на шутку, осведомился Ираклий.

— Наедине с вами мы могли бы договориться, сэр, — не поймешь, в шутку или всерьез, быстро ответил Паркс.

— Только учтите — я дорого запрошу! — строго, почти угрожающе сказал Ираклий.

— Понимаю вас, сэр. Но в Голливуде умеют ценить фотогеничные лица, — многозначительно произнес мистер Паркс, видимо, уже вовсе не в шутку надеясь в душе, что из такого разговора, если его повести в другой обстановке, умело и тонко, может, и выйдет толк.

— Ол райт, мистер Паркс. Мы еще с вами об этом поговорим на досуге, — пообещал ему Ираклий, когда мы рассаживались по автомобилям, возвращаясь с прогулки по Гудзону в отель.



## **ПОД КУПОЛОМ РАДИО-СИТИ**

Вечером после очень приятной памятной для всех нас пароходной прогулки по Гудзону и Ист-ривер мы попали, что называется, с корабля на бал — в мюзик-холл знаме-

нитого Радио-сити. Нам предстояло посмотреть «шоу» — характернейшее эстрадное зрелище, названное в громадной красочной афише «национальным американским представлением».

По пылкому утверждению многих не в меру наивных в своем тщеславии, приученных все мерять на свой аршин американцев, Радио-сити — это самый, конечно, большой, самый роскошный и самый, разумеется, знаменитый театр в мире.

Он расположен на Рокфеллер-плас. Скопище гигантских окрестных зданий из гранита, дюраля, стекла и стали безраздельно принадлежит здесь только одному человеку — губернатору штата Нью-Йорк миллиардеру Рокфеллеру.

Откуда в цепких руках этого некоронованного властителя Америки взялось такое неслыханное богатство, чуть не равное национальным доходам всей Канады? Ответ на этот вопрос можно найти, в частности, в книге известного американского публициста Харвея О'Коннора «Империя нефти». Рассказывая в этой книге о нефтяной промышленности Соединенных Штатов, Харвей О'Коннор посвящает основателю этой «империи» Джону Рокфеллеру следующие строки:

«Все соперники Джона Рокфеллера либо покупались им, либо он разорял их. Официальные лица и лица, связанные с законом, точно так же были или закуплены им, или разорены. Джон Рокфеллер был именно так жесток и безжалостен, как его рисуют самые непримиримые его враги, — конкуренты. В то же самое время он умел, однако, ценить содружество, и он не был одиноким волком, а вожаком хищной волчьей стаи. Как правило, Джон Рокфеллер предлагал обычно возможному сопернику свою цену, а если тот не принимал этой цены, требуя большего, Джон Рокфеллер безжалостно разорял его. Но были и такие соперники, купленные Рокфеллером, которые, войдя в подвластную ему «империю» на правах крупных держателей ее акций, стремительно богатели потом так, как они и мечтать бы не смели, если бы оставались владельцами бывших своих мелких компаний».

Таков облик короля нефтяной «империи» Америки Джона Рокфеллера.

В тысяча девятьсот девятом году он был самым богатым человеком Америки. Но в начале двадцатых годов первым богачом этой страны стал Генри Форд — автомобильный король. А к началу тридцатых годов Рокфеллер

вновь вышел на первое место, отбросив Форда на седьмое.

Теперь трудно сказать, кто богаче: династия ли Рокфеллеров — пятеро сыновей покойного магната во главе с Нельсоном Рокфеллером, губернатором Штата Нью-Йорк, или техасцы Хью Рой Каллян и Х. Л. Хант, потому что миллиардеры с миллионерами научились утаивать точные размеры своих баснословных доходов.

Наш опекун мистер Паркс с пафосом восклицал:

— Мы находимся, джентльмены, в центре истинного символа Америки XXI века!

Что говорить, зрелище и впрямь потрясающее. Скопище небоскребов, с их строгими линиями, сверкающих стеклом и сталью, не может не вызвать восхищения.

Рокфеллер-центр — это огромный город в гигантском городе, или, коли сказать точнее, небольшой Нью-Йорк в большом Нью-Йорке. В его шестнадцати феерических небоскребах размещается более тысячи деловых фирм, арендующих тут помещения. Этим фирмам — могучим концернам и кампаниям — принадлежат нефть и металлургия, уголь и каучук, военная промышленность, радио, телевидение, пресса.

В этих офисах Рокфеллер-центра работает около двухсот тысяч человек.

Американцы называют Рокфеллер-центр одним из пятидесяти восьми крупнейших городов Америки. И лишь одной особенностью отличается этот город от прочих его собратьев. Здесь люди только работают — не живут.

Под небоскребами, образующими строгую прямоугольную площадь, расположен такой же гигантский подземный город — город ресторанов, кафе и баров, гигантских гаражей, тоннелей, складов, мастерских и прочих служб.

В этих скалистых пиках Рокфеллер-центра, как и в гранитных башнях Уолл-стрита, никто не живет. Сооружаются все эти небоскребы вовсе не для ликвидации невероятно огромного жилищного кризиса в Нью-Йорке, как и во всей Америке, а сдаются они их владельцами под конторы. Это — выгоднее.

Между тем рядом с Рокфеллер-центром ютится немало старых, невзрачных, пришедших в ветхость домов, в которых живут люди. Нам говорили, что владельцы таких старых домов в Нью-Йорке перестали в последние годы ремонтировать их, выжидая подходящего случая, когда дома эти можно будет продать на слем или под площадку для нового небоскреба или стоянки автомобилей.

В обоих случаях владелец такого проданного на снос дома получит неизмеримо больше дохода, учитывая, что стоимость одного квадратного метра земли в центре этого исполинского города перевалила уже в наши дни за сорок тысяч долларов!

Понаслышке мы уже кое-что знали и прежде о Радиосити — грандиозном и феешенебельном нью-йоркском театре, храме техники и искусства.

Так, по крайней мере, величают его все красочные заокеанские проспекты и путеводители. Вот почему все мы весьма и весьма охотно, с непритворно живым интересом приняли приглашение администрации Радиосити посетить их знаменитый театр.

Нам хотелось увидеть не только само «уникальное», как твердили нам все время американцы, здание оригинального небоскреба, этого «самого громадного на земном шаре театра», посмотреть на неслыханную, как уверяли нас, роскошь его внутреннего убранства, но главное — увидеть своими глазами, что же представляет из себя то «национальное американское представление — шоу», о котором говорилось в красочной театральной афише.

Увидев этот небоскреб, мы были поражены, ошарашены монументальностью здания, масштабностью и крикливой парадностью лестничных его маршей и фойе — огромных, утопающих в роскоши залов стометровой высоты!

Здесь все норовило сразить, ошеломить вас неправдоподобной объемностью, броским великолепием убранства, расточительством и весомостью. Стодвадцатипятипудовые хрустальные люстры под потолками, покрытыми листами червонного золота, и пышные нейлоновые ковры на полу.

Громадные зеркала в обрамлении тяжелых парчовых портьер и нарядный зрительный зал с ярусами шести с половиной тысяч обитых бархатом кресел.

Нас пригласили в этот вместительный роскошный зал во время короткого перерыва программного представления, которое изо дня в день продолжается здесь с утра до полуночи. Сидя в широких удобных креслах, американские зрители вели себя в этом храме довольно непринужденно — как дома или в каком-нибудь кабаре.

Они дружно дымили дорогими гаванскими сигарами, пенковыми трубками и сигаретами, бросая погашенные с подошвы своих ботинок окурки на нейлоновые ковры под креслами. Многие расторопно работали челюстями, пережевывая тягучую и липкую резину.

В зале вибрировал глухой гул людской речи, напоми-  
навшей ропот волн шумящего в ночи океанского прилива.  
Мой сосед по креслу — седовласый, пышноусый америка-  
нец видел, должно быть, уже далеко не первые сны. При-  
смотревшись к громадному залу, я заметил, что в плену то-  
мительных сновидений был не только один мой сосед.  
И, вспомнив, что люди эти находятся здесь, возможно, с  
утра, я не очень удивился их как будто бы и не совсем  
уместной под золотой кровлей такого дворца апатии и сон-  
ливости...

А между тем всегда настороженно-бдительный и слово-  
охотливый наш мистер Паркс возбужденно говорил о не-  
обыкновенных достопримечательностях Радио-сити.

— Прошу обратить внимание на занавес, господа! В его  
складках ловко припрятана электропроводка. Все световое  
оформление театра контролируется автоматическими вы-  
ключателями—их здесь свыше четырех тысяч штук. А вооб-  
ще той электроэнергии, что расходует мюзик-холл, с из-  
бытком хватило бы для снабжения такого среднего город-  
ка у нас в Америке, как, скажем, Принстон.

— Техники тут много.

— А сцена — ахнете, господа! — не унимался пылкий  
наш проводник.— Во-первых, она колоссальна. На ней бы-  
ло где разгуляться великолепному ансамблю вашего Игоря  
Моисеева и русским волшебницам из «Березки»!..

— Большой был успех, говорят?

— О!.. Американцы походили с ума. В этом зале пы-  
лали тысячи зажигалок в знак салюта русским артистам.  
Моя мама плакала от восторга... Но я хотел бы закончить  
о сцене, господа. Несмотря на уникальные размеры этой  
крупнейшей в мире сценической площади, гидравлические  
подъемники шутя вращают, поднимают или же опускают  
ее на заданный уровень, как игрушку!..

— Все это отлично. Но нам бы хотелось ахнуть не толь-  
ко от техники, но и от искусства,— мечтательно проговорил  
один из наших спутников.

— Если вы не станете, господа, судить об американском  
искусстве предвзято,— сказал мистер Паркс.

— Предвзято! О настоящем искусстве? Помилуй, бог,  
мы объективны!

— Вы — русские. А в России судят предвзято об искус-  
стве Америки,— уже с заметным упорством настаивал на  
своем наш гид.

— Но не наша ли страна открыла превосходного пиа-

ниста Вана Клиберна — сына Америки?! — резонно заметили мы.

Мистер Паркс не нашелся сразу, чем возразить на это.

А тут как раз с величавой медлительностью разверзся перед нами гигантский вишневый занавес, царственно раскрывая не менее гигантскую, щедро залитую потоками ясного полуденного света сценическую площадку, на которой разместился уже среди частотокола попитров большой симфонический оркестр.

Слитный вибрирующий гул людской речи в зрительном зале заметно пошел на убыль.

И после магического рывка дирижерской палочки хлынули светлые волны патетически-страстных, трепетных, жизнеутверждающих звуков.

Не раз слушал я этот окрыляющий душу концерт для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова у себя на родине.

Но с особым душевным взлетом, с тревожно и радостно бьющимся сердцем вслушивался я в это глубоко национальное, наше, русское произведение великого сына России там, на чужбине, за тридевять земель от родной земли.

И, слушая этот страстный рахманиновский гимн жизни, я не мог в эти минулы не вспомнить о встрече с верным другом Сергея Рахманинова двоюродной сестрой его жены Софьей Александровной, встрече, которая произошла у нас накануне в отеле «Говернор Клинтон».

Меня познакомил с Софьей Александровной Валентин Петрович Гольцев. Он привез ей письмо от старейшей советской писательницы Мариэтты Сергеевны Шагинян из Москвы. Это было письмо от женщины, в далекой юности близко знавшей Сергея Рахманинова, преклонявшейся перед его именем со времен девической пылкости до стойкого душевного равновесия в старости, увенчанной теперь серебряной короной давным-давно поседевших волос...

— Как же сейчас относятся в Америке к музыке Рахманинова? — спросил я Софью Александровну.

— Лучше, чем при жизни Сергея Васильевича... Популярность его теперь велика не только в России, но и за океаном. Здесь много людей, умеющих понимать и ценить музыку. И в этом лучше всего убедитесь вы в Филадельфии — самом музыкальном городе Америки!

В концертных залах этого города нередко звучала в исполнении Сергея Васильевича знаменитая его «Элегия» — горькая и светлая песня о прожитой на чужбине жизни...

Уже смертельно больной и хорошо знавший, что дни его сочтены, приехал Сергей Рахманинов в последний раз в Филадельфию.

С этим городом — центром интеллектуальной и музыкальной жизни Америки — у композитора было связано немало близких сердцу воспоминаний.

Прибыв в Филадельфию, не желая попадаться на глаза всегда атаковавших его репортеров, Рахманинов решил пройти в отель «Вениамин Франклин» через бар, минуя холл, где пронырливые филадельфийские газетчики подкарауливали знаменитостей.

Войдя в бар, Рахманинов присел на минутку у стойки, спросив себе бокал легкого французского вина. Но, не успев пригубить вина, он заметил поодаль от себя фоторепортера, нацеливающего на него объектив своего аппарата. И тотчас же Сергей Васильевич мгновенно прикрыл свое лицо ладонью.

А наутро в одной из крупнейших филадельфийских газет появилась последняя в жизни композитора фотография — фотография характерной рахманиновской руки, прикрывшей узкое страдальческое лицо. Она была снабжена бесцеремонной, лаконичной и чисто по-американски циничной подписью: «Вот рука мистера Сергея Рахманинова, которая могла бы зарабатывать миллионы!»

...Оркестр был хорош. Исполнительская техника артистов нас восхитила. И все мы, к великому изумлению мистера Паркса, очень бурно и горячо — от всей порывистой русской души — долго рукоплескали отличным американским музыкантам, покорившим нас великолепным исполнением концерта.

И не успели мы прийти в себя от пережитого сложного чувства грусти и радости, близкого к восторгу, как вдруг вишневый занавес вновь разверзся, обнажая уже опустевшую сцену. И тут — для этого я уже иных слов не найду — началось черт знает что.

Дня за два до этого вечера мы познакомились на одном из приемов с Арнольдом Стангом — очень популярным комическим актером Америки. Этот тихий человек с грустными большими глазами и печальной улыбкой напоминал молодого Чарли Чаплина и произвел на нас весьма приятное впечатление. Он был скромн до застенчивости, и одаренность его была для нас очевидной даже по этим чисто внешним признакам незаурядного и нестандартного американца.

Мы с Валентином Петровичем Гольцевым и Мариной Бугаевой охотно снялись на память с Арнольдом Стангом. И теперь, когда в мюзик-холле Радио-сити было сказано нам, что мы сейчас увидим пьесу с участием Арнольда Станга, мы были искренне обрадованы новой нашей встрече со знаменитым американским актером.

Представление началось. На сцене появилась длинноногая белокурая девица, не пожелавшая припрятать от зрителей безгрешное свое тело, полуприкрытое прозрачной нейлоновой тканью.

Упав на кушетку, эта евоподобная мисс понесла какую-то околесицу в трубку белого телефонного аппарата.

Но тут на сцену пожаловал мужчина атлетического сложения, с лицом не проспавшегося после почных налетов и кутежей гангстера, с шикарным полотенцем через плечо, с засученными по локоть рукавами.

Мистер Паркс нам объяснил, что актриса исполняет роль голливудской кинозвезды, а ее партнер — массажиста.

Что касается вздора, который несла в телефонную трубку покорная свирепому массажисту мисс, то ее монолог, судя по вялому переводу мистера Паркса, состоял из таких плосковатых острот, которые пока не очень смешили американских зрителей, а нашего брата и совсем довели до уныния...

Впрочем, дело тут было, похоже, вовсе не в монологе стандартной голливудской красавицы, а в добросовестной работе свирепого массажиста, за расгоропными движениями рук которого жадно следили совсем не слушавшие болтовни актрисы некоторые американцы!

Но вот наконец появился на сцене и Арнольд Станг. Он был в роли робкого репортера провинциальной газеты.

И еще не произнеся ни одного слова, а лишь через скудные характерные жесты, Арнольд Станг показал пришибленность и кротость начинающего провинциального журналиста, впервые оказавшегося в апартаментах кинозвезды первой величины.

Сумасбродная кинозвезда, конечно, с первого взгляда влюбляется в репортера и сразу же заключает его, обалдевшего от неожиданности, в объятия.

Здесь пора бы, разумеется, и опуститься роскошному вишневому занавесу. Но до занавеса было еще не близко. Дальнейшее развитие действия столь же банально, сколь и малоприсойно. Скажу только коротко о финале. Он за-

вершился кулачным побоищем между внезапно ворвавшимся на сцену прежним кумиром кинозвезды — богатырем под стать массажисту и низкорослым, но ловким и вертким репортером, которого, однако, более проворный соперник выбрасывает с помощью массажиста в распахнутое окно. За этот подвиг храбрый верзила был награжден градом поцелуев истерически-визгливой красавицы, и они, к удовольствию зрителей, поладили миром под занавес!

Ничтожная, вздорная пьеска эта, содержание которой укладывается в простое русское присловье: жили-были два гуся — вот и сказка вся, — не стоила самобытного дарования такого большого артиста, как Арнольд Станг. И было обидно за него, вынужденного растрачивать незаурядный свой талант в подобном, бесконечно далеком от подлинного искусства спектакле, ничтожность которого особенно выделялась на фоне роскоши и масштабности грандиозного театра Радио-сити.

После такого безрадостного, раздражающего спектакля увидели мы на этой же чудо-сцене и тех сорок с лишним «герлс», которые необычайно пышно и ярко разрекламированы не только в Нью-Йорке, но и во всех прочих городах Америки. Поразили нас эти танцовщицы их стандартом, доведенным до грани циркового фокуса.

Все они выглядели как близнецы, и немисливо было, даже пристально присмотревшись к ним, отличить одну от другой. Белокурые, с одинаковыми прическами, одинаково сложенные, они при неправдоподобном портретном сходстве походили на заводных кукол с фаянсово-синими глазами и механическими застывшими улыбками.

Таково было первое впечатление от внешности прославленных «герлс». Когда же они, сомкнув оголенные руки, начали свой танец, то этим только усилили первое впечатление от их механичности.

Даже и мало сведущему в балете зрителю трудно было принять за танец автоматически-точные, размеренные движения этих хорошо натренированных режиссером прытких девушек, скорее похожих на цирковых акробатов, чем на тех восхитительных танцовщиц, о которых трубила на всю страну американская реклама. Все эти «герлс» очень синхронно с тактами музыки, ритмично раскачиваясь из стороны в сторону, ловко касались правыми ногами левых своих ушей и, наоборот, левыми — правых.

В этом автоматически-лихом выбросе ног было много математического расчета и навыка и очень мало грации,

ощущения невесомости подлинных, легких на взлет танцовщиц, душевных порывов их к красоте, к поэзии!

Все это, сдавалось нам, понимал даже и мистер Паркс. В смущении признался он:

— Конечно, это не балет вашего Большого театра, господа, от которого была в восхищении Америка. И, к сожалению, среди наших прелестных «герлс» нет пока Галины Улановой.

Спорить на этот раз не приходилось.

В акробатических упражнениях все эти стандартные американские красавицы были так же недостижимо далеки от вдохновенного мастерства Галины Улановой, как далека была от истинного творчества и искусства почти вся эта театрализованная программа.

После «герлс» на сцене снова появились музыканты. На этот раз уже джазовый оркестр.

Оркестр исполнил «Негритянскую рапсодию». В бурном звучании синкопических, порой очень четко-ритмичных звуков угадывались характерные мелодии скорбных, берущих за душу негритянских народных песен.

Когда же музыканты, исполнив свой номер, медленно опустились вместе со своим дирижером в разверзнувшуюся перед ними преисподнюю огромной сцены, мистер Паркс сказал:

— Приготовиться, господа, к гвоздю программы. Сейчас вы увидите шедевры мировой живописи!

— Что, подлинники?

— О, разумеется!

— Откуда же они попали в Радио-сити?

— Взяты напрокат из музея современного искусства в Нью-Йорке, из Института искусства в Миннеаполисе и из Национальной галереи в Вашингтоне. Так сказано в программе.

Сначала мы увидели панно «Мадонна с младенцем» и услышали негромкий голос радиокomentатора:

— Леди и джентльмены! Это произведение неизвестного византийского художника. Оно создано безымянным живописцем тысяча двести лет тому назад. Собственность Национальной галереи в Вашингтоне.

Затем были показаны полотна итальянской и голландской живописи. И в завершение всего этого необыкновенного вернисажа — абстрактное полотно Пикассо. Картина так и называлась — «Абстракция».

Демонстрация произведений византийской, французской,

голландской живописи сопровождалась музыкой незримо-го симфонического оркестра и фривольными танцами «герлс» — таитянок с экзотически красочными набедренниками на обнаженных телах.

«Абстракция» Пикассо сопровождалась диалогом двух молодых людей. Один из них, стремясь выяснить, что же в конце концов изображает эта картина французского художника, допытывался:

— Сэр, тут есть какое-то содержание?

— Говорить о содержании искусства — значит лаять не на те ворота! — следовал лаконичный ответ.

После всего этого мы спросили мистера Паркса:

— В программе сказано, что «шоу» в Радио-сити — национальное американское представление?

— О да. Разумеется!

— Но музыка здесь звучала главным образом русская и французская. Живопись была представлена тоже западноевропейскими мастерами. Что же в этом «шоу» национального, американского?

— А оформление сцены?! А световые эффекты?! А костюмы?! — заносчиво повысил голос мистер Паркс.

— Костюмы? Вы имеете в виду набедренные повязки таитянок?

— Что ж, это экзотика, господа!..

— Но мы говорим о содержании, а не о форме, мистер Паркс.

— Однако, форма-то в «шоу» все же чисто американская. Это вы признаете?

— Форма — да. Американская. Но национального искусства мы в этой программе, говоря откровенно, почти не заметили.

— У вас предубежденная точка зрения. Вы не хотите по достоинству оценить даже великолепной акустики этого несравненного зала, — сказал обидчивым тоном мистер Паркс.

— Неправда. Акустику мы оценили. Она превосходна. Но мы с вами говорим совершенно о разных вещах, мистер Паркс.

— У нас с вами разный язык, господа. Разные вкусы. А если уж вам угодно увидеть в этом «шоу» нечто чисто американское, национальное, то сейчас вы это увидите, — заявил нам гид, кивая в сторону сцены.

Мы насторожились.

Медленно начал меркнуть шафрановый рассеянный

свет. Полилась очень мелодичная, очень тихая, завораживающая музыка.

И тут мы увидели широкоэкранный цветной фильм «Погоня во мраке». То был действительно типичный американский боевик с междоусобной дракой каких-то ресторанных шалопаев-кутил, с гангстерским ограблением банка, с кровопролитием в будуарах неверной миллиардерши и с ужасными, отлично, впрочем, снятыми автомобильными катастрофами на превосходных американских дорогах.

Оглушенные взрывами, пальбой и воем сирен полицейских автомобилей прославлявшего гангстеризм кинофильма, мы охотно покинули в первом часу пополудни театральный небоскреб на Рокфеллер-плас — уникальный дворец или храм, где действительно много великолепной техники и неслыханной роскоши.

Но при всем этом так ничтожно мало было там главного — искусства и тем более искусства национального, американского!

На другой день мы побывали в синераме на Таймс-сквер.

Как и в театральном дворце Радио-сити, вестибюль синерамы устлан мягкими — тонет нога — нейлоновыми коврами темно-вишневого цвета. Стены тоже такой же темновато-красной скраски. Здесь, как во всех прочих увеселительно-зрелищных заведениях Америки: в кабаре, в ресторанах, в барах, в холлах отелей, — мягкий свет, мелодичная тихая музыка, полумрак, стол, очевидно, любимый американцами.

Шел приключенческо-видовой фильм «Под небом южных морей». И за полтора с небольшим часа мы успели побывать на многих экзотических островах Тихого океана, в Бразилии, в Новой Зеландии, в Австралии, на Гавайях.

Мы совершили это увлекательное путешествие, находясь на борту самолета или же на палубах кораблей, испытывая при этом полное ощущение полета и плавания по океану.

Перед нами раскрывались пейзажи один красочнее и ярче другого. Мы впервые в жизни познакомились воочию с народами, населяющими далекие южные острова и материка, с их нравами и обычаями, культурой и бытом.

Дух захватывало от необыкновенно яркого спортивного зрелища — состязания отважных гонщиков на водяных лыжах, с бешеной скоростью мчавшихся к берегу на пенистых гребнях волн рокочущего океанского прибоя!

Пленили хоровые напевы гавайских девушек. Нельзя было наглядеться на самобытные темпераментные народные пляски новозеландцев, на загорелых австралийских ребятишек, резвящихся под жемчужными брызгами прибоя.

Технически безупречно сделанный, превосходно снятый операторами фильм этот имел бесспорно большую познавательную ценность. Несколько раздражала только его сквозная сюжетная линия — сердечные терзания обворожительной красавицы из-за некоего не менее красивого джентльмена в форме морского офицера.

Но это чисто американская приправа — дань занимательности — к этнографически видовой картине отходила на задний план перед чудесными кадрами натуральных съемок природы, народных гуляний и празднеств жителей островов, затерянных в Атлантическом океане.



## **НАШ ГИД МИСТЕР ПАРКС**

Мистер Паркс нес свою довольно-таки хлопотливую и обременительную службу на таком высоком профессиональном уровне, что его хозяева были, надо полагать, вполне им довольны.

С изысканной предупредительностью и учтивой любезностью встретил он нас у распахнутых перед советскими туристами парадных дверей Америки — в нью-йоркском отеле «Говернор Клинтон».

И после первых же его слов нам тотчас стало ясно, что такой расторопный, тертый и настороженный проводник никогда, разумеется, не допустит, чтобы подопечные ему иностранные писатели и журналисты заглянули бы в сложную, противоречивую жизнь его страны.

Так оно и было до той поры, пока нам не посоветовали уметь иногда обходиться и без вездесущего нашего проводника.

Сделать это, находясь под надзором зоркоокого мистера Паркса, было не так уж легко и просто. Но все же нам удалось побывать урывками там, куда никогда не попали бы мы с госдепартаментским поводырем.

Сопровождая нас с утра до вечера в автомобильных разъездах и пеших прогулках по Нью-Йорку, мистер Паркс прожужжал нам все уши про высокий жизненный уровень всего, по категоричному его утверждению, американского народа.

Он любил нам рассказывать трогательные сказки про демократичных и сердолобивых миллионеров. Клятвенно заверял, что с неграми в Нью-Йорке американцы живут душа в душу, и ссылаясь при этом на тот факт, что известной негритянской певице Марион Андерсон дозволено петь на открытой площадке центрального парка Хагар-сквера, а не только в Гарлеме!...

Он пересказывал нам заученные побаски про внезапно разбогатевших рабочих, ставших владельцами акций нефтяной компании «Техас» или автомобильных заводов Форда в Детройте. И вообще много говорил про земной рай под безмятежным приатлантическим небом.

Наигранно оживленный и притворно словоохотливый гид рассказывал о достопримечательностях Манхэттана — деловой части Нью-Йорка, про Бруклин — жилой его центр с лихорадочно пульсирующими артериями недоступных для солнечных лучей улиц.

Гид говорил по служебной, казенной надобности, а мы без особого уже удивления поглядывали сквозь зеркальные стекла вместительных автомобилей «Американ экспресс» на примелькавшиеся гранитные башни банков, контор и офисов.

Не переставали только удивлять нас и нравиться нам — как не могли не удивлять и не нравиться огни Бродвея — небоскребы современной конструкции. Они покоряли воображение не только грандиозностью, но и наглядным примером высокой строительной техники, доведенной до грани подлинного искусства.

В строгом архитектурном облике этих оригинальных зданий воплощены были смелые творческие замыслы и расчеты одаренных американских зодчих, практически решенные при помощи золотых рабочих рук — главных творцов и созидателей всего богатства современной Америки!

День был уже на исходе, когда мы, вдосталь надышавшись угарным чадом бензиновых паров, накружась в автомобилях, как на карусели, по бурлящим бруклинским улицам, увидели Пятую авеню. Это самая знаменитая после Бродвея улица в Нью-Йорке. Улица фешенебельных магазинов и жилых кварталов диктаторов с Уолл-стрита, роскош-

ных квартир прославленных королей гангстеризма и звезд экрана.

Американцы называют Пятую звено скользкой дорогой сбывшихся упований и рухнувших надежд. Тому есть у них веские доказательства, ибо им-то уж досконально известна вся мрачная хроника нередких самоубийств среди чем-нибудь да знаменитых обитателей этой улицы.

Не держит в секрете нью-йоркская пресса и факты катастрофических падений с головокружительных вершин Пятой авеню в зловеще бездонную пропасть Бауэри — величайшее в мире труппобное дно, прочно прижившееся по соседству с небоскребами Манхаттана.

Мы знали, что эта сверкающая зеркальными витринами и огнями неоновых реклам улица длиною в тридцать шесть километров проходит недалеко от труппоб Бауэри. Взяв свое пышное начало с высот делового центра Нью-Йорка, она уходит по наклонной плоскости, неприметно спускаясь все ниже и ниже, к негритянским кварталам города, прижавшимся к берегу невзрачной реки Гарлем.

Зная об этом, мы, откровенно сказать, наивно думали, что любезный наш проводник, уважив давнишнее наше желание, доставит нас прямехонькой дорогой в район не очень жалюемых американцами темнокожих гарлемовских обитателей.

Но мистер Паркс, помалкивая про Гарлем, а тем более про Бауэри, восторженно говорил про достопримечательности Пятой авеню.

— Прошу обратить внимание, господа, вот на этот дом справа. Здесь жила знаменитая королева экрана Мэрилин Монро. Запомните, у нее в квартире четырнадцать ванных комнат!

— Только-то?!

— Клянусь честью. Четырнадцать ванных комнат. Об этом вся Америка знает.

— Глупо. Зачем четырнадцать ванных комнат?

— А зачем понадобилось одному человеку пройтись на руках от Филадельфии до Вашингтона? — живо спросил в ответ мистер Паркс.

— Если такой случай был, то это, пожалуй, еще глупее...

— Странно, вы, кажется, опять мне не верите? Но этого парня теперь знает вся Америка. Зовут его Боб Бромли. После такой междугородней прогулки вниз головой парень этот, как говорится по-русски, вышел в люди. Он стал чер-

товски популярен. И теперь ежедневно выступает по тринадцатой программе нью-йоркского телевидения.

— Он что — актер?

— Нет, просто популярная личность... Он рекламирует в куплетах под переложенную для джаза музыку Брамса или Шуберта виски «Кентукки», коктейль «Атомный гриб», мыло красоты «Шарлотта», зажигалки «Ронсон» или парижские духи «Шанель». Такой бизнес приносит Бобу по тысяче долларов от каждой фирмы в неделю. Ради этого стоило, черт возьми, парню прогуляться на ладонках кверху ногами из Филадельфии в Вашингтон!... А вы говорите: «Зачем ей четырнадцать ванных комнат?!» Реклама — вот зачем, господа! Если у нас в Америке перестать говорить про товар, то его никакой дурак покупать не станет. Что там и как говорить — это в конце концов даже не имеет значения. Лишь бы говорить и говорить. И лишь бы говорила популярная личность. Ясно вам, господа?

— Почти...

— Посмотрите на дом слева. В этом доме занимает двадцатикомнатную квартиру бывший король чикагских гангстеров мистер Кастело!

— Такому мистеру, на наш взгляд, более бы пристало занимать надежную одиночную камеру в Син-синге, — робко заметили мы нашему gidу.

— О, вы даже знаете, что у нас есть такая тюрьма?!

— Слышали...

— Впрочем, ничего удивительного. Син-синг — это же самая знаменитая тюрьма в Америке.

— И самая, конечно, большая в мире?

— Вполне возможно, господа. В Америке все — самое большое... Во всяком случае, из этой тюрьмы не удалось убежать еще ни одному преступнику.

— За исключением Кастело?

— Мистер Кастело вышел в свое время из нее по решению верховного судьи Соединенных Штатов. А уж какой ценой было добыто такое решение, за это я не ответчик...

— Чем же занят теперь этот бывший король?

— Он в годах. Ушел на покой. Застраховал свою жизнь на сто тысяч долларов. Нанял личную охрану из полицейских. И пишет мемуары...

— Мемуары или теоретический курс организованного гангстеризма в государстве — учебное пособие для подрастающего поколения громил? Говорят, что только в одном Нью-Йорке пятьсот шашек малолетних убийц!

— Не только говорят, но и пишут об этом черным по белому в ваших же справочниках-путеводителях.

— В Америке можно писать и печатать все что угодно, господа. У нас — свобода! — проговорил с вызовом гид.

И разговор наш начал обретать уже характер той привычной перепалки между нами и нашим переводчиком, при которой он мгновенно утрачивал душевное равновесие.

Вступая в дискуссии об американском образе жизни и нашей советской действительности, мистер Паркс часто, припираемый нами к стене, не в силах был уже скрывать под благопристойной маской внешней учтивости и лойяльности своей лютой злобы против всего советского, которая таилась на дне холодной и мрачной его души.

На этот раз мы не приняли боя. И мистер Паркс, зябко подергивая плечами, долго молчал. Он уже не обращал больше нашего внимания на достопримечательности самой фешенебельной в Нью-Йорке улицы. То ли оттого, что им овладело вдруг то, уже знакомое нам беспричинно мрачное настроение, в которое нередко впадал он внезапно. То ли по той простой причине, что ничего больше примечательного на этом жилом и торговом проспекте не было.

На углу Сорок третьей стрит мы, по предложению мистера Паркса, вышли из автомобилей для того, чтобы посмотреть на необычайное архитектурное сооружение — стеклянное здание нового банка.

Примкнув к толпе зевак, мы увидели это прозрачное золотистое здание, сквозь стеклянные стены которого с улицы было видно все, что делается внутри. Банковские служащие, не обращая никакого внимания на толпившихся зевак, углублены были в привычные свои операции. Перед каждым из них на рабочих столах красовались живые цветы в вазах. Стены банковских оффисов были украшены произведениями абстрактной живописи.

Поглядев на это оригинальное творение современной американской архитектуры, мы на этот раз согласились с мистером Парксом, что перед нами был рекламный шедевр капитализма.

На углу Сорок второй стрит и Пятой авеню бросилось в глаза закопченное, как бы приплюснутое к земле соседними небоскребами старое гранитное здание с колоннами и пилястрами классического архитектурного стиля.

На ступенях широкой парадной лестницы этого приземистого инородного среди окружающих его железобетон-

ных башен здания сидели молодые люди, углубленные в чтение книг.

То была Нью-Йоркская публичная библиотека. А молодые люди с книгами в руках, примостившиеся на ступенях парадного ее входа, были, по словам нашего гида, учащиеся колледжей и студентами Колумбийского университета.

Затем наши машины остановились возле великолепного особняка — картинной галереи «Фрик-коллекшн».

— Этот особняк принадлежал королю стали Фрику, — говорил нам наш гид. — Мистер Фрик был замечательным меценатом, большим знатоком и ценителем классической живописи. Он всю жизнь коллекционировал картины. А потом оставил свою картинную галерею в дар городу.

Коллекция — не из бедных. Рембрандт. Рубенс. Ван-Гог. Гоген. Ван-Дейк. Гойя. Ренуар. Ватто.

— Все это великолепно. Но отчего здесь не видно ни одного полотна американских художников? — спрашиваем мы нашего гида.

Пожимает плечами:

— Это дело вкуса покойного мистера Фрика.

— В вашей прекрасной галерее кроме нас не видно других посетителей. Это что — случайность? — поинтересовались мы у почтенновозрастного, седого как лунь служителя «Фрик-коллекшн».

— Американцы — поклонники всего модного. А модной считается в наше время другая нью-йоркская картинная галерея, где собраны творения абстракционистов.

— Но разве в Америке не было и нет иных художников, кроме абстракционистов? — допытывались мы.

— Есть, конечно, другие художники — реалисты. Стюарт. Гомер. Белоус Марина. Работы этих больших художников Америки вы, господа, можете увидеть в Национальной галерее Вашингтона, если будете там и захотите посетить ее.

— Будем в Вашингтоне. И непременно посетим, — пообещали мы на прощанье любезному хранителю картин.

По дороге к Эмпайр стейт билдингу проехали мимо «Колизея» — громадного здания, половина которого была без окон. Здесь проходила с огромным успехом наша советская выставка. Видели по соседству с «Колизеем» и памятник Христофору Колумбу.

Памятник Колумбу натолкнул нас на разговор с Парксом о том, кто же открыл Америку? Сперва наш насто-

женный гид воспринял этот неожиданный для него вопрос за шутку.

Но потом, когда мы сказали ему о том, что современная историческая наука располагает довольно вескими доказательствами того, что Колумб, отправляясь в первое свое плавание по Атлантическому океану, знал уже о существовании Нового Света и располагал картами, составленными иными путешественниками, побывавшими там до него еще в восьмидесятих годах пятнадцатого века, тут мистер Паркс побледнел, угрожающе проговорил:

— Господа, вы в свободной стране. И я решительно прошу вас прекратить эту советскую пропаганду!

— В пользу этого доказательства говорит многое. Например, старая испанская хроника. Письмо к Колумбу испанского короля и королевы — Фердинанда и Изабеллы. Надеюсь, эти исторические документы нельзя отнести к советской пропаганде? — возразили мы гиду.

— Но вы успокойтесь, мистер Паркс. Как бы там ни было, но все это, однако, не умаляет исторического значения плавания Колумба к берегам Нового Света, — примирительно сказал Николай Александрович Абалкин.

И мы прекратили этот случайно возникший, навешанный бронзовой фигурой великого мореплавателя разговор.

Кстати, тут мы завернули, согласно нашей программе этого дня, еще в один музей — музей естественной истории. Здесь уже не было так безлюдно, как во «Фрик-коллекшн». Посетителей много. Большинство — учащиеся колледжей, школьники со своими учителями.

Музей нам понравился. В стенах огромного зала — ниши с панорамами зон земного шара. В них на фоне рельефных ландшафтов всякие звери. Чучела в натуральную величину. Тут даже можно услышать трубный голос слонов, грозное рычание львов, тигров и леопардов.

Все посетители ходят по залу с гидрофонами, надетыми на уши. Они слушают голос диктора, рассказывающего о жизни зверей и птиц, о нравах их и повадках.

Из множества прочих весьма интересных экспонатов этого музея запомнились сани Амундсена, на которых совершил он одновременно с Пири один из своих арктических походов.

На пятой авеню, заметив против одного из внушительных домов памятник — бронзового всадника на коне, мы спросили гида:

— Скажите, пожалуйста, чей это монумент?

— Прошу извинить мне мою рассеянность, господа. Это — памятник Франклину Рузвельту. За памятником на заднем плане дом бывшего президента.

Заглядевшись на бронзовый монумент покойного президента Соединенных Штатов, уважительную память о котором хранит наш советский народ со времен Великой Отечественной войны; мы толком как-то даже и не сразу заметили, когда повернули с Пятой авеню на поперечную стрит, чадную от бензинного перегара, запруженную автомобилями улицу, которая вскоре вывела нас к замечательному инженерному сооружению Нью-Йорка — Бруклинскому мосту через Гудзон.

И тут вдруг выяснилось, что Гарлем, который мы надеялись увидеть, был уже позади. Мы проехали мимо негритянских кварталов почти впритирку, пребывая в полном о том неведении. А мистер Паркс глубокомысленно отмолчался, ни словом не обмолвившись про эти малоприглядные задворки, милостиво отведенные американцами чернокожим их обитателям.

Гид не сделал этого, как видно, по той же странной его «рассеянности», которая помешала ему предупредительно обратить наше внимание и на памятник Франклину Рузвельту...

Программа нашего знакомства с Нью-Йорком завершилась на этот раз посещением Эмпайр стейт билдинга — самого громадного в мире ставдвухэтажного здания.

Почти молниеносно, с двумя, правда, пересадками, взмыли мы в огромных кабинах скоростных лифтов на зыбкую вершину этого упершегося в облака небоскреба, вмиг очутившись возле круглого гранитного парапета просторной «площадки осмотра», венчающей это необычайное здание.

Я видел Нью-Йорк с борта американского самолета днем, когда мы подлетали к нему из Канады. Видел я с воздуха незабываемо-впечатляющий, бескрайний, кипящий и мерцающий золотыми брызгами и ночной Нью-Йорк, когда возвращались мы позднее из Чикаго. И в том и в другом случаях — зрелище, близкое к неправдоподобному сновидению!

Но вечерний Нью-Йорк, увиденный мною с вершин Эмпайр стейт билдинга, поразил не только ярко зримой отсюда грандиозностью небоскребов Манхэттана, но и своеобразной их красотой, чего нельзя было ощутить, глядя на них снизу, с земли, или даже со стороны Гудзонова залива.

Там они подавляли угрюмой масштабностью, тяжеловесным, безрадостным однообразием их архитектурного облика, когда ты, задрав голову, пытаешься разглядеть их подоблачные вершины, находясь вблизи этих зданий.

Их можно было принять за хаотическое нагромождение гигантских элеваторных башен и отвесных скал, когда глядишь на них издали — с Бруклинского, например, моста. Здесь же, с пика царствующего над ними Эмпайра, меньшие собратья его выглядели совсем по-иному.

Сверкая зеркальными окнами, они владычествовали над всей панорамой громадного, глухо грохотавшего города. И это было очень красиво!

Облокотясь на бруствер гранитного парапета, я, как заколдованный, долго смотрел в подернутую дымкой бездну.

Там, на дне бесконечно глубоких нью-йоркских стрит и авеню, текли и текли бурлящие потоки автомобилей, роились по тротуарам людские муравейники и трепетали, мерцали, брызгали, били каскадами, а то и бушевали, подобно кострам на шквальном ветру, неоновые и электрические огни реклам.

И в этих огнях, трепещущих, как стаи пылающих птиц, над лихорадочно пульсирующими улицами вечернего Нью-Йорка, было тоже немало своеобразной красоты.

Между тем мистер Паркс без умолку говорил:

— В Эмпайре шесть с половиной тысяч окон. Их моют дважды в месяц. При сильных ветрах вершина небоскреба начинает качаться так, что это можно заметить по колебаниям воды в стаканах на столиках. Стоимость билета для подъема на вышку — один доллар тридцать центов. Ежедневное количество посетителей — пятьдесят тысяч. В небоскребе размещено свыше ста различных оффисов и контор. Вращающийся прожектор над вершиной этого короля небоскребов виден по ночам за триста с лишним миль. А шпиль вышки работает теперь как антенна для семи нью-йоркских телевизионных станций. Что же еще? Ах, да, служащие вышки осмотра Эмпайра говорят на семи языках.

— А на русском?

— О, разумеется, и на русском. Кстати, позвольте представить — мисс Эвелин. В совершенстве владеет русским, — сказал Паркс, знакомя нас с высокой голубоглазой девушкой.

— Да, я к вашим услугам, господа. Вы из России?

— Из Советской России, мисс Эвелин.

— О, прекрасно... У вас прелестная прическа, мадам.

В России все женщины носят такие короткие волосы? — спросила Эвелин у нашей Марины Бугаевой.

— Нет, далеко не все — как кому нравится... Многие наши девушки носят и пышные косы.

— Косы? Так старомодно?.. У вас оригинальная сумочка, мадам. Такие вещи тоже делают в России? О! Фотоаппарат у вас русский? Ах, это тот самый «Киев»? Я слышала, что у вас делают очень хорошие фотоаппараты.

— Очень хорошие. Лучше американских. И фотоаппараты и бинокли. Вообще, оптика у нас превосходная, мисс Эвелин. Недаром ваши американцы, бывая у нас в Москве, так жадно набрасываются на такие вещи. Перед отъездом в Америку я видела в одном оптическом магазине Москвы американца, купившего больше двух десятков советских биноклей,— сказала Марина Бугаева.

— Вполне возможно, мадам. Кроме всего прочего у нас в Америке такие вещи очень дороги,— призналась Эвелин, завистливо поглядывая на фотоаппарат Марины.

— Да, совсем забыть сообщить вам одну интересную деталь, господа, связанную с Эмпайром,— сказал спохватившись мистер Паркс.— Лет двадцать тому назад в вершину этого небоскреба врезался четырехмоторный пассажирский самолет. При этой катастрофе погиб весь экипаж и двадцать пять пассажиров. Сорвался один из лифтов Эмпайра. Но находившаяся в кабине этого лифта очаровательная лифтерша Бетти осталась живой. Хотя и была серьезно ранена. Однако ее скоро вылечили. И долгое еще время Бетти оставалась одной из самых популярных девушек Америки. Наравне с кинозвездами!

Слушая болтовню мистера Паркса и бойкий русский говор мисс Эвелин, мы то простым глазом, то прильнув к трубам оптических аппаратов, в изобилии установленных на крыше Эмпайра, озирали огромный, лежавший в глубокой пропасти город, рассеченный узкими бирюзовыми лентами рек — Ист-ривер и Гудзона. И трудно было оторвать глаз от бесконечных, мерцающих голубых далей океана.

Приметив, что я заново какие-то беглые наблюдения в мою записную книжку, мистер Паркс, пристроившись рядом со мной у парапета, спросил, улыбаясь:

— Все пишете, мистер Шухов?

— Все пишу, мистер Паркс...

— И все, небось, про язвы капитализма?

— Пишу и про язвы...

— Я знаю, что, вернувшись в Россию, вы о нас ничего хорошего не напишете.

— О ком о вас?

— Об американцах.

— А вы — американец?

— По паспорту — да...

— Я видел американцев, о которых хочется написать хорошо.

— Это — про негров и безработных?

— Представьте себе, даже и о некоторых ваших миллионах!

— О!... Вы шутите?

— Нисколько. Пример тому — мистер Доунинг, на приеме у которого вы вчера изволили быть вместе с нами. Мистер Доунинг — один из тех, как вы видели, прогрессивно настроенных деловых людей Америки. Он стремится к экономическому и культурному сближению двух наших великих стран. И не только стремится. Но и многое делает, создавая, например, организацию Общества американо-советской дружбы в Нью-Йорке. А вспомните, как уважительно говорил он о науке, о культуре нашей страны! Нам было приятно слушать все это из уст мистера Доунинга — очень влиятельного, как вы сами заметили, человека в Америке. Отчего же мне не вспомнить такого миллионера при случае добрым словом на родине?! А потом, я надеюсь, что увижу еще немало хороших, честных людей в Америке!

— Ол райт!.. А теперь скажите, между нами, вполне откровенно, вам нравится все это отсюда — с Эмпайра? — заговорщически спросил меня переводчик, кивая вниз, на бурлящую и сверкающую огненной россыпью бездну распростершегося у подножья небоскреба вечернего Нью-Йорка.

— Очень. Это красиво.

— Да, но это вы признаете только со мной, в Америке. Но писать, что это действительно красивое зрелище, вы, вернувшись в Россию, не станете.

— Непременно напишу.

— Вы бы, может, и написали. Только этого у вас там никто не напечатает.

— Откуда, черт знает, вы все это только берете?!

— Мне все известно. У вас в России запрещено писать что-либо хорошее про Америку.

— Вздор вы городите, сударь.

Но мистер Паркс закусил удила и, как иная строптивая

пристяжная, понес со злобным упорством в сторону, норовя при этом сбить с дороги и стойкого коренника.

Достаточно хорошо уже изучив сварливый норов и злопыхательское нутро вышколенного гида, мы в таких случаях переходили в дружную против него контратаку, в результате которой он мгновенно умолкал, или же прерывали клеветнические его речения какими-нибудь простыми, но малоожиданными для него в такую минуту расспросами.

Так в данном случае поступил и я, бесцеремонно прервав распутившего язык гида на полуслове.

— Погодите. Один вопрос,— остановил я его.— Вы бы лучше вот объяснили мне, что это за странная решетка сооружена над крышей Эмпайра, похожая на громадную тигриную клетку?

— Предупредительная мера против самоубийц,— сухо ответил он, мельком взглянув на пикообразные железные прутья.

— То есть? — не понял я.

— До недавнего прошлого эта крыша Эмпайра была излюбленным местом для самоубийц. Без этой решетки они бросались за борт парашюта вниз головой, падая в гранитную бездну... А теперь, как видите, это уже почти невозможно. Из такой клетки не сразу вырвешься!

— Ол' райт... Но как же теперь обходятся без Эмпайра самоубийцы? — спросил я почти бесхитростно.

— О, для этого у них есть еще более удобное место. Я говорю про Ниагарский водопад. Когда будем с вами на Ниагаре, вы сможете легко вообразить, что ждет человека, сброшенного бешеным водопадом с отвесной скалы в чертову пропасть кипящей пучины!..

Заметив, как мистер Паркс зябко запередергивал при этих словах плечами, я уже не стал допытываться у него о том, что доводило в недавнем прошлом некоторых американских граждан до трагических бросков в гранитную бездну вниз головой с вершины этого небоскреба, которым так гордится Америка, и что приводит иных из них теперь, в наше время, к роковым полетам в небытие под грозную отходную музыку Ниагарского водопада!

А поздней ночью, завершившей этот очередной, предельно насыщенный сложными впечатлениями день, проведенный нами в скитаниях по Нью-Йорку, получил я не один наглядный, правдиво-горький ответ на те вопросы, которых преднамеренно не задал на вершине башни мистеру Парк-

су. Было очевидно, что он все равно не сказал бы ни слова правды.

Правду же эту увидели мы под покровом глубокой ночи уже без участия прозевавшего нас гида. Нам рассказали ее обитатели трущобных кварталов угрюмого Бауэри и ночные пассажиры метро — этой грязной, смрадной трубы нью-йоркской подземки — колыбели бездомных людей.

Неприглядную жестокую наготу этой правды разглядели мы даже сквозь золотую мишуру рекламных огней Бродвея на залитой свеговыми волнами площади Таймс-сквера — красоты и гордости Нью-Йорка.

Вечером, собравшись в номере Валентина Петровича Гольцева, мы занялись изучением книжицы некоего Г. Коппа «Проводник по Нью-Йорку». Вместе с библией на английском языке, изданной в Нью-Йорке, сочинение мистера Коппа имелось, видимо, во всех номерах отеля «Говернор Клинтон».

По крайней мере в наших номерах копповские «Проводники» хранились в ящиках письменных столов рядом со стопками изящных конвертов и почтовой бумаги с грифом нашего отеля.

В вводной статье, которой открывается «Проводник», мистер Копп сообщает любезным читателям-путешественникам, прибывшим в Америку из-за океана, что Нью-Йорк не только самый огромный город в мире, но и самый приветливый. Здесь же автор сравнивает этот город с Ноевым ковчегом, потому что тут живут все на свете национальности, и добавляет, что Нью-Йорк — это еще не настоящая Америка.

Где же настоящая, об этом почему-то автор ничего не говорит. И что такое настоящая Америка, этого мы тоже из вводной статьи мистера Коппа так и не узнали...

— В нашем городе вы можете располагаться и чувствовать себя как дома, — говорит мистер Копп. — Здесь вы можете упражняться в фигурном катании на коньках летом и плавать в роскошных бассейнах зимой. В Центре развлечений на Бродвее и в театре национальных представлений — Радио-сити на Рокфеллер-плас вы можете круглые сутки получать удовольствия, равные миллиону долларов!

Ознакомившись с патетическим вступлением сочинения мистера Коппа, мы пришли к единодушному выводу, что все тринадцатимиллионное население Нью-Йорка, наверное, только и занято тем, что развлекается.

Упившись сладостным гимном мистера Коппа — одой в прозе в честь самого большого и самого праздного города на земном шаре, мы дошли наконец до самого главного в этом сочинении — до практических советов автора о том, как надо вести себя иностранцам в Нью-Йорке.

И тут дальнейшее наше ознакомление с книгой обрело характер следующего диалога с ее автором.

— По прибытии в Нью-Йорк первым долгом сходите в церковь! — начинает свои практические наставления мистер Копп.

— Ну, это мы пропустили мимо ушей. Что дальше?

— Если при вас имеется солидная сумма денег, то вы никогда, никому и нигде ни в коем случае их не показывайте! — категорично настаивает мистер Копп.

Мы кротко вздохнули. Солидных сумм при нас не было. Однако сказали:

— Спасибо, сэр, и за такое предупреждение.

— Не носите своих кошельков в задних карманах брюк!

— Ага. Ясно. Переложим свои кошельки в более надежное место...

— Не ходите в Центральный парк — Хагар-сквер даже днем в одиночку. Там вас могут ограбить!

— Не пойдем, сэр. Об этом мы еще в Москве знали!

— Не садитесь в автомобили незнакомых людей, если они вдруг вам предложат свою машину. Знайте, у этих людей недобрые намерения!

— Намотаем на ус и это дело...

— Избегайте знакомства с женщинами на улице и тем более не ходите с ними в первый попавшийся ресторан!

— Тоже все ясно, сэр.

— Если вздумаете выпить в баре виски или коктейль, то не затевайте ссоры с соседом по буфетной стойке!

— Лучше мы совсем не пойдем в бар, сэр.

— Остерегайтесь слушать уличных проповедников. Там дело чаще всего кончается дракой!

— Ол райт, сэр.

— Никогда не задерживайтесь на улицах возле трупов — жертв движения или разбоя. Подоспевшая полиция может привлечь вас в свидетели!

— Черт знает что, сэр!

— Не верьте прохожему, если он охотно согласится проводить вас до вашего отеля, если вы вдруг заблудились в нашем городе!

— Вот это здорово! А как же в таком случае быть? Обратиться за помощью к полисмену?

— Уклоняйтесь от встреч с полисменами. Может случайно вспыхнуть крутой разговор. А за оскорбление полицейского, по законам нашей страны, — тюрьма. За нанесение ему увечий — электрический стул!

Итак, в своих наставлениях иностранцам, прибывшим в Нью-Йорк, мистер Копп с категоричной краткостью говорит:

— Не верьте никому!

Тут бы, собственно, можно было и закрыть сочинения мистера Коппа. Но заботливый наш попечитель преподнес в конце своего печатного труда, так сказать, под занавес, еще и такой сюрприз.

«Иностранец, внимание! — зывал мистер Копп на последней странице своего опуса. — Гражданская оборона в настоящее время является делом всех. Корпус гражданской обороны Нью-Йорка организован теперь таким образом, чтобы с одинаковой тщательностью заботиться как о местных жителях, так и об иностранцах. Прибыв в отель, тотчас же поспешите узнать у слуг или портье, где находится бомбоубежище вашего отеля и постарайтесь хорошенько запомнить точное его расположение. На улицах Нью-Йорка прежде всего обращайтесь внимание на то, где, в каких общественных зданиях нашего города находятся общедоступные бомбоубежища, и в случае тревоги идите, идите, но не бегите — запомните это — в ближайшее бомбоубежище. И да поможет вам бог!»

Не успели мы еще как следует толком осмыслить это последнее наставление мистера Коппа, как вдруг в номере неожиданно погас свет. Приняв это явление за простую случайность, мы продолжали, спокойно посиживая в темноте, комментировать между собой только что прочитанный нами «Проводник по Нью-Йорку».

Спустя что-то около четверти часа к нам постучали. В дверях показалась молодая, явно встревоженная чем-то негритянка — служанка отеля. В бархатисто-черных руках ее мерцали свечи, и слабые, неверные отблески этих огней отражались в больших ее, широко раскрытых, темных, как осенняя ночь, глазах.

— Джентльмены знают, как попасть в наше бомбоубежище? — ставя один из подсвечников на письменный стол в номере, торопливо спросила служанка.

— В Нью-Йорке, видимо, объявлена очередная учебная воздушная тревога, мисс?

— Нет, сэр. Тревоги пока еще не было. Но ее можно ждать в любую минуту. В Нью-Йорке произошло нечто невероятное. Погас свет.

— Как? Во всем Нью-Йорке?

— Да, сэр. Замолчало радио. Не работают телевизоры. Остановилась подземка. Говорят, на улицах началась уже паника... О, как это все ужасно, джентльмены! Вполне возможно, что это уже началось! Возможно, они где-то совсем близко...

— Кто они, мисс?

— Ракеты, сэр.

— Какие ракеты?

— Русские, сэр.

— Не говорите глупостей, мисс.

— Извините, сэр.

— Все, что угодно, только не ракеты. И тем более не русские, сударыня!

— Возможно, сэр... Но Нью-Йорк во мгле. Бездействуют даже лифты.

— Бездействуют лифты? А как же в таком случае мы бы стали спускаться в бомбоубежище?

— В нашем отделе есть запасные лестницы, сэр.

— По лестницам? Это с тридцать девятого-то этажа?!

— Что ж делать, сэр? Но извините, я так спешу. Мне надо подать свечи еще в другие многие номера, — скороговоркой пробормотала, скрываясь за дверью, охваченная паническим страхом служанка.

Прислушиваясь к почти непрерывному реву сирен полицейских автомобилей в погрузившемся во мглу, тревожно и глухо бурлящем, рокочущем городе, мы долго прикидывали, что же в конце концов могло произойти в эту августовскую ночь.

Ясность внесли утренние выпуски нью-йоркских газет.

В них было опубликовано официальное сообщение электрической компании «Консолидейтед Эдисон», в котором говорилось о том, что всю минувшую ночь Манхаттан с его полумиллионным населением был лишен электроэнергии. Произошло это от внезапного перегорания шести кабелей высокого напряжения. Опасаясь чрезмерной перегрузки остальных четырнадцати кабелей, питающих этот центральный район Нью-Йорка электрическим током, компания вынуждена была отключить и их.

В результате этого обитатели Манхэттана были лишены не только света, но и воды, не говоря уже о радио и телевидении.

Все газеты были заполнены подробными репортажами о происшествии, вызвавшем среди отравленных военным психозом нью-йоркцев неслыханный переполох, граничащий с паникой, и принесшем за одну ночь громадный ущерб многим торговым фирмам. Так, фирма «Ритэйл фрутс Ассошиэйшн», торгующая фруктами и овощами, понесла за это время в ста пятидесяти своих магазинах Нью-Йорка прямого убытка от порчи товаров на двести пятьдесят тысяч долларов.

Некоторые банки Манхэттана, сообщали газеты, не могли закрыть своих сейфов, замковые механизмы которых приходили в действие только при электрическом токе. Поэтому вся полиция вместе с армией тайных детективов и вооруженных мотоциклистов была поставлена в эту ночь на ноги. И операциями по усиленной охране банков с незакрытыми сейфами руководил лично сам шеф полицейских сил Нью-Йорка Кеннеди.

«К великому моему удивлению,— заявил наутро репортерам газет шеф нью-йоркской полиции,— преступность в эту ужасную ночь не была выше обычной. Видимо, гангстерские волки прозевали момент и не успели подготовиться к налетам на раскрытые сейфы. Другие не решились принять на этот раз открытый бой с численно превосходящей их шайки полицией».

Корреспондент «Нью-Йорк таймс» писал в утреннем выпуске этой газеты о панике, охватившей многих жителей центрального Нью-Йорка, заполнивших в эту ночь бомбоубежища, и ставил в прямую связь с этим рекордное число самоубийств, свершившихся за минувшие сутки в Нью-Йорке. Двумя же днями позднее другая газета существенно дополнила сообщение корреспондента «Нью-Йорк таймс», заметив, что во время «блэкаута» — так называла американская пресса происшествие с затемнением центрального Нью-Йорка — достигло рекордной цифры не только количество самоубийств в районе Манхэттана, но рекордным было и количество душевнобольных, зарегистрированных наутро психо-невралгическими клиниками и лечебницами.

Нет, теперь мы лучше понимали состояние бедной негритянской служанки из отеля «Говернор Клинтон», принявшей аварию за роковой час до того самого внезапного атом-

ного нападения, о котором много лет жужжат здешние газеты.

В газетах мы прочли и о таком случае, когда слепые люди пришли на помощь зрячим. А дело это, по словам газеты, обстояло так.

Во время аварии панический страх охватил и более двухсот служащих «Дома еврейских слепых» на углу Бродвея и Шестьдесят пятой стрит. Паника среди зрячих служащих усилилась еще и потому, что в доме этом не было окон, а освещался он электрическим светом. К тому же внутреннее расположение его многочисленных комнат представляет, в сущности, целый лабиринт с его бесконечными коридорными поворотами, закоулками, неожиданными спусками и подъемами. Словом, зрячие служащие этого дома могли свободно ориентироваться в нем только при свете.

А тут вдруг — глаз выколи — тьма. И люди оказались беспомощны, потеряв какую бы то ни было ориентировку.

В эту-то трагическую, как пишет нью-йоркский репортер, минуту и пришли на помощь зрячим их слепые подопечные — поводыри. Властно взяв их за руки, как перепуганных насмерть детей, они без всяких затруднений вывели всех двести человек на улицу.

Таковы гримасы военного психоза и истерии, невольными свидетелями которых оказались мы однажды в памятную августовскую ночь в Нью-Йорке!



## **БЕЛЫЕ ОГНИ**

До поездки в Америку Бродвей представлялся мне самой грандиозной, самой яркой и красочной улицей в Нью-Йорке.

Бродвей действительно громаден.

Пролегая как бы по меридиану через сорок вторую параллель, на котором полтора-два столетия тому назад властно утвердился заросший теперь гранитными джунглями нынешний Нью-Йорк, эта его бурно пульсирующая главная городская артерия пересекает около двухсот улиц Манхэттана — сердцевины огромного города. Однако далеко не везде на всем своем тридцативерстном протяжении так оди-

наково многолюден, ослепительно ярок и празднично красен этот торгово-рекламный проспект, как в районе площади Таймс-сквер, на сравнительно небольшом отрезке — между, примерно, Сороковой и Шестидесятой авеню.

Вне пределов этого нарядного отрезка Бродвей ничем не отличается от большинства прочих, скупо освещенных и малоприятных улиц Нью-Йорка. Но зато в районе Таймс-сквера творится круглые сутки такое, что с непривычки ослепляет, ошарашивает до головокружения.

Я, конечно, немало читывал ранее про Бродвей и знавал о нем от людей понаслышке. Но то, что впервые увиделось в жаркую августовскую ночь на площади Таймс-сквера, бесконечно далеко от прежних моих умозрительных представлений об этой точно залитой звездным ливнем, неповторимо своеобразной и, видимо, все-таки единственной в мире улице. И если уж говорить о первом своем впечатлении, как наиболее верном и непосредственном, то впечатление это было связано с возникшим в те минуты мимолетным воспоминанием об огненном урагане.

Мне было около девяти лет, когда, настигнутый однажды ночной июльской грозой в открытой степи, увидел я вдруг разверзшуюся над головой, пронзенную ослепительным светом небесную бездну. Расколотое на косые хрупкие глыбы, рассеченное вкривь и вкось молниями небо бушевало, плавилось и кипело в багряном смерчеподобном вихре. Оторопев от такого пленительно-жуткого зрелища, не страшась в те минуты чудовищной, содрогавшей землю грозы, глядел я во все глаза на искрометные, сверкавшие над моей головой мечи, на раскаленные добела копья и стрелы, скрестившиеся в этой яростной огненной перепалке...

На Бродвее все пылает и трепещет. Кипит и бушует. Крутится и кувыркается. Искрится. Брызжет. Плавится. Переливается.

И бурно пульсирующие струи непрерывных конвульсивных огней текут и текут, играя всеми цветами радуги.

Они текут вдоль гранитных фронтонов фирменных торговых контор, венчая вершины новейших небоскребов «Леввер бразерс» и «Сиграм виски». Цветные звенья и ожерелья, гирлянды и веера этих огней озаряют своим завораживающим светом парадные входы, фасады, карнизы и крыши дорогих отелей, кабаре, фешенебельных ресторанов и мюзик-холлов, кинотеатров и универсальных магазинов.

Таковы похожие на феерический проливной звездный ливень огни знаменитой бродвейской рекламы. Они не толь-

ко жарко пылают. Они звенят и поют. Трубят в золотые рога. Бьют в набат.

Они прославляют королей мыловаренных фирм и нейлоновые подвязки.

Они заклинают вас пить только виски «Кентукки», пиво «Буггенхейм», коктейль «Сани Брук» и прохладительные напитки кока-кола и пепси-кола!

И, взирая на все эти акробатические трюки жонглирующего огня, ты не мог уже быть равнодушным к тому, что творилось вокруг.

И каждый вечер влекли к себе, манили эти огни. И не было никакой охоты возвращаться в отель с этой неправдоподобной улицы!

И мы каждую ночь напролет до раннего рассвета бродили по ней, позабыв о сне и усталости.

На Бродвее мы зашли в книжный магазин. То был типичный, как мы погом убедились, книжный магазин Америки.

Формат у всех американских книг почти одинаковый. Узкий, изящный. Плотно сброшюрованный. Карманный. Глянцевитые, отполированные до зеркального блеска обложки, мерца в лучах электрического света, играют заманчивыми красками. Вглядишься в этот глянец иных таких обложек и увидишь то кровоточащую кинжальную или огнестрельную рану на обнаженной женской груди, то искаженное предсмертной гримасой лицо гангстера, то полуоткрытые, пылающие губы стандартной заокеанской красавицы.

И название этих книг одно краше другого. «Роковые страсти тигрицы», «Тело и кровь», «Душегуб из Чикаго», «Трагедия брачной ночи». И еще черт знает что!

Зато не только в этом магазине Бродвея, но во всех прочих мы почти не видели на прилавках книг Эрнеста Хемингуэя и Митчела Уилсона, Эрскина Колдуэлла и Карла Сендберга, Теодора Драйзера и Уильяма Фолкнера — прогрессивных мастеров современной американской литературы, столь широко популярных у нас в России и во всем мире.

— Отчего же книг этих авторов не видно у вас в продаже? — спросили мы у владельца книжного магазина.

— Все зависит от спроса, господа. Таков железный закон бизнеса. Вот список бестселлеров. В нем самые знаменитые авторы самых знаменитых книг сегодняшней Америки, — ответил нам с улыбкой книготорговец.

Просматривая врученный нам список бестселлеров — книг, раскупаемых в Америке нарасхват, мы убедились, что к ним относятся главным образом так называемые проблемные романы на уголовно-сексуальные темы.

И первое место среди бестселлеров тысяча девятьсот пятьдесят девятого года принадлежало порнографическому роману Владимира Набокова «Лолита». Роман этот, написанный русским эмигрантом — сыном малозадачливого кадетского министра Временного правительства, — выходил в Нью-Йорке огромными тиражами. Издан он был здесь впоследствии и на русском языке в переводе самого преуспевающего автора. И в канун нашего отлета из Нью-Йорка на «Лолиту», по словам газеты «Нью-Йорк геральд трибюн», шла пятьдесят девятая неделя непрерывного, все возрастающего спроса.

Кроме бестселлеров, такими же громадными тиражами издаются тут и те карманные, двадцатицентовые, с позволения сказать, повести и романы, про эротико-криминалистические названия которых я уже говорил. Это растленная страппия подчас даже и совсем безымянных авторов, на которой крупнейшие издательские акулы наживают миллионные барыши.

Такие же миллионные доходы получают и владельцы многочисленных кинозабегаловок на Бродвее и на примыкающих к нему улицах. В этих, как правило, небольших и невзрачных кинозальцах-клетушках можно смотреть с утра и до глубокой ночи и опять-таки всего за те же двадцать центов гангстерские и ковбойские фильмы — наглядные пособия по технике грабежа, насилия, зверских убийств, разбоя, садизма.

Сам Эдгар Гувер — шеф американской охраны — вынужден был публично заявить следующее.

«Как служитель закона я призван сдерживать свои собственные чувства и эмоции. Но, честно говоря, бывают моменты, когда я с трудом охлаждаю кипящую во мне кровь. Это бывает, когда я вижу, как взрослые умышленно развращают детей... Я говорю о людях, которые любопытство и незрелые суждения молодежи превратили в источник дохода. В эту категорию распространителей чумы я включаю торговцев наркотиками и других, кто обогащается путем развращения юношей и девушек. Их руки протянуты к школам, к площадкам для спортивных игр, ко всем местам, где собираются молодые люди... Одна лишь торговля порнографией приносит миллионные доходы».

Уж кому-кому, а Эдгару Гуверу, возглавляющему сыскную империю Америки, тут и все карты в руки. Уж он-то доподлинно знает, о чем говорит!

«Как лицо, ответственное перед государством за соблюдение законов, и как американский гражданин,— продолжает шеф американских жандармов,— я считаю прямым своим долгом публично выступить против потока наших кинофильмов и телевизионных передач, которые повседневно афишируют непристойность и приветствуют незаконность».

Что же, справедливые слова.

Но вот беда. Америка — страна частной инициативы. И плевать хотели на «кипящую кровь» мистера Гувера издатели порнографической литературы и продюсеры гангстерских фильмов, если тем и другим бойкая торговля всей этой мерзостью приносит баснословные миллионные барыши!

Нельзя сказать, что в Америке нет настоящего, большого искусства и, в частности, талантливых, прогрессивных по идейной направленности, высокохудожественных произведений американской кинематографии.

Есть.

Буквально через несколько часов после нашего приезда в Нью-Йорк мы были приглашены редактором журнала «Саттэрдэй ревью» Норманом Казенсом на просмотр фильма «На берегу», поставленного режиссером Стенли Крамером по нашумевшему в Европе и Америке роману австралийского писателя Невилля Шюта.

Все мы, за исключением Александра Чаковского, знали об этом романе Невилля Шюта только понаслышке. Александр Чаковский читал его в английском издании и сказал нам, что был потрясен сюжетом этой книги — описанием тотальной гибели всего человечества в результате атомной войны, вспыхнувшей на нашей планете.

— Невил Шют — писатель бесспорного дарования. Но роман его ужасен по безысходному пессимизму авторских выводов. А вот какую картину создали американцы по этой страшной книге, давайте, товарищи, поглядим. Игра стоит свеч! — многозначительно сказал Чаковский, когда мы входили в небольшой просмотрный зал кинофирмы «Юнайтед артист», производству которой принадлежала эта картина.

Скажу и я сразу.

Не один день бродили мы потом по Нью-Йорку и по иным городам Америки под тревожным впечатлением от этого оглушающего грозного фильма, трубящего человечеству о бдительности! Да и по сей день не могу я не вспомнить без душевного волнения о памятной этой картине, посвященной ужасному действию ядерного оружия, якобы примененного кем-то в свершившейся на земле войне...

Да.

Война свершилась.

Все было кончено.

Все живое погибло.

И на четырех из пяти континентах — ни души. Жизнь сохранилась только в одной Австралии.

Но и то ненадолго.

Через пять месяцев океанские волны и ветры донесут и до этого последнего континента страшные продукты радиоактивного распада. От многомиллионного населения четырех частей света осталась в живых небольшая группа матросов во главе с командиром подводной лодки капитаном Холмсом.

И страшен был пустынный, тускло сверкающий под солнцем безжизненный океан с одинокой, вышедшей в рискованный разведывательный рейс этой лодкой. Она идет к берегам Америки для того, чтобы выяснить происхождение странных радиосигналов, принятых в Австралии с мертвого американского континента.

Вот лодка подходит к калифорнийскому побережью, и командир ее видит через перископ панораму огромного, живописно раскинувшегося на океанском берегу залитого солнцем города. В нем тихо. Очень тихо. В нем ни души. В этом убеждаются вслед за командиром поочередно смотрящие в перископ все матросы команды. Город невредим. Ни малейших следов войны. Ни пожаров. Ни трупов. Ни разрушений. Но нет в нем самого дорогого его украшения — жизни. О, как зловеще-жутки были среди этой неземной тишины настойчиво трубящие, тоненькие металлические звуки позывных, идущих из недр этого города, и как страшны были пустые, покачивающиеся на причалах, никому теперь уже не нужные лодки!

С острой, шемящей сердце болью смотрели мы на целильные, пустынные улицы невыразимо-печального города, подвергшегося катастрофической радиации, города, в своеобразном пленительном облике которого мы все потом уга-

дали неповторимые черты Сан-Франциско. Грагически прекрасен и страшен был этот город теперь в роковом, грозном безмолвии обезлюдевших его площадей, пышных парков, садов, бульваров и скверов.

И вдвойне страшен был появившийся в нем одинокий человек в капюшоне, похожем на саван,— мрачном одеянии воина, которое должно было защитить его от смертоносных лучей.

Жутко было смотреть на обреченный путь этого отважного человека по мертвому городу, а потом через анфиладу пустых комнат громадного здания.

Время как бы остановилось.

А человек в саване все шел и шел на зов скорбных, хватавших за душу настойчивых звуков — позывных сигналов таинственного радиопередатчика, трубящего среди гробовой тишины угрюмого, без людей помещения.

Он должен был узнать, откуда и кем подавались в эфир эти угнетающе-монотонные взывания о помощи, упорно твердившие о невероятном, о признаках чьей-то теплившейся еще человеческой жизни там, в пронизанном роковыми лучами, начисто вымершем городе!

Поиски радиопередатчика длились долго.

Около суток.

И вот матрос набрел на источник звуковых сигналов. И был потрясен увиденным. Порожня бутылочка из-под кока-колы, упавшая с канцелярской полки, нажала горлышком на рычажок радиопередатчика. И аппарат работал. Он работал, посылая в пространство из этого мертвого царства металлический, леденящий душу звук. И жуткий голос этот звучал и звучал, как реквием о погибшей жизни на земле, недавно еще цветущей под жарким солнцем и ныне превращенной в пустыню!

И затем еще более страшный по психологической точности, по предельной простоте выражения кадр. Мы видим матроса на следующее утро уже без савана. Прелестное летнее утро. Изумительное синее калифорнийское небо. Безмятежный голубой океан. Матрос сидит на берегу этого океана в лодке с удочкой в руках. Сидит — мирный, беспечный, почти счастливый, как всякий рыбак. И вдруг перед ним вырастают из воды рога перископа покинутой им вчера подводной лодки, и командир ее откуда-то из водной глубины спросил матроса:

— Как вы себя чувствуете?

— О, превосходно, сэр.

— Вы, вероятно, голодны?

— Нет. Я съел один порошок и запил его морской водой, сэр.

Голос командира умолкает.

Томительная пауза.

Там, в лодке, поняли, что матрос уже заражен и его уже нельзя взять на судно. Помешкав, командир спросил затем матроса, намекая о яде для самоубийства:

— Не нуждаетесь ли вы в нашей помощи?

— Благодарю вас. В этом городе много аптек, сэр...

— Ол райт!

И перископ исчез под водой.

Лодка возвратилась в Австралию. Мы видим город Мельбурн. Живописный. Богатый. Пышный. В огне неоновых реклам. Поражает он необычным уличным движением — скопищем старинных экипажей и кабриолетов с лошадьми в упряжках и почти полным отсутствием автомобилей. Все понятно. В стране нет бензина. Нет, оказывается, и кофе. Исчезли с рынка еще кой-какие импортные продукты, завозимые в Австралию из других, ныне уже не существующих стран. А как ведут себя жители этого города в канун неминуемой катастрофы? Внешне спокойно. Матери прогуливаются с детьми по бульварам. Садоводы поливают цветы. И только в ресторанах дым коромыслом. Люди пьют дорогое вино, озабоченные тем, что не успеют допить всех наличных запасов до недалекого уже рокового дня. Тревожит их и еще одно обстоятельство. Появились в продаже весьма, говорят, приятные на вкус порошки для мгновенного самоубийства, но их почти невозможно достать — столь велик спрос на вновь изобретенное фармацевтами снадобье!

Но самое поразительное и страшное в жизни этой агонизирующей страны — автомобильные гонки. Цель их участников — добиться звания чемпиона Австралии по скоростному вождению автомобиля. Мы видели в Америке немало автомобильных катастроф, превосходно снятых операторами в художественных и документальных картинах. Но автомобильные гонки в этом фильме — зрелище из ряда вон выходящее, потрясающее безумной, трагической бессмысленностью игры со смертью, затеянной ее участниками. И зловещая игра эта началась за каких-то две недели до всеобщей катастрофы на этом последнем в мире, еще пока населенном людьми материке!

С невероятной, вихревой скоростью мчатся и мчатся по

трекам лавины роскошных автомобилей. И с бешеной скоростью, срываясь, они летят кувырком в горные бездны, сшибаясь на поворотах лбами сверкающих радиаторных облицовок, вдребезги разбиваются. Горят. Взлетают, взрываясь, на воздух. И нет числа их обезумевшему смерчевому потоку навстречу смерти. И всем существом своим, всеми своими предельно напряженными нервами ты хочешь закричать этим людям во весь голос: «Остановитесь, безумцы! Остановитесь!»

Именно такой вот душераздирающий крик и звучит, в сущности, в насыщенном подтекстом финале этой картины. После трагических автомобильных гонок мы видим толпу жителей Мельбурна, собравшихся на одной из городских площадей. Опустив в покорном смирении головы, люди слушают священника. Он читает проповедь, а над его головой колышется на ветру полотнище с начертанными на нем словами: «Есть еще время, братья!»

— Для чего есть у этих людей еще время? Для покаяния в земных грехах перед обрушившейся и на их континент атомной бурей? — невольно спрашиваешь себя в эту минуту.

И только последний, заключительный кадр фильма раскрывает перед зрителем вещей смысл этой фразы. Площадь пуста. На ней — ни души. Ни толпы. Ни проповедника. Час пробил. Все было кончено и здесь, в Австралии. И Мельбурн так же пуст, как и Сан-Франциско. Ветер гонит по пустынным его улицам, по обезлюдевшей площади обрывки газет, пыль, мусор. И перед тем как погаснуть киноэкрану, зрители еще раз читают на протянутом через мертвую площадь полотнище обращенные теперь уже к ним слова: «Есть еще время, братья! Еще не поздно. Остановитесь!» Именно так звучит в финале этого фильма грозный, предостерегающий голос разума, обращенный ко всем народам нашей планеты, жаждущим счастья и мира.

Я пишу здесь не рецензию на виденную мной в Нью-Йорке картину, а всего лишь делюсь с читателем непосредственным своим впечатлением от наиболее сильных, волнующих, а порой и просто ошеломляющих ее кадров, не касаясь слабых ее сторон. Бесспорно одно: фильм создан высокопрофессиональными мастерами американского кинематографа, поднявшими свой взволнованный голос против угрозы всему человечеству истребительной ядерной войны.

В дни нашего пребывания в Нью-Йорке мы видели на углу Восьмой авеню и Сорок четвертой стрит кинематограф

«Камес», в котором демонстрировались только советские фильмы. Американцы говорили, что наши кинокартины очень популярны не только в Нью-Йорке, но и в Сан-Франциско, в Вашингтоне и в Филадельфии — словом, везде, где они демонстрируются, и всегда идут при полных аншлагах. При нас в кинотеатре «Камес» шла наша «Баллада о солдате».

В программах фортепианных и симфонических концертов произведения Мусоргского и Бородина, Глазунова и Прокофьева, Рахманинова и Шостаковича, и чаще всех этих блистательных имен значилось там имя Петра Ильича Чайковского — самого популярного в Америке русского композитора.

Часто звучит классическая музыка и по американскому радио. Так, в Нью-Йорке мы слушали однажды Седьмую симфонию Глазунова в исполнении филладельфийского симфонического оркестра.

В Вашингтоне, сидя в холле отеля «Вениамин Франклин», мы взволнованы были волшебными звуками бессмертного «Сентиментального вальса» Глинки.

Впрочем, родные мелодии русской музыки нередко звучали по радио и в других городах Америки, сопутствуя нам в странствиях по далекой заокеанской земле, согревая и окрыляя душу.

Редактор еженедельного журнала «Саттердэй ревью» Норман Казенс говорил нам во время приема:

— В Нью-Йорке есть такая радиостанция, которая передает только серьезную музыку. Это говорит о том, что у нас в Америке далеко не все увлекаются какофонией...

Здесь есть восторженные почитатели превосходного мастера современной американской прозы Эрнеста Хемингуэя. Есть и поклонники самобытно-яркого дарования старейшего, глубоко национального поэта Америки Карла Сендберга. Буквально за день до нашего отъезда из Москвы в Соединенные Штаты мы имели удовольствие познакомиться с Сендбергом на приеме, устроенном в его честь правлением Союза писателей СССР, где знаменитый поэт читал стихи, аккомпанируя при этом на гитаре.

Очень большой популярностью пользуется в современной Америке драматургия и проза А. П. Чехова.

Мы вышли на Бродвей, натываясь на каждом шагу на стаи черных воронов — католических монахинь с ханжески-постылыми лицами или на проповедниц и проповедников.

Трибунами для таких ораторов служат, как правило,

прихваченные ими из дому какие-нибудь деревянные ящики. Задумчиво опершись на такую трибуну, они призывают американских сограждан к спасению души, к смирению, к покорности богу. Свои призывы они то и дело подкрепляют цитатами из Библии.

Небольшая толпа зевак слушает его по-разному. Те, что постарше, с угрюмой вдумчивостью. Молодежь — со смешками, а то и с язвительно-оскорбительными репликами в адрес выступающего.

Через какой-нибудь квартал на углу другой пересекающей Бродвей улице — длинная и костлявая, как сухостойная осина, леди в элегантном платье долодонит в помятый рупор из белой жести тоже что-то о вере в создателя, о братстве и равенстве.

В жилисто-цепких руках у нее фанерный щит, похожий на снегоборочную лопату. На щите надпись, свидетельствующая о том, что эта леди проповедует истину от имени женской лиги борьбы за мораль.

Посреди Таймс-сквера представительница уже другой религиозной ассоциации трубила о любви к ближнему.

Мимо текла и текла бурлящая, как вода Ниагары, равнодушная и к добру и к злу бродвейская толпа. И среди этой толпы я вдруг увидел одного из тех «ближних», о любви к которым призывала сограждан сухопарая американка.

То был пожилой, седовласый слепой негр с собакой-поводырем. Настороженно-робким шагом брел он за умной своей овчаркой, и печально-виноватая улыбка озаряла скульптурное, точно вылитое из бронзы, выразительное его лицо. Он шел по Бродвею с протянутой впереди себя алюминиевой кружкой, меланхолично позвякивая одинокой монеткой, перекатывающейся по ее дну.

Пройдет время. Забудется многое из иного, что виделось в дни моих странствий по этой далекой заокеанской земле. Но никогда не забуду я этого старого негра с собакой.

Мы проследовали за ним через весь парадный Бродвей — от Пятьдесят девятой до Сорок второй улицы. И на всем этом пышном и ярком пути ни один человек из потока праздной толпы не бросил в кружку слепца ни цента...

— Что вас больше всего поразило в ночном Бродвее? — спросил меня во время приема, устроенного в честь нашей группы в Вашингтоне Национальным клубом печати, кор-

респондент газеты «Нью-Йорк джорнэл Америкен» мистер Ритчелл.

— Позы спящих людей на Таймс-сквере,—искренне ответил я Ритчеллу.— Спать, сидя при таком ослепительном свете, это, по-моему, пытка. Не так ли?

— Ко всему можно привыкнуть, сэр...

— Странная, однако, привычка! Но кто же эти люди? Говорят, что бездомные. Это верно?

— Вполне возможно, сударь... Но скорее всего это «хобо». Так у нас называют бродячих людей. В строгом смысле слова я бы лично не назвал их бездомными, потому что они всегда в движении. Всегда в пути,—невесело пошутил Ритчелл.

— Но что же вынуждает их к этим скитаниям? — допытывался я у моего соседа по столу.

— Вероятно, естественное для каждого человека стремление найти лучшее место под солнцем...

По окольным уклончивым ответам мистера Ритчелла было понятно, что он уходил от неудобного ему, случайно возникшего между нами разговора про бездомных скитальцев «хобо» с Бродвея. Корреспондент не хотел говорить за банкетным столом про многочисленное племя американских бродяг, безнадежно потерявших некогда не только работу, но и свой угол, а то и семью.

Про таких людей в Америке говорят, что они «катастрофически теряют в весе». Это, оказывается, значит, что, лишившись пособия по безработице, люди эти живут еще кое-как на последние гроши невеликих трудовых своих сбережений.

Но приходит день, когда «вес их становится равным нулю», и тогда иные из них или ныряют с Бруклинского моста вниз головой в Гудзон или продолжают скитаться по градам и весям великой богатой страны.

А богатство здесь на каждом шагу. И соблазнительных товаров в зеркальных витринах торговых кварталов Грэт Уайт Уэя — невпроворот. Недаром же хвастают с наивным тщеславием американцы, что у них можно купить решительно все на свете, не исключая живой и мертвой воды. Петр Павленко, побывавший в Нью-Йорке вместе с А. А. Фадеевым в тысяча девятьсот сорок восьмом году, писал после, что на Бродвее, как его уверяли нью-йоркцы, можно было действительно купить все что угодно за исключением только чистого воздуха.

Теперь же, спустя десятилетие, оказалось, что здесь

можно купить нынче уже и чистый воздух в изящных, похожих на радиоприемники ящичках — глухо рокочущих аппаратах эр-кондишен!

Американцы шутят: если вы не нашли какой-то до разрезу необходимой вам вещи в магазинах Бродвея, не огорчайтесь... Зайдите в любую аптеку и там вы найдете все.

Драгстор — таково название этих аптек. В них продается и в самом деле решительно все. Горячие сосиски и нейлоновые дождевики. Зонтики и яичница. Порции свиной тушонки и штучные сигареты. Кукурузные хлопья и брезентовые башмаки. Порнографические сочинения в лакированных обложках и жевательная резинка.

А иногда, как опять же острят сами американцы, здесь можно приобрести и таблетки от головной боли или снотворные порошки — самое ходовое лекарство при чрезвычайно распространенной, как говорили нам, среди нью-йоркцев бессоннице!

Драгстор — явление типично американское. Заведение это здесь весьма популярно среди рабочего люда и мелких конторских служащих.

Такие аптеки-закусочные сравнивают тут с заправочными бензоколонками. Здесь всегда можно «заправиться» чашкой горячего кофе, проглотить сдобренную горчицей сосиску или пожевать салат из морской капусты. Людям некогда. Времени у них у всех — в обрез. И хотя почти все они с ребяческой наивностью верят, что умрут миллионерами, однако, пока завтраки и обеды в кафе им не по карману. И, подгоняемые вприхлест галопными темпами нью-йоркской жизни, резво разбегаются они в часы пик по этим аптекам...

Поразил меня ночной Бродвей и равнодушным быстроходячей его толпы к нередким уличным происшествиям и несчастным случаям.

Однажды, возвращаясь во второй половине ночи из «Центра развлечений» — есть на Бродвее такое заведение — к себе в отель, мы увидели на углу Сорок девятой авеню труп человека. Это был юноша с пышной шевелюрой жгуче-черных волос, в веселой цветной ковбойке с засученными по локоть рукавами. Лежал он шагах в трех от тротуара навзничь, словно распятый на асфальте, с распростертыми на мостовой молодыми мускулистыми руками.

Был ли этот молодой человек обиденной жертвой бешеного потока разноцветных автомобилей или же он был

убит мстительной гангстерской пулей — этого мы не узнали от встречных, да и не могли бы, наверно, узнать при желании.

Прошло примерно около четверти часа, пока подоспевший полицейский автомобиль не подобрал с мостовой и не умчал при неистовом вое грозной сирены тело юноши. И за это время ни один человек из торопливой толпы не замедлил поспешного шага. Люди шли и шли, пробегали мимо, даже и не замечая случившегося.

Равнодушия этой бурлящей бродвейской толпы к чужой беде нельзя позабыть, как никогда не забыть обреченно-понурых голов бездомных людей, нашедших ночной приют на ослепляюще ярком Таймс-сквере!

За сверкающим, зыбким гигантским занавесом рекламных огней Бродвея скрыто немало роскоши и предельного убожества, ослепительных дворцовых чертогов и жалких хижин, сказочного богатства и трущобной нищеты нью-йоркского «дна», соседствующего с Манхаттаном.

На одном из официальных приемов, устроенных в честь нашей группы советских писателей и журналистов работниками американской прессы, мы познакомились с известным американским журналистом Вудом Клейном. Всего недели за две до нашего приезда в Соединенные Штаты Вуд Клейн вышел из трущоб Ист-сайда, расположенных в центре Нью-Йорка, где он прожил четыре недели по заданию редакции «Нью-Йорк уорлд телеграмм санд» и потом опубликовал серию очерков.

«За дни моей жизни в трущобах, где провел не одну бессонную ночь,— пишет Вуд Клейн,— я выяснил, что квартиросъемщики вынуждены платить непомерно большие деньги — иногда по сто долларов в месяц — за грязные, развалившиеся вонючие квартиры.

Только сейчас я представляю себе по-настоящему, насколько глубока и серьезна у нас проблема трущоб. Больше, чем что-либо иное, меня удручал и заставлял желать в конце каждого дня бросить задачу, которую я взял на себя,— это висящий в воздухе специфический запах трущоб.

То был тошнотворный запах отбросов испортившейся пищи, застоявшейся мочи и экскрементов, прогнившего дерева и утвари, запах крыс, грязи и пота давно не мывшихся людей. Запах этот выползает из всех углов и отравляет воздух, которым вы дышите. Он проникает в ваши поры и залезает вместе с вами в вашу кровать. Он заражает улицы и тротуары по соседству.

Этот запах щекотал мне ноздри и проникал в самое мое нутро. В течение месяца, который я провел в трущобах, я потерял в весе восемь фунтов, так как просто не мог есть. Но в эти ужасные дни, когда мне хотелось бросить все, я думал об одном миллионе несчастных людей, точнее об одном миллионе ста тридцати двух тысячах человек, которые жили со мной в этом невероятном, потрясающем, страшном убожестве!»

По признанию самих американцев, для того, чтобы заменить пришедшие в полную негодность дома и снабдить жильем растущее население, Соединенные Штаты должны ежегодно строить теперь по два с половиной миллиона домов. Между тем в Америке за всю ее историю при помощи государства построено всего только два процента домов.

«При таких темпах строительства нам понадобится двести или даже все триста долгих лет для того, чтобы уничтожить трущобы, существующие ныне во всех больших и малых городах Соединенных Штатов Америки!» — заявил по этому поводу американский конгрессмен Клем Миннер.

Таковы факты.

...На Бродвее много всего. Великолепных универсальных магазинов с маршами эскалаторных лестниц и тесноватых, по провинциальному малопримечательных лавчонок мелких предпринимателей. Утопающих в нейлоновых коврах дорогих кабаре, мюзик-холлов, дансингов и скромных танцевальных подвальчиков, где посетители выбирают по фототеке партнерш согласно предъявляемым контролерам ярлычкам-билетикам. По ярлычку за танец.

При входе в один из таких подвальчиков мы видели черно-желтый плакатик над кассой, строго предупреждавший молодых людей, чтобы те вели себя со здешними барышнями вполне пристойно, не допуская никаких с ними вольностей, потому что девушки тут все порядочные, а потому — они на работе.

Есть на Бродвее такие солидные театры, как, например, «Винтер гарден», где играют драмы Шекспира.

Нам говорили, что в таких театрах есть интересные постановки, талантливые актеры и режиссеры, очень хорошая музыка, сопровождающая спектакли. Однако стоимость билетов довольно высокая — от восьми до двенадцати долларов. Но тут же рядом есть театры и бесплатные. И в этих театрах есть интересные представления и одаренные актеры.

Здешние зрители знают и любят своих актеров и по

окончании представлений охотно вознаграждают их не только горячими рукоплесканиями, но и добровольными гонорарами.

Покинув невеликий зрительный зал такого театра, посетители втихомолку расплачиваются в укромном месте с доверенным лицом этого театра кто как может. Одни — долларовыми бумажками, другие — металлическими центами. Вознаграждать любимых артистов в помещении театра нельзя. В противном случае труппа должна платить налоги.

Немало праздных зевак привлекает на Бродвее и так называемый «Центр развлечений». Это помесь галантерейно-ювелирного магазина со спортивными зрелищами и увеселительными заведениями. Здесь большой выбор брошк, чисто американских сувениров — от кровожадно рычащих, грозно вращающих огненными глазами нейлоновых львов, леопардов и тигров до стреляющих или действующих, как зажигалки, перочинных ножей, вдобавок опрыскивающих вас еще и дурными духами.

Тут можно вдоволь налюбоваться собственной персоной, запечатленной на экране цветного телевизора. Можно сфотографировать самого себя на макетном фоне Эмпайр стейт билдинг и тотчас же получить свою фотографию.

Под крышей Центра развлечений можно поупражняться в стрельбе по прыгающим мишеням или поиграть в настольный теннис.

Механизированные американские оракулы-автоматы предскажут вам по дешевке — всего за полдоллара — самую радужную отныне и вовеки вашу судьбу. Жаждающих лучшей судьбы тут так много, что у никелированных ку-десников очереди — не пробьешься.

Но венцом всех здешних развлечений служит, конечно, газета, целиком посвященная только личной вашей персоне. Такую газету, решительно ничем не отличающуюся по внешнему виду от всех прочих американских газет, вам печатают по заказу. И вы найдете на страницах этой личной газеты и свой портрет, и уйму всяких дурацких советов о том, как преуспеть вам в бизнесе, в жизни, а еще больше штампованных шуток и острот!

Такой Бродвей с его гигантским сверкающим занавесом реклам в районе Таймс-сквера — роскошным неоновым ковром у парадного нью-йоркского входа.

Но и этот пышный ковер не прикрыл мрачно зияющих дыр на бродвейском асфальте — крутых лестничных спу-

сков к захлавленным, худо освещенным платформам нью-йоркского метро — кольцевой подземной дороги вокруг Манхаттана.

Здесьняя подземка — самый дешевый, самый дряхлый и самый грязный вид транспорта в Нью-Йорке. Получив за десятицентовую монету в автомате металлический жетончик, ты предъявляешь его автоматическому контролеру при выходе на перрон, спуская этот жетончик в прорезь преградившей тебе дорогу вертушки. И вертушка, честно сработав, автоматически повернувшись вполоборота, пропускает тебя на платформу.

Вот тут тебе уже не Бродвей! Здесь — полумрак. Цементный пол перрона — в сигаретных окурках, в обрывках газет, в ворохах прочего мусора. Чудовищная смесь запахов.

Пахнет многим. Жевательной резинкой. Чесноком. Гнилыми яблоками. Горячим асфальтом. Машинным маслом. Все тут скорее похоже на обшарпанный, мрачный, никогда не проветриваемый подвал, чем на станцию метрополитена. И мы, дивясь на это «дно» Бродвея, только кротко вздыхали, вспоминая про подземные чертоги нашего московского метро, про нарядное блистание щедрых его огней в просторных, овейных свеженьким ветерочком мраморных залах...

Но вот подошел к платформе невероятно грохочущий поезд с такими же малопривлекательными, похожими на допотопные наши трамвайчики старомодными вагонами.

И в вагонах — не чище. Та же духота, что и на платформе. Пассажиры — битком. И странное дело, большинство из них, сидя по лавкам, замертво спят, — одни, уткнувшись головами в колени, другие, откинувшись на спинки сидений. Вагон на ходу грохочет, как шлакодробилка. Временами — как бы стонет. Его раскачивает, как в лихорадке. И единственным внутренним украшением его служат яркие рекламные плакаты, впритирку наклеенные на потолок. Но ночным пассажирам этих скрежещущих тряских вагонов, как видно, не до плакатов!

Набравшись терпения, мы завершили полный круг по кольцу огибающей Манхаттан подземки. И за все это время ни один из спящих в нашем вагоне людей не проснулся и не покинул вагон на очередной остановке.

— В чем дело? Кто эти люди? — спросили мы у сопровождавшего нас нью-йоркского старожилы.

— Бездомные. Их тысячи. И метро — их общая колы-

бель. Там, наверху, их может спугнуть полиция. Здесь спокойнее. За свои десять центов ты можешь кружиться на этой чертовой карусели вокруг Манхаттана все двадцать четыре часа в сутки в полное свое удовольствие! — последовал невеселый ответ нашего спутника.

Покинув наконец метрополитен на одной из его трущобоподобных станций на Пятьдесят шестой авеню, мы нашли здесь ожидавшего нас корреспондента «Правды» в Нью-Йорке Бориса Стрельникова и поехали с ним туда, куда никогда бы не попали с бдительным нашим гидом мистером Парксом. Через несколько минут — это было совсем по соседству с Бродвеем — оказались мы на глухой, малоосвещенной улице. То была знаменитая «Улица пьяных» в Бауэри — самом смрадном трущобном «дне» Нью-Йорка.

Прежде всего поразила нас эта улица странным, совершенно непривычным для этого города отсутствием автомобилей, а затем — обилием пьяных людей. Они бродили тут, как тени, пошатываясь, и небольшими артелями и в одиночку. Вели себя эти люди на своей улице довольно неприужденно. Одни возвращались из баров Гарлема с дикими песнями, другие — с бранью. А третьи, так и не дотянув до своих берложьих ночлежек в окрестных трущобных кварталах, валялись посреди тротуаров или на мостовой.

— Вот вам, товарищи, Бауэри и его обитатели — нью-йоркские «бывшие люди».

— Кто в прошлом они?

— Писатели и знаменитые киноартисты, биржевые маклеры и адвокаты, прогоревшие бизнесмены и профессора, навсегда потерявшие свои колледжи. Говорят, что в Бауэри и ныне здравствует знаменитый в двадцатых годах актер немного кино Америки Джон Фицджеральд, — рассказал нам Борис Стрельников.

— Что же случилось с ним? Что привело его в Бауэри?

— Век звукового кино. Джон, утверждают, был великим мастером мимики. Но у него никуда не годился голос — он шепелявил. И вот — падение за падением. С вершины Голливуда — в богемные кабаки Гринвич Виллидж. Оттуда — в эти страшные трущобы Бауэри. А тут уж конец. Отсюда еще никто и никогда не возвращался к былой более или менее нормальной жизни. Так говорят о трущобах Бауэри сами американцы, — заключил нью-йоркский старожил — наш соотечественник.

Затем мы проехали в Гарлем. Таким голландским словом — здесь некогда жили голландцы — называется район,

примыкающий к Центральному парку, где живут негры. Их здесь около полумиллиона. Это три четверти всего негритянского населения Нью-Йорка. Говорят, если все население Америки поселить только в одной половине Нью-Йорка, то тогда образуета скученность Гарлема.

Неопрятные обшарпанные дома со множеством металлических лестниц на фасадах, выходящих на улицы.

Интересуемся:

— Почему здесь так много пожарных лестниц?

— Потому что ни в какой другой части Нью-Йорка не возникает столь частых пожаров, как в Гарлеме.

— А это чем объяснить?

— Невероятной плотностью населения.

Улицы Гарлема поражают захолустной нечистоплотностью, хотя район этот находится в центре Нью-Йорка. Тротуары захламлиены бумажными обрывками, пустыми консервными банками, разодранными картонными коробками и прочим мусором. Белых совсем не видно. Хозяйва скромных магазинов, аптек, ресторанчиков, кафе — негры, чего не увидишь в Нью-Йорке нигде больше, кроме Гарлема.

А между тем мистер Паркс, да и некоторые другие американцы, как только возникал у нас разговор о неграх, уверяли нас, что не только в Нью-Йорке, но якобы и во всей стране не существует никакой дискриминации. При этом они не забывали подчеркивать, что Верховный суд Соединенных Штатов объявил, например, незаконной сегрегацию в государственных школах.

Однако такое решение Верховного суда Америки, принятое под решительным нажимом американской общест-венности, писано, видимо, не для оголтелых расистов Юга, где по-прежнему закрываются по приказу губернатора школы совместного обучения белых и негров.

О событиях в Литл Роке, где по губернаторскому приказу были закрыты для негров школы, незадолго до нашей поездки в Америку много писала вся мировая пресса.

Изоляция негритянского населения Нью-Йорка в одной строго очерченной зоне убедительно говорит о том, что негры не в чести у белых аборигенов Америки.

Негры главным образом работают заправщиками бензоколонок и мойщиками автомобилей. Слугами в отелях и лакеями в барах. Носильщиками, грузчиками и окномоями небоскребов. Продавцами газет и батраками на крупных сельскохозяйственных фермах.

Нам говорили, что немало среди негров и рабочих про-

мысленных предприятий, но еще больше среди них людей, потерявших работу. К тому же труд негров, как и труд женщин, в Америке оплачивается вдвое меньше труда белого рабочего.

В самом Нью-Йорке существуют места, куда запрещен вход неграм. Они не могут снять номера ни в одном из отелей, где проживают белые.

Правда, законом это не воспрещено в Нью-Йорке, ни в любом прочем американском городе. Но хозяин отеля никогда не рискнет сдать комнату негру, потому что некоторые белые могут тут же покинуть отель. Об этом тотчас напишут в газетах. И тогда отель может навсегда лишиться белых постояльцев.

По такому же неписаному закону негр никогда не в праве забывать про слово «сэр» или «мистер» при разговоре с белыми, как всегда, должен первым уступить дорогу белому.

К большому нашему огорчению, нам так и не удалось побывать ни в одной из негритянских квартир в Гарлеме.

Зато в этот же вечер мы навестили квартиру американского рабочего Френа Рейдлоса, проживающего в «Хаузинг-проджект» — домах муниципального строительства. Эти многоэтажные стандартные дома из каленого кирпича строятся за счет благотворительных сборов и налогов в некоторых районах Нью-Йорка, правда, в весьма ограниченном количестве.

Френ Рейдлос был давнишним знакомым нашего проводника.

— Так мы сразу можем убить двух зайцев, — сказал нам Борис Стрельников, предложивший заехать к Френу Рейдлосу. — Во-первых, вы посмотрите на дома «Хаузинг-проджект». Во-вторых, увидите, как живет американский рабочий, и мы сможем потолковать с ним в кругу его семьи по душам. Френ — радиотехник. Это радушные гостеприимные люди. И Френ и жена его Хельди, как только мы встречались, расспрашивали меня о Советском Союзе. Оба мечтают побывать в России. Уже прошло полгода, как мы не виделись. Словом, у меня есть повод навестить старого приятеля.

Через полчаса мы остановились возле десятиэтажного кирпичного дома. Поднявшись на девятый этаж, позвонили.

Дверь нам открыла худенькая, похожая на подростка миловидная женщина. Это была миссис Хельди Рейдлос —

супруга Френа. У нее был усталый взгляд, слабая улыбка, какая бывает у недавно перенесших затяжную болезнь.

Квартирка невелика.

Две комнаты.

Кухня. В одной из этих комнат спали трое детей Рейдлосов, в другой, почти лишенной мебели, хозяйка принимала нас за круглым низеньким столиком.

Встреча была не ахти веселой. Еще печальней рассказ миссис Рейдлос о беде, так внезапно обрушившейся на ее мужа, на всю их семью.

— Ах, как все хорошо у нас складывалось полтора года тому назад, когда мы сняли эту квартиру. После трудобной дыры в Бруклине, где мы с Френом ютились, эта квартира в доме «Хаузинг-проджект» казалась мне раем. Ванная. Холодильник. Телефон. Телевизор. Чего же желать лучшего?!.. Но счастье это нам улыбалось недолго. Около пяти месяцев тому назад Френ потерял работу. Работы нет. И нет пока никакой надежды получить ее в ближайшее время. А вы знаете, господа, что значит остаться у нас в Америке без работы?

— А как с пособием по безработице?

— Выплачивают. По законам нашего штата безработные получают пособие в течение шести месяцев. Но что это за пособие? У нас есть еще в доме и кофе и сэндвичи. Но нам нечем платить за обстановку, за вещи, взятые в кредит. У нас уже увезли не оплаченный нами холодильник. Давно отключен телефон. Через две недели у меня не будет стиральной машины. Чуть попозже лишимся и телевизора. Ну, а там придется оставить и эту квартиру...

— Не стоит отчаиваться, миссис Рейдлос. Все еще может уладиться. У Френа золотые руки, — стал успокаивать, как мог, женщину наш проводник.

— Да, но мы уже у порога нищеты. И что будет с нашими детьми завтра, этого я не знаю...

— Где же Френ?

— Как всегда с утра допоздна бродит по Нью-Йорку с надеждой найти какую-нибудь работу. Все равно какую. И как всегда возвращается, конечно, ни с чем — угрюмый и раздражительный. О, вы теперь не узнали бы Френа!..

Мы понимали, что пора было уходить. Поднялись. И молодая усталая женщина сказала нам с виноватой улыбкой:

— Жаль, что я не могу вам предложить, господа, по чашечке кофе...

С тяжелым сердцем покинули мы эту квартиру в «Хаузинг-проджект», тепло попрощавшись с хозяйкой, на хрупкие плечи которой свалилась редко поправимая беда, которая грозит в любую минуту обрушиться в этой стране на всякого рабочего человека — единственного кормильца семьи, лишенной иных средств к более-менее нормальному существованию.

На обратном пути в свой отель мы, подавленные тем, что увидели и услышали за этот вечер, долго молчали.

Мы увидели то запретное, чего не принято в Америке показывать иностранцам, а тем более нам — посланцам великой советской страны, дерзновенным делам и свершениям которой не перестают изумляться все прогрессивные люди в мире.

В канун отъезда из Нью-Йорка в Вашингтон Александр Чаковский выступал с рассказом о советской литературе по телевидению.

— Не забудьте, товарищи. Ровно в шесть часов. Тринадцатая программа, — напомнил нам еще раз Александр Борисович, уезжая в студию.

Мы собрались в одном из номеров отеля «Говернор Клинтон» и сели около телевизора.

Дня за три до этого, прогуливаясь по Пятой авеню, мы заглянули в один из громадных магазинов, торгующих телевизорами. В магазине было множество телевизионных аппаратов различных размеров, форм и расцветок. Но больше всего таких, какие украшали наши номера в отеле «Говернор Клинтон», — квадратные ящики на низеньких ножках с огромным экраном.

В этом же магазине видели мы и переносные телевизоры, похожие на обыкновенные дорожные чемоданы, снабженные усиками антенн, которые, впрочем, нажатием кнопки могут быть упрятаны в этот чемодан.

«Ти-ви» — так называются телевизионные аппараты в Америке. И аппараты эти нам понравились. Понравились прежде всего стабильностью. И на любую из тринадцати программ нью-йоркского телевидения можно переключиться без всяких подрегулировок.

Телевизионные передачи по всем программам ведутся с утра до позднего вечера. Обеспечить такое количество программ содержательными передачами — дело нелегкое, если б даже к участию в передачах были привлечены все лучшие творческие силы нации.

Но Соединенные Штаты, как известно, никогда не пре-

тендовали на мировое первенство в создании духовных ценностей. И величайшее творение электроники — телевидение превратилось в этой стране в орудие одурманивания, оглушения, оглушения людей.

Извращенный характер использования технических изобретений при капитализме особенно наглядно виден на примере телевидения.

В Америке миллионы телевизоров. Вся страна опутана густой телевизионной сетью. А множество радиорелейных и кабельных линий позволяют городам, расположенным иногда и на тысячи миль один от другого, обмениваться своими программами.

«Комната может быть без окна, но только не без телевизора!» — говорят американцы.

Телевизор прочно вошел в американский образ жизни, превратившись, как и автомобили, в самый необходимый предмет быта.

Все телевизионные станции Америки финансируются торговыми фирмами — поставщиками реклам. И эти рекламы являются подлинным бедствием американского телевидения, превращая его передачи в бурные потоки невероятного сумбура, вздора, бессмыслицы.

Недаром же один из журналистов сказал как-то нам, когда завязался разговор о телевидении:

— Смотреть телевизор — это неинтеллигентно!

Однако миллионы американцев все свое свободное время проводят у телевизоров, заменивших им окно в мир, в живую жизнь.

Зрителям с утра до вечера твердят одно и то же, внушают, что главное — это гонка вооружения. Подводные лодки и летающие снаряды, ракеты и танки, авианосцы и эскадры морского военного флота, марши десантных войск и ядовитые грибы атомных испытаний — вот неперенные кадры ежедневных передач многочисленных каналов американского телевидения.

И все это, лихо перетасованное эпизодами и фактами, вырванными из жизни, подается с густым месивом рекламных трюков и вывертов.

Один из телевизионных каналов нью-йоркского телевидения забит серией непрерывных телеконкурсов. Приглашенных прямо с улицы первых попавшихся под руку людей заставляют здесь разгадывать всякие ребусы и загадки, превращаться в канатоходцев, в жонглеров и акробатов, лаять по-собачьи, бегать на четвереньках, изображая

разыгравшихся орангутанов, бросающихся на добычу тигров, расвирепевших дикобразов и прочих зверей, названия которых выпадает им изобразить в телелотерее. Победителей в этом конкурсе на глазах у зрителей премируют.

По другим каналам идут кинодрамы с поцелуями, драками, автомобильными гонками-погонями, садистскими убийствами, ковбойскими скачками с худо замаскированной порнографией. Но ни по одному из телевизионных каналов нельзя просмотреть такой фильм от начала до конца, как, скажем, в кинотеатре.

Демонстрация фильмов то и дело прерывается не только в момент обострившегося действия, но и просто так — за здорово живешь — в любую секунду, на любом кадре.

Так произошло и во время выступления по нью-йоркскому телевидению Александра Чаковского.

Ровно в шесть вечера мы включили тринадцатую программу и почти тотчас же увидели сидящего за круглым столом Александра Борисовича. К нему подсел молодой человек — журналист нью-йоркского телецентра. И между ними потекла мирная беседа о советской литературе.

Но не успел на пятой минуте своего выступления Чаковский ответить на очередной вопрос своего собеседника, как вдруг оба они мгновенно исчезли.

Мы оторопели.

На экране замелькали озверелые, залитые кровью, искаженные сатанинской яростью лица полицейских верзил и проворных грабителей, ринувшихся в рукопашную схватку с преследователями.

Трещали под увесистыми кулаками скулы. Кровоточили раны. Один поджарый джентльмен, вдруг вынырнув откуда-то из-за стола, бычьим ударом головы в живот сбил другого.

Ол райт. Все ясно. На экране телевизора шел голливудский боевик.

Рукопашная схватка между полицейскими и гангстерами перешла затем в погоню автомобилей за роскошным «кадиллаком» преступника — бесподобного красавца, похожего на лорда Байрона.

Спасаясь от своих преследователей, герой мчался с бешеной скоростью по извилистой дороге, чудом избегая на крутых виражах столкновений с встречными машинами. Но это нисколько не мешало лихому красавцу, сидя за рулём, отстреливаться от наседавших полицейских и целоваться с сидящей рядом женщиной.

Но вот после поцелуев гангстерского рыцаря с красавицей в глубине телевизионного экрана вновь показался Александр Чаковский.

Мы облегченно вздохнули.

И прерванная на полуслове беседа о советской литературе вновь зазвучала по тринадцатому каналу нью-йоркского телевидения, но на этот раз недолго — опять что-то не более пяти-шести минут.

Теперь мы уже увидели лощеного джентльмена с чаплинскими усиками. Жонглируя какими-то склянками и флакончиками, он принялся доверительно-вкрадчивым голосом рассказывать про достоинства нового средства от пота и такого же невероятно ошеломляющего состава жидкости от перхоти.

Снова появился Александр Чаковский со своим собеседником, и они вновь попытались довести до конца начатый разговор о современной советской литературе.

Но это им удалось опять-таки частично. Хоть на минуту, а беседа и под конец прерывалась.

То предлагалась лучшая в мире зубная паста «Клинин». То лучшие в мире сигареты «Филипп Морис», курение которых страхует вас на сто процентов от рака. То предлагали купить дракононовый костюм — не мнется и не нуждается после стирки в глажении.

Тринадцатый канал нью-йоркского телевидения, по которому выступал Александр Чаковский, не являлся исключением в системе телевизионных передач Америки.

Как в американской прессе реклама занимает семьдесят пять процентов газетной площади, так и на телевидении ею забиты все каналы программ.

Торговые фирмы платят телевизионным компаниям огромные деньги. Каждая минута рекламы обходится им от двадцати до сорока тысяч долларов! Дать рекламное объявление по телевидению — это значит размножить его в миллионы экземпляров, а таких тиражей не имеет ни одна из самых крупных и влиятельных газет. И все это привело к тому, что реклама превратилась в язву, в бич американского телевидения.

Путешествуя по Америке, мы в любом из отелей, где нам пришлось побывать, находили телевизоры и вольно или невольно тянулись в свободные минуты к нему.

Щелкали кнопками.

Переключались с канала на канал, с программы на программу.

Но нам так и не удалось напасть на начало передававшихся по телевидению фильмов или спектаклей, как не хватало сил дождаться их конца. Тому мешала реклама.

И не только мешала. Она раздражала. Нервировала. Доводила до бешенства, когда ты меняешь одну программу на другую, тщетно надеясь избавиться от этих рекламных трюков и фокусов, грубо разрушавших цельность восприятия некоторых интересных, содержательных передач.

Заглянув в широкие окна американских «ти-ви», мы убедились, что телевизионные компании Америки очень охотно, с подчеркнутым удовольствием показывают своим зрителям наши города, села, нарочито отснятые предвзято, подтасовывая факты, искажая облик нашей страны, экономики, культуры и быта великого ее народа.

«Смотреть телевизор — это неинтеллигентно!» Мы часто вспоминали эту фразу, брошенную одним американским журналистом.

## СОДЕРЖАНИЕ

### РОДИНА

Ночная вьюга . . . . .	5
Золотое дно . . . . .	22
Зарницы над нивами . . . . .	43
Осенние дали . . . . .	50
Моя поэма . . . . .	59
Первая борозда . . . . .	82
Семеро смелых . . . . .	94
Зимняя повесть . . . . .	101
Дым отечества . . . . .	126
Мои встречи с А. М. Горьким . . . . .	149
В гостях у Е. П. Пешковой . . . . .	160

### ЧУЖБИНА

Перелет через Атлантический океан . . . . .	169
Нью-Йорк наяву . . . . .	184
Американцы понимают нас . . . . .	219
Под куполом Радио-сити . . . . .	234
Наш гид мистер Паркс . . . . .	236
Белые огни . . . . .	263

**Шухов Иван**  
**РОДИНА И ЧУЖБИНА**  
Алма-Ата, «Жазушы», 1968.

*Редактор С. Пенькова  
Художник В. Псарев  
Худож. редактор Р. Слюсарева  
Технич. редактор С. Лепесова  
Корректор Р. Островская*

Сдано в набор 25/VI-68 г. Изд. № 221  
Подписано к печати 17/X-68 г.  
УГО3715. Бум. тип. № 2. 84×108<sup>1/32</sup> =  
=9,125 п. л. =15,33 усл. п. л. (Уч.-  
изд. 16,15) Тираж 80000 экз.  
Цена 67 коп.

Заказ № 1088. Полиграфкомбинат  
Главполиграфпрома Госкомитета Со-  
вета Министров КазССР по печати,  
г. Алма-Ата, ул. Пастера, 39.